Эндрю Нагорски

«Спасение Фрейда»

Перевод с английского

«Непреложным законом истории остается тот факт, что современникам не дано распознать еще в истоках те важные движения, которые определяют их эпоху».
-Стефан Цвейг. «Вчерашний мир»

Глава 1

«Умереть на свободе»

15 марта 1938 года, через три дня после того, как германские войска перешли австрийскую границу, около 250 тысяч человек приветствовали Адольфа Гитлера, когда он появился на балконе Хофбурга, императорского дворца Вены, чтобы объявить об упразднении самостоятельного австрийского государства. «Древнейшая восточная провинция германского народа отныне станет его юнейшим оплотом», - провозгласил он. Аншлюс, столько раз объявленная мечта Гитлера - присоединить страну, где он родился, к Третьему рейху, - стал явью, и толпа, казалось, была вне себя от счастья. С той минуты, как гитлеровские войска перешли границу, большинство австрийцев встречало их такими же взрывами ликования.

Но не все. Пришельцы тут же начали массовые аресты всех, кого гестапо записало в противники нацизма, и одновременно

развязали волну антисемитского насилия. Евреев избивали и убивали, их магазины грабили, десятки людей покончили с собой. По словам немецкого драматурга Карла Цукмайера, находившегося тогда в Вене, «город превратился в кошмарное полотно Иеронима Босха… На Вену обрушился поток зависти, ревности, злобы, слепой, исступлённой жажды мести… Это был шабаш черни. Всё, из чего складывается человеческое достоинство, было погребено».

Зигмунд Фрейд, укрывшийся в своём многолетнем жилище и кабинете на Берггассе, 19, едва началось германское вторжение, сделал в дневнике короткую запись: «Finis Austriae» - «Конец Австрии». Основатель психоанализа прожил в австрийской столице всю жизнь, кроме первых четырёх лет, - и теперь, приближаясь к своему восемьдесят второму дню рождения, оказался в самой гуще разворачивающегося кошмара. Как еврей, он был в опасности уже по определению; как бесспорное публичное лицо того, что большинство нацистских чиновников клеймило еврейской лженаукой, он не мог знать, что приготовили для него новые хозяева.

Фрейд стал мишенью немедленно. В тот самый день, когда неподалёку Гитлер произносил свою речь, нацистские громилы ворвались и в квартиру Фрейда, и в Международное психоаналитическое издательство - издательский дом, выпускавший труды Фрейда и его коллег и располагавшийся чуть выше по той же улице, на Берггассе, 7. В квартире жена Фрейда Марта не растерялась и сбила «гостей» с толку, разыграв любезную хозяйку. Она выложила всю наличность, какая была в доме, и спросила: «Не угодно ли господам угоститься?» Анна, младшая дочь супругов, затем повела «гостей» в другую комнату, опустошила сейф, где лежало 6000 шиллингов - около 840 долларов, - и предложила им и эти деньги.

Внезапно появилась суровая фигура Зигмунда Фрейда; он молча, в упор смотрел на непрошеных пришельцев. Те явно оробели, обратились к нему «герр профессор» и попятились из квартиры со своей добычей, объявив, что придут в другой раз.

Когда они ушли, Фрейд спросил, сколько денег они забрали. Выслушав ответ, он невозмутимо и с усмешкой заметил: «Я никогда не брал столько за один визит».

Но ничего забавного не было ни в разворачивавшейся там драме, ни в том, что творилось по соседству, в Международном психоаналитическом издательстве, куда отправился старший сын Фрейдов, Мартин, чтобы уничтожить документы, которые нацисты могли бы использовать против его отца. Когда в помещение ворвалась дюжина «оборванцев», как вспоминал Мартин, они упёрли винтовки ему в живот и несколько часов держали его пленником. Один из них демонстративно выхватил пистолет и закричал: «Почему бы не пристрелить его, и дело с концом? Надо расстрелять его на месте».

В тот хаотичный первый день налётчики, казалось, плохо понимали свою задачу, и неясно было, кто отдаёт им приказы. Они упустили несколько документов, которые Мартину, сославшемуся на расстройство желудка, удалось спустить в унитаз. К концу дня нацисты убрались, пообещав позже провести полное расследование.

Дома, где Мартин присоединился к родителям и сестре, облегчения почти никто не испытывал. Анна была в особенно подавленном состоянии. «Не лучше ли нам всем покончить с собой?» - спросила она отца. Резкий ответ Фрейда показал, что он и не думает ни о чём подобном. «Зачем? Потому что им бы этого хотелось?» - сказал он.

Но его положение - с весьма неясным исходом - порождало тревожные вопросы. Почему Фрейд позволил себе попасть в эту смертельно опасную западню? Почему он не уехал из Вены раньше, когда сделать это было сравнительно легко?

И почему даже после того, как нацистские налётчики 15 марта покинули его дом, поклявшись скоро вернуться, Фрейд всё ещё медлил? Едва Мартина отпустили из издательства, он тотчас поспешил домой проведать родителей. «Несмотря на это тяжкое испытание, не думаю, чтобы у отца тогда уже возникла мысль

уехать из Австрии», - писал Мартин. Напротив, тот надеялся «переждать бурю», рассчитывая, «что нормальный ход жизни восстановится и честным людям позволят идти своей дорогой без страха».

Ирония состояла в том, что Фрейд, как никто другой, должен был понимать тёмные силы, толкавшие его мир к массовым убийствам и разрушению. В своём знаменитом эссе 1930 года «Недовольство культурой» он писал о «жестокой агрессивности» человека, которая «проявляется спонтанно и обнаруживает в человеке дикого зверя, которому чужда мысль о пощаде собственного рода». Он особо отмечал, как часто евреи «оказывали услугу» другим, служа отдушиной для подобных первобытных побуждений.

Прожив жизнь, охватившую последние десятилетия Австро-Венгерской империи, Первую мировую войну и межвоенные годы, Фрейд хорошо знал и политические потрясения, и антисемитизм, который был не столько подводным течением, сколько обычной приметой его непосредственного окружения. С одной стороны, он понимал, что это горючая смесь, способная взорваться в любой момент, угрожая ему и его семье. Но с другой - он не желал этого признавать. Он боролся с раком челюсти, развившимся от многолетнего пристрастия к сигарам, остро сознавал, что отпущенное ему время на исходе, и отчаянно надеялся провести остаток дней в относительном покое, без потрясений, связанных с переездом на новое место.

Однако удерживало его не только сочетание старости и болезни. Фрейд был глубоко привязан к Вене, которая веками оставалась одним из главных центров культурной - и еврейской - жизни Европы. Её процветающая еврейская община включала композиторов, таких как Густав Малер и Арнольд Шёнберг, писателей, таких как Стефан Цвейг, Франц Верфель и Йозеф Рот, а также физиков, врачей и, конечно, многих других ведущих психологов эпохи. С большинством из них Фрейд был знаком или хотя бы встречался.

Центром вселенной Фрейда была Берггассе, 19, где он и Марта вырастили шестерых детей. Здесь же он принимал пациентов, писал статьи и книги и по средам встречался с членами Венского психоаналитического общества. Он был верен своим ритуалам - вечерним прогулкам по Рингштрассе и посещениям знаменитых венских кафе, где курил сигары и читал газеты. Словом, он был мыслителем-революционером, который при этом свято держался немецкой поговорки «Ordnung muss sein» - примерно «Порядок должен быть». В Третьем рейхе эти слова обретут куда более зловещий смысл, но в довоенной Вене они вполне уживались с в целом терпимыми общественными нравами - и с неутомимым исследованием Фрейдом тем, ещё недавно запретных.

Вена стала и той сценой, на которой Фрейд из человека со стороны, как он сам себя называл, нередко презираемого медицинским истеблишментом, превратился в прославленного на весь город практика своей новой науки. Он был королём в своём королевстве, привлекая учеников и пациентов со всей Европы и из Соединённых Штатов. К 1920–1930-м годам он был самым знаменитым жителем Вены, и его появление где бы то ни было тотчас приковывало внимание.

Джон Гюнтер, иностранный корреспондент газеты Chicago Daily News, впоследствии автор книги «Внутри Европы» и целой череды других популярных исторических сочинений, написал о Вене роман «Потерянный город». В книге, свободно основанной на его впечатлениях от австрийской столицы начала 1930-х, есть описание дипломатического приёма в польском посольстве, на котором появляется Фрейд. Эта сцена показывает, сколь мифическим уже тогда было его величие.

Один из гостей замечает знаменитость и восклицает: «А вот, ах, настоящая редкость. Входит Фрейд!» Далее Гюнтер пишет:

> И действительно, сам доктор Зигмунд Фрейд, со своими сверкающими фиалковыми глазами, жёсткой, словно высеченной бородой, с выражением напряжённого и даже раздражённого превосходства, степенно приближался к хозяину и хозяйке. Комната затихла, когда он

двигался вперёд, как лодка сквозь камыши; гости теснились, чтобы посмотреть, но отступали, оттеснённые силой его медленного, величественного шествия. «Фрейд!» - шептали люди. Всё собрание умолкло в благоговении.

Такая слава могла стать для Фрейда и гибелью, и спасением. Завершив аншлюс, нацистские властители могли решить показать, что ни один еврей, каким бы видным он ни был, не укроется от их гнева. А могли рассудить, что на этом раннем этапе гитлеровских триумфов лучше выпустить Фрейда из западни, которую он в немалой степени сам себе устроил. В действительности же, придя к власти, они не приняли никакого твёрдого решения о том, как с ним поступить. Его судьба ещё висела на волоске, и понадобились согласованные усилия стихийно сложившейся спасательной команды, чтобы устроить его бегство из Вены.

Спасатели эти представляли собой невероятную смесь ярких личностей разного происхождения и разных национальностей. Объединяли их преданность Фрейду и его теориям и - в напряжённый последний период - решимость прежде всего преодолеть его остававшееся нежелание покидать Вену. Затем, когда он наконец смирился с этой необходимостью, они взялись за лихорадочные хлопоты, чтобы убедить нацистские власти его отпустить. А в то время, когда еврейским эмигрантам становилось всё труднее найти страну, готовую их принять, им предстояло убедить британское правительство принять Фрейда и его многочисленную свиту - всего шестнадцать человек, включая членов семьи, родственников по браку, его врача и семью врача. Это была сложная операция без всякой гарантии успеха - и без малейшего шанса на успех, если бы спасательная команда не оказалась на высоте.

Главные члены этой команды:

Эрнест Джонс - валлийский врач, впервые встретивший Фрейда в 1908 году и выучивший немецкий, чтобы изучать его труды. Джонс стал самым пламенным его учеником в англоязычном мире. Он возглавлял Британское психоаналитическое общество и

Международную психоаналитическую ассоциацию, распространявшую идеи Фрейда. Ему предстояло сыграть ключевую роль и в том, чтобы убедить Фрейда покинуть Вену, и в том, чтобы убедить британское правительство разрешить въезд ему и его спутникам.

Анна Фрейд - у неё было пятеро старших братьев и сестёр, но именно у неё сложились самые близкие личные и профессиональные отношения с отцом; она посвятила себя заботе о нём до конца его жизни. Бóльшую часть этого времени она состояла в том, что сама называла «драгоценными отношениями», с Дороти Тиффани Берлингем, американской внучкой Чарльза Тиффани, основателя Tiffany & Co. Анна стала ведущим детским психоаналитиком, применяя теории отца в работе со своими маленькими пациентами.

Уильям Буллит - посол США во Франции, а прежде в Советском Союзе, - был пациентом Фрейда в 1926 году, когда его брак рушился и он, возможно, подумывал о самоубийстве. Их сеансы не спасли его брак, но помогли ему справиться с депрессией и привели к неожиданному соавторству двух людей - биографии государственного деятеля, которого оба презирали, президента Вудро Вильсона.

Мари Бонапарт представляла европейский высший свет. Она была внучатой правнучкой Наполеона и женой принца Георга Греческого и Датского. Хотя у неё был многолетний роман с премьер-министром Франции Аристидом Брианом, в 1925 году она начала анализ у Фрейда, чтобы преодолеть свою «фригидность», и вскоре сама стала аналитиком. Как и Джонс, и Буллит, Бонапарт не была еврейкой.

Макс Шур специализировался на внутренних болезнях, но ещё студентом был очарован Фрейдом и сам прошёл анализ. Во время пребываний Мари Бонапарт в Вене она была одной из его пациенток. Заинтригованная этим «психоаналитически ориентированным терапевтом», Бонапарт познакомила его с Фрейдом, который в 1929 году сделал его своим врачом. Шур, как

и Фрейд, был евреем, но нацистская угроза тревожила его гораздо сильнее, чем его пациента. Хотя он уже устроил эмиграцию своей семьи в Соединённые Штаты, он остался в Австрии, чтобы заботиться о Фрейде вплоть до его отъезда, - а затем позаботился и о том, чтобы тот получил надлежащий уход в Лондоне.

Антон Зауэрвальд был членом спасательной команды Фрейда, совершенно не вписывавшимся в неё. Никто бы не предсказал, что нацистский чиновник, которому было поручено надзирать за вымогательством имущества Фрейда, сыграет решающую роль в последней главе его венской жизни. Но именно так и случилось.

Знаменитый старик в Вене должен был положиться на всех этих людей - и на других, кто им помогал, - чтобы получить возможность провести последние пятнадцать месяцев жизни в Лондоне, исполнив своё желание «умереть на свободе».

В 1980–1990-е годы я возглавлял бюро журнала Newsweek в Москве, Риме, Бонне, Берлине и Варшаве. Вена часто входила в круг моих тем. Впервые я побывал в этом городе подростком и с радостью возвращался туда снова и снова. Это место, пропитанное историей, великолепным искусством, архитектурой, музыкой и литературой, и оно до сих пор дарит многие из тех же видов и удовольствий, что и во времена Фрейда.

Можно повторить его привычные прогулки по Рингштрассе - подковообразному парадному бульвару, проложенному по приказу габсбургского императора Франца Иосифа во второй половине XIX века. Обходя по нему центр города, можно любоваться Венской государственной оперой, Парламентом, Ратушей, университетом и другими величественными зданиями и садами.

Как и Фрейд, можно заглянуть в любое из множества кафе, в том числе в его любимое - кафе «Ландтман» рядом с Бургтеатром. Там можно сидеть на бархатных банкетках или подлинных венских стульях Тонета имперской эпохи, разглядывая зеркала 1920-х годов и изысканную инкрустацию на деревянных стенах. Ещё до того, как я по-настоящему оценил эту атмосферу Прекрасной эпохи, я обнаружил, что почти все, с кем я хотел встретиться в Вене, -

политологи, социологи, писатели, художники - предлагали встретиться именно там.

Но у всякого, кто живёт в Вене сколько-нибудь долго или даже часто приезжает туда, этот город вызывает сильные противоречивые чувства. Джон Гюнтер описал его как город «столь соблазнительный, столь гнетущий, но наделённый загадочным очарованием».

Кое-что из этого очарования замечали даже жертвы нацистской эпохи. В первые дни германской оккупации Польши шестнадцатилетняя Вероника Ковальская оказалась среди большой группы девочек-подростков в Ченстохове, которых внезапно оторвали от семей и отправили в Вену на принудительные работы. Бóльшую часть войны они проработали на заводе «Эрикссон», выпускавшем полевые телефоны для германской армии, и жили в убогом бараке неподалёку. Много позже, когда я знал её как свою тёщу, Ковальская никогда не преуменьшала тягот, которые пришлось вынести ей и другим. Но она и ярко помнила те редкие мгновения, когда ей удавалось мельком увидеть город, казавшийся ей совершенно ослепительным.

Истории, о которых я писал во время поездок в Вену, нередко касались исследований того же зловещего прошлого. Я часто бывал у знаменитого охотника за нацистами Симона Визенталя, жившего в австрийской столице, чтобы рассказывать о его усилиях привлечь преступников к суду. В первые послевоенные годы многим австрийцам удалось представить себя первыми жертвами Третьего рейха - приглаженная версия событий, укреплённая в народном воображении огромным успехом фильма «Звуки музыки». То, что австрийцы были среди самых пылких сторонников Гитлера и, как неустанно подчёркивал Визенталь, были непропорционально широко представлены среди комендантов и других служащих лагерей смерти, в основном оставалось незамеченным.

Лишь когда бывший генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм стал главным кандидатом на президентских выборах в Австрии 1986 года, страна начала давно назревшее сведение счётов

со своим недавним прошлым. В официальных биографиях он признавал свою раннюю службу на Восточном фронте, но «забыл» упомянуть о последующей службе на Балканах в штабе генерала Александра Лёра, позднее осуждённого и повешенного в Югославии как военного преступника. Когда умолчания Вальдхайма вскрылись, злорадство некоторых моих немецких друзей было слишком очевидным. «Австрийцы убедили мир, что Бетховен был австрийцем, а Гитлер - немцем», - шутили они. (Гитлер родился в Верхней Австрии, а Бетховен - в Бонне.)

Освещая эту историю, я счёл реакцию Вальдхайма на обвинения о его роли в годы войны столь же тревожной, как и всё, что он мог совершить, будучи тогда офицером разведки. Ухватившись за то, что Всемирный еврейский конгресс был в первых рядах обвинявших его в военных преступлениях, он прибег к едва прикрытой антисемитской риторике, чтобы мобилизовать своих сторонников, и те вознаградили его горькой победой. Репутация Австрии снова была запятнана, но новое поколение австрийских педагогов воспользовалось этим скандалом, чтобы попытаться ввести в школах и на общественных площадках более честные программы по истории.

Я продолжаю возвращаться в Вену при всякой возможности. Притяжение этого города сильно, его обаянию трудно противиться, какие бы тени он ни продолжал отбрасывать. Быть может, поэтому привязанность Фрейда к нему кажется мне совершенно понятной, несмотря на всё более раздвоенные его чувства. Эту двойственность он сохранил до самого конца - до той минуты, когда в Лондоне погрузился в свой последний сон.

Глава 2

«Лаборатория апокалипсиса»

В последний период своего существования, охватывавший конец XIX и первую часть XX века вплоть до катастрофы Первой мировой войны, Австро-Венгерская империя была домом для пятидесяти миллионов человек - по меньшей мере девяти крупных народов и множества национальных меньшинств. Вена сияла как общая имперская столица, но Габсбурги даровали своим разноязыким подданным и землям пусть ограниченную, но впечатляющую автономию: те во многом жили по собственным правилам и при этом свободно торговали и путешествовали. В целом это выглядело как рецепт политического и экономического успеха.

Однако рецепт этот требовал от правителей и подданных врождённой готовности мириться с двусмысленностями, противоречиями и напряжением, неизбежными при столь просвещённом - по меркам времени - многонациональном и многокультурном устройстве. Особенно это касалось той довольно аморфной группы людей, которые считали себя именно австрийцами, а не просто немцами, волею судьбы живущими в Вене или где-то ещё.

Дороти Томпсон, знаменитая американская корреспондентка, писавшая в 1920–1930-е годы из Вены, Берлина и других городов Центральной Европы, точно определила, что это означало на деле. «Если человек в старой империи вообще мыслил национальными категориями, он считал себя венгром, поляком, чехом, итальянцем, хорватом или немцем, - писала она. - Когда же он считал себя австрийцем, он имел в виду нечто совсем иное: верность монарху; определённый уклад жизни; причудливую культуру, сложенную из

множества элементов, которые то сталкивались, то дополняли друг друга».

Хотя Зигмунд Фрейд редко задумывался о своей национальной принадлежности, он почти идеально подходил под это описание австрийца. В зависимости от взгляда и предрассудков наблюдателя его еврейские корни «сталкивались» с целым или «дополняли» его. Так или иначе, это не меняло главного: он был порождением империи, которая одновременно умирала и кипела жизнью - вплоть до Первой мировой войны и Версальского мира, подписавшего ей смертный приговор. Личность Фрейда, его напор и его противоречия сложились в эпоху безраздельного царствования «Золотой Вены». Именно эта Вена сформировала его *Weltanschauung*, его мировоззрение, - и именно эту Вену он отказывался покинуть, пока не стало почти слишком поздно.

Как и подобает, Вена порой выглядела и ощущалась шизофренической. Она то выставляла напоказ ослепительную высокую культуру, художественный размах и научные свершения, то обнажала свою тёмную сторону - грязные ночлежки для бездомных, беспросветную нищету и повсеместную проституцию, а заодно политические интриги и брожение, неизбежно расцветающие на такой почве. Она могла казаться вершиной космополитической изысканности - или провинциальным захолустьем, задыхающимся в своей чинной бюрократической рутине. Этот раскол примерно и отделял то, что можно назвать Веной Фрейда, от Вены Гитлера.

Будущий властитель Третьего рейха провёл в австрийской столице всего около пяти лет, но они стали решающей главой его юности. Без преувеличения можно сказать, что Вена сформировала и Фрейда, и Гитлера. Не преувеличивал и Карл Краус, популярный на рубеже веков писатель и редактор журнала *Die Fackel* («Факел»), когда провозгласил: «Вена - лаборатория апокалипсиса».

Это была и лаборатория Фрейда: здесь он придумал термин «психоанализ» и разработал теорию и практику, которые во многом определяют его и сегодня. Подобно тому как Коперник и Дарвин

потрясли современников своими ошеломляющими открытиями, Фрейд потряс свой мир тем, что биограф Питер Гэй назвал «его портретом человека - ненасытного животного, которое толкают и тянут в разные стороны непочтенные, по большей части бессознательные желания и отвращения». Делая особый упор на детской сексуальности, вытесненных воспоминаниях, сновидениях, фантазиях и нарциссизме, он приоткрыл, казалось, обескураживающий вид на прежде не нанесённую на карту территорию человеческого бессознательного.

И всё же Фрейд смело утверждал: «Психоанализ упрощает жизнь. Психоанализ даёт в руки нить, которая выводит человека из лабиринта». Вводя новые понятия, он объяснял их взаимодействие: «Оно», движимое врождёнными влечениями; «Я», которое пытается обуздать влечения, чтобы избежать того, что он называл «неудовольствием»; «Сверх-Я», формирующееся под влиянием родителей и других ранних воздействий и сохраняющее силу во взрослой жизни. Задача психоаналитика, пояснял он, - докопаться до нередко глубоко погребённых причин поведения и неврозов пациента.

Фрейд родился не в этой венской лаборатории; более того, он часто высказывал диаметрально противоположные чувства о городе, ставшем его домом почти на всю жизнь. Он появился на свет 6 мая 1856 года в моравском городке Фрайберг, в 175 милях к северо-востоку от Вены. (Сегодня он называется Пршибор и находится в Чехии.) Его отец, сорокалетний торговец шерстью Якоб Фрейд, был дважды женат, прежде чем в 1855 году взял в жёны Амалию Натансон, которая была вдвое моложе его. К тому времени у него было двое взрослых сыновей от первого брака и годовалый внук. Формально Зигмунд приходился этому внуку дядей, но играли они как родные братья.

Амалия отдавала предпочтение первенцу, называя его *«mein goldener Sigi»* - «мой золотой Сиги», но нянчиться с ним ей было почти некогда. Вскоре она родила второго сына, умершего в семь месяцев, затем пятерых дочерей, а потом ещё одного сына. Семья

едва сводила концы с концами, и, как вспоминал позднее Зигмунд, отец «всё время с надеждой ожидал, что что-нибудь да подвернётся». Вена притягивала многих евреев империи, мечтавших улучшить свою участь, и, когда Зигмунду было почти четыре года, Якоб перевёз семью туда и поселился в Леопольдштадте - квартале с преобладающим еврейским населением. Но поначалу торговые дела у него и там шли не слишком успешно, а имя семьи запятнал скандал: один из братьев Якоба угодил в тюрьму за торговлю фальшивыми рублями.

Неудивительно, что Зигмунд, впоследствии чрезвычайно плодовитый автор, вовсе не стремился распространяться о венских мытарствах своей семьи. «Затем последовали долгие тяжёлые годы, - скупо заметил он. - Думаю, ничто из них не стоило того, чтобы помнить». А о мальчике, сменившем окружённый лесами и лугами, почти сплошь католический городок с населением меньше пяти тысяч человек на раскинувшуюся столицу многоликой империи, он добавил: «В городе мне никогда не было по-настоящему уютно».

Этот неуют лишь подкреплял те радужные воспоминания о первых годах жизни, которые, по его словам, он хранил. Подкрепила их и первая поездка во Фрайберг в шестнадцать лет. Он гостил у семьи Флюс, дружившей с его родителями; быстро сошёлся с их сыном Эмилем и ненадолго увлёкся дочерью Гизелой, которая была на год младше его. Вернувшись в Вену, Фрейд написал Эмилю, что город ему «отвратителен», пожаловался на «мерзкий шпиль» собора Святого Стефана и уверял, что настроение у него поднимается, только когда удаётся куда-нибудь уехать.

Отчасти эти чувства остались с ним даже тогда, когда он добился славы и - в известной мере - богатства. В 1931 году, когда бургомистр Пршибора открыл бронзовую доску на доме, где семьюдесятью пятью годами раньше родился Фрейд, виновник торжества в благодарственном письме ударился в поэзию. «Глубоко во мне, под спудом, всё ещё живёт счастливое дитя из Фрайберга, первенец юной матери, получивший первые неизгладимые впечатления от этого воздуха, от этой земли», - писал он. Это не

было формальной отпиской: письмо выражало давнее идиллическое представление о самых ранних годах его жизни.

Несмотря на частые жалобы на Вену, Фрейд расцвёл именно там. Город притягивал евреев, которые, в отличие от многих их собратьев из местечек и деревень, быстро ассимилировались. При императоре Франце Иосифе, взошедшем на трон в 1848 году - в год, когда народные революции бросили вызов старым режимам по всему континенту, - Австрия отменила особые налоги для евреев и другие ограничения, в том числе на выбор профессии, а также такие меры, как запрет еврейским семьям нанимать прислугу-христиан. К 1867 году евреи получили полные гражданские права. Антисемитизм, разумеется, никуда не исчез, однако венские евреи, составлявшие к 1880 году около 10 процентов населения города, задавали тон в искусстве, науке, медицине, книгоиздании и других областях. Для талантливых евреев вроде Фрейда, входивших там во взрослую жизнь, Вена открывала огромные возможности.

В гимназии, как с гордостью отмечал Фрейд, «я семь лет был первым учеником; пользовался там особыми привилегиями, и меня почти никогда не спрашивали на уроках». Отец предоставил ему самому решать, чему учиться дальше - и какую выбрать карьеру. В ту пору у него не было ни малейшего желания становиться врачом. Под влиянием старшего товарища по школе, ставшего впоследствии политиком, он решил «изучать право, как он, и заняться общественной деятельностью». Как замечал Фрейд, такая карьера казалась тогда вполне разумной мечтой, ведь «каждый прилежный еврейский гимназист носил в своём ранце министерский портфель». Но его увлекали и теории Чарльза Дарвина, и, послушав лекцию одного популярного профессора о природе, он решил вместо этого изучать медицину.

Поступив в 1873 году в Венский университет, Фрейд неожиданно столкнулся с «ощутимыми разочарованиями» - плодом повсеместных предрассудков. «Прежде всего я обнаружил, что от меня ждут, чтобы я чувствовал себя неполноценным и чужим, потому что я еврей», - вспоминал он, добавляя, что «наотрез

отказался» это делать. «Я так и не смог понять, почему я должен стыдиться своего происхождения или, как начинали тогда говорить, своей „расы“».

Фрейд сумел успешно продолжить учёбу, но считал, что те ранние стычки с антисемитизмом преподали ему ценный урок. «Я рано познакомился с участью оппозиции… Так было заложено основание известной независимости суждений», - писал он в «Автобиографии».

Эта независимость включала и отказ отрекаться от своего еврейства. «Мои родители были евреями, и я сам остался евреем», - писал он. При этом он не был ни верующим, ни соблюдающим обряды. По словам его сестры Анны, «он вырос без всякой веры в Бога. Она ему была не нужна». Она вспоминала, что девизом их отца Якоба было «мыслить нравственно и поступать этично», но никто из детей не получал религиозного воспитания. Тем не менее Якоб хранил семейную Библию и вписал в неё имя Зигмунда при его рождении (имён последующих детей он туда не вносил). Как и Амалия, он нисколько не скрывал своего пристрастия к одарённому первенцу.

Зигмунд с трудом выносил ультраортодоксальных евреев, чей облик и манеры так резко контрастировали с его собственными. В письме к фрайбергскому другу Эмилю Флюсу Фрейд описывал, каким «невыносимым» показалось ему зрелище одного семейства в поезде на обратном пути в Вену. Отец был «весьма почтенный старый еврей», язвительно писал он, обсуждавший вопросы веры со своим «нахальным, подающим надежды сыном». Мальчик, заключал Фрейд, был «из того дерева, из которого судьба в своё время вырезает мошенника: хитрый, лживый, поощряемый любящей роднёй в мысли, будто у него есть талант, но без принципов и без взгляда на жизнь». Как заметил Питер Гэй, «профессиональный юдофоб едва ли выразился бы резче».

Успешные светские евреи Вены - да и Берлина - нередко досадовали на своих открыто религиозных, явно неассимилированных собратьев, которые в большинстве своём

приезжали из более традиционных еврейских общин Восточной Европы. Светские евреи положили все силы на то, чтобы вписаться в австрийское и немецкое общество, и конец XIX века, казалось, давал им для этого больше возможностей, чем когда-либо. Артур Шницлер, популярный австрийско-еврейский драматург и прозаик той эпохи, писал: «В те дни - в пору позднего цветения либерализма - антисемитизм существовал, как существовал всегда, как чувство во множестве предрасположенных к нему сердец и как идея с большими возможностями развития, но ни политически, ни общественно он не играл важной роли. Самого слова ещё даже не придумали».

Но если юный Фрейд и разделял снисходительность многих светских евреев к новоприбывшим из «отсталых» краёв, то к антисемитизму других он вовсе не относился двойственно. Когда ему было двенадцать, отец рассказал ему о тягостном случае. Какой-то христианин сбил с него меховую шапку, так что она полетела в грязь, и скомандовал: «Жид, прочь с тротуара!» Зигмунд спросил отца, что же тот сделал. «Я сошёл на мостовую и поднял шапку», - ответил Якоб. Потрясённый и разочарованный, младший Фрейд решил, что никогда не позволит так себя унижать.

Взрослея, юный Фрейд понимал, что, несмотря на подобный антисемитизм, у него есть все основания метить высоко. Вена давала ему поле для осуществления замыслов, а мать привила ему уверенность в себе, необходимую, чтобы их достичь. «Человек, который был бесспорным любимцем матери, на всю жизнь сохраняет чувство победителя, ту уверенность в успехе, которая нередко и приводит к настоящему успеху», - писал он позднее.

Летом 1875 года Фрейд навестил своих единокровных братьев в английском Манчестере. Он уже много лет изучал британскую литературу, жадно впитывая атмосферу этой чужой страны, будоражившей его воображение. Двумя годами раньше в письме к другу Эдуарду Зильберштейну он лишь наполовину в шутку писал, что может подхватить «английскую болезнь». За семь недель у

единокровного брата Эммануила и его семьи, встретивших его очень тепло, он стал ещё более ярым англофилом.

Зигмунда поразили «трезвое трудолюбие» англичан, их «обострённое чувство справедливости» и куда бóльшая, чем в Вене, приверженность терпимости, - достаточно сказать, что премьер-министром был еврей Бенджамин Дизраэли. Отчасти эта терпимость, видимо, передалась и Эммануилу: он убедил Зигмунда смягчить суровый приговор отцу, столь покорно снёсшему унижение, когда христианин швырнул его шапку в грязь.

Вернувшись в Вену, Зигмунд написал Зильберштейну: «Я бы скорее жил там, чем здесь, невзирая на дождь, туман, пьянство и консерватизм. Многие особенности английского характера и самой страны, которые другим жителям континента показались бы невыносимыми, вполне соответствуют моей натуре». И добавил: «Кто знает, дорогой друг, - может быть, когда я закончу учёбу, попутный ветер занесёт меня в Англию и позволит мне попробовать там свои силы». Пройдёт почти целая жизнь, прежде чем это пророчество сбудется, но семя было посеяно уже тогда, во время первой поездки.

Год спустя один из профессоров выбрал Фрейда для исследовательской командировки в Триест, в лабораторию университетской опытной станции морской биологии. Ему поручили проверить утверждение польского учёного Симона де Сырского, будто тот разгадал тайну размножения угрей, обнаружив у них половые железы. Фрейд вскрыл более четырёхсот угрей, прежде чем нашёл искомое доказательство - следы семенников, подтверждавшие правоту Сырского. Было в этом что-то символичное: одно из первых достижений студента, которому суждено было прославиться теориями о вытесненных сексуальных воспоминаниях, состояло в поиске неуловимых половых органов угря.

Любой молодой человек, попавший в ту пору в адриатический порт вроде Триеста, не мог не заметить и других его прелестей - и Фрейд не был исключением. В очередном письме Зильберштейну

он упоминал «итальянских богинь», встречавшихся ему на прогулках по городу. Но держался от них на расстоянии. «Поскольку вскрывать людей не разрешается, мне, собственно, до них нет никакого дела», - писал он, пытаясь обратить свою застенчивость в шутку. Разрыв между его личным поведением и будущими дерзкими психологическими теориями был заметен уже тогда.

Вернувшись в Вену, Фрейд обосновался в лаборатории физиолога Эрнста Брюкке, где, по его словам, «обрёл покой и полное удовлетворение», изучая нервную систему. Он признавал, что учился «решительно небрежно»; к тому же учёбу прервал год обязательной военной службы, и экзамены на степень доктора медицины он сдал лишь в 1881 году. Казалось, он наконец готов вступить на путь неспешного восхождения по академической лестнице. Так было до одного апрельского дня 1882 года, когда, вернувшись домой из лаборатории, он встретил Марту Бернайс - стройную, миловидную двадцатиоднолетнюю гостью с севера Германии. Эта встреча круто изменила траекторию его жизни.

Встреча Зигмунда и Марты в тот день была не такой уж случайностью, как может показаться. Хотя Марта жила с овдовевшей матерью в Вандсбеке под Гамбургом, прежде семья жила в Вене, а её старший брат Эли Бернайс был помолвлен с сестрой Зигмунда Анной. Когда Марта и её младшая сестра Минна приехали в Вену погостить, они навестили Фрейдов в их квартире. Зигмунд всё ещё жил там, так что столкнуться им было вполне естественно. Если верить его собственным восторженным рассказам, Марта пленила его с первого взгляда, и он тут же принялся за ней ухаживать. Через два месяца они обручились - так начался путь к браку, в котором родилось шестеро детей и который продлился пятьдесят три года, до самой его смерти.

Во многих отношениях пара была неожиданной. Марта, пятью годами младше Зигмунда, происходила из видной ортодоксальной еврейской семьи. Её дед Исаак Бернайс был главным раввином Гамбурга и яростно противостоял движению за реформу иудаизма.

Отцы и Марты, и Зигмунда были купцами, но она выросла в доме, где обряды соблюдались куда строже. Когда в 1879 году отец Марты умер, её мать стала ещё твёрже держаться этих правил. Зигмунд с трудом выносил то, что называл «глупыми суевериями» Марты, плодами её религиозного воспитания. Опасаясь восстановить против себя набожных мать и брата, она поначалу держала помолвку в тайне.

Но самым серьёзным препятствием к браку была их бедность. Овдовевшая мать Марты ничем существенным помочь не могла, а Зигмунд был не в состоянии взять на себя обязанности мужа и, надо полагать, отца. Во время учёбы Фрейд жил на скромную поддержку отца да на небольшие стипендии и гонорары за публикации. Но этого не хватило бы на жизнь, если бы не периодические подарки, замаскированные под «займы», от врача Йозефа Брейера - его наставника, который опекал Фрейда как своего протеже, а позднее был признан его предшественником в области, получившей название психоанализа. Холостяку, живущему с родителями, такого нерегулярного ручейка средств хватало. Главе семьи - уже нет.

Как ни ценил физиолог Эрнст Брюкке работу Фрейда в своей лаборатории, он предвидел эту проблему заранее. Незадолго до знакомства Зигмунда с Мартой он «исправил непредусмотрительность моего отца, настоятельно посоветовав мне ввиду моего бедственного материального положения оставить теоретическую карьеру», вспоминал Фрейд. Поначалу он пропустил этот совет мимо ушей. Но, встретив Марту, передумал. Он оставил место в лаборатории Брюкке и поступил младшим врачом в Городскую больницу. Задерживаться там надолго он не собирался, но ему нужен был клинический опыт, чтобы открыть частную практику. Практика сулила достойный заработок - а без него пара не могла пожениться.

Этот день наступил лишь четыре года спустя. За время долгой разлуки, прерывавшейся лишь крайне редкими свиданиями - то в доме Марты на Балтийском побережье, то в доме Зигмунда на Дунае, - они писали друг другу почти ежедневно. Зигмунд написал

более девятисот писем, которые позволяют заглянуть и в их стремительно расцветавшие отношения, и в его переменчивый нрав. На фотографиях и рисунках Фрейд неизменно предстаёт суровым, предельно серьёзным человеком - таким он и укоренился в массовом сознании. В письмах же он выглядит почти безудержным романтиком, молодым человеком, охваченным первой по-настоящему страстной, хотя и по-прежнему целомудренной любовью. Он называл Марту «моя милая принцесса», «моё любимое сокровище», «прекрасная госпожа, сладкая любовь» - и это лишь малая часть потока его нежных обращений.

Они обручились в Вене 17 июня 1882 года, а уже на следующий день Марта отправилась обратно в Вандсбек. 19 июня Зигмунд написал восторженное письмо, полное противоречивых чувств: «Я знал, что лишь после твоего отъезда осознаю всю полноту своего счастья - и, увы, всю меру своей утраты… Должно быть, это правда. Марта моя - та милая девушка, о которой все говорят с восхищением, которая вопреки всему моему сопротивлению покорила моё сердце при первой же встрече, девушка, за которой я боялся ухаживать и которая с благородным доверием пошла мне навстречу, которая укрепила мою веру в собственную ценность…»

Как и в матери, Зигмунд искал в ней человека, который безоговорочно поддержит любые его начинания, - мотив, постоянно звучащий в его последующих письмах. «Это твоя заслуга, что я стал уверенным в себе, смелым мужчиной», - писал он. С самого начала он не оставлял сомнений и в том, что относится к Марте как ревнивый собственник. «Отныне ты лишь гостья в своей семье - как драгоценность, которую я заложил и которую выкуплю, как только разбогатею».

В первые дни помолвки он старался быть примирительным в том, что их разделяло, особенно в вопросах веры. Имея в виду поколение их родителей, дедов и бабок, он писал: «Даже если та форма, в которой были счастливы старые евреи, больше не даёт нам

приюта, что-то от сердцевины, от самой сути этого исполненного смысла и жизнеутверждающего иудаизма не покинет наш дом».

И всё же он мог быть колючим, почти до жестокости. Поначалу Марта не решалась писать ему в субботу, а если и писала, то скрывала это от матери и брата. Зигмунд гневно реагировал на подобные уступки их чувствам. «Если ты не можешь любить меня настолько, чтобы отречься от своей семьи, тогда ты должна меня потерять, разбить мою жизнь - и от своей семьи тоже немного получишь», - заявлял он.

Несмотря на такие вспышки, переписка показывает, как стремительно росла их привязанность, как оба с тревогой ждали того ещё далёкого дня, когда смогут скрепить свой союз и положить конец разлуке. Зигмунд выразил это, процитировав «Двенадцатую ночь» Шекспира:

Все пути ведут к свиданью -

Это знает всякий умный.

Вместе с тем он не скрывал своих «старомодных взглядов», особенно на роль, которую Марта должна была играть в их браке. Он считал «совершенно нереалистичной мыслью посылать женщин в борьбу за существование наравне с мужчинами». Он сделает всё, чтобы уберечь Марту от этой борьбы и оставить её «в тихой, безмятежной деятельности моего дома». Признавая, что женщины обретают новые права, он настаивал: «Положение женщины не может быть иным, чем оно есть: в юности - обожаемая возлюбленная, в зрелости - любимая жена».

Марта охотно приняла эту точку зрения, но домом, совмещённым с кабинетом, она правила твёрдой рукой, взяв на себя всё хозяйство и управление. И она умела маневрировать, чтобы добиться своего, когда ставки были достаточно высоки.

Когда весной 1886 года Фрейд смог оставить больницу и открыть частную практику, они наконец могли назначить свадьбу. Это грозило серьёзным конфликтом: Марта не хотела огорчать

мать, ожидавшую ортодоксального обряда, но знала, что Зигмунд такой перспективы страшится.

Проявив себя искусным дипломатом, Марта указала, что если в Германии религиозный брак не обязателен, то в Австрии - обязателен. А значит, ограничься они гражданской церемонией в Вандсбеке, по возвращении в Вену их брак не признали бы законным. Зигмунд нехотя покорился неизбежному, а Марта позаботилась о том, чтобы еврейская свадьба 14 сентября 1886 года в доме её матери прошла как можно скромнее. Её устроили днём, что избавляло от необходимости в вечерних туалетах, а число приглашённых друзей Марта ограничила. И всё же это был религиозный обряд, которого так жаждала её семья.

В письмах Зигмунд откровенно говорил о своих амбициях. Как это часто бывало, порой он выглядел противоречивым. Через год после помолвки он изображал небрежное равнодушие к тому, добьётся ли хоть какой-то известности. «Я никогда не принадлежал к людям, которые не могут вынести мысли, что смерть смоет их прежде, чем они успеют нацарапать своё имя на скале среди волн», - писал он. Классический случай, когда человек слишком уж горячо отнекивается. Вплетая фразы вроде «при всей этой работе, погоне за деньгами, положением и репутацией, которая едва оставляет мне время черкнуть тебе ласковую строчку», он вовсе не выражал раздражения этой погоней. На самом деле он говорил одно, а подразумевал противоположное. В минуту откровенности он написал: «О человеке должны говорить».

Когда до свадьбы оставалось уже недолго, Фрейд с явной гордостью писал о разговоре с Брейером - врачом, который был для него почти крёстным отцом. «Он сказал мне, что обнаружил: под покровом застенчивости во мне скрывается чрезвычайно дерзкий и бесстрашный человек, - сообщал он. - Я всегда так думал, но никому не говорил». И ещё более высокопарно добавлял: «Мне часто казалось, будто я унаследовал всю непокорность и все страсти, с которыми наши предки защищали свой Храм, и мог бы с радостью отдать жизнь за один великий исторический миг».

Но долгое время Фрейд вовсе не был уверен, где и как искать такой миг. В 1884 году, за два года до свадьбы, он писал Марте об одном из своих профессоров, который пространно рассуждал о трудностях карьеры в Вене и предлагал помочь связями в Буэнос-Айресе или Мадриде, где, возможно, будет легче. Фрейд ответил, что не исключает эмиграции, но сначала хочет попытать счастья в Вене. «У меня есть работоспособность, и меня держит здесь нечто иное, чем соседство этих прекрасных зданий», - пояснил он.

Более фундаментальный вопрос состоял в том, какой должна быть специальность Фрейда, чем он может выделиться в медицине. Работая ещё в Городской больнице, он оставался ненасытным читателем, и его заворожили мифы инков о целебных свойствах листьев коки и позднейшие рассказы европейских путешественников по Южной Америке, вторившие этим преданиям. Например, в 1801 году немецкий исследователь Александр фон Гумбольдт описывал, как индейские гонцы в Перу обходились известью и кокой, которые притупляли голод и давали силы и выносливость. Но экспериментировать с кокаином напрямую Фрейда побудили страдания Эрнста фон Флейшль-Марксова, близкого коллеги по лаборатории. Вскоре он убедил себя, что нашёл не только спасение для друга, но и путь к славе для себя.

Флейшль-Марксов порезал большой палец, работая с трупом; вместо мелкой неприятности эта случайность обернулась тяжёлой инфекцией, ампутацией пальца и растущей зависимостью от морфия. Видя, как морфий губит его физически и душевно, Фрейд предложил лечить его кокаином. Флейшль-Марксов к тому времени был рад попробовать что угодно, и первые результаты этой «кокаиновой терапии» выглядели почти чудесными. На самом же деле он менял одно вызывающее привыкание вещество на другое. Тогда Фрейд не сознавал опасности того, что в своей первой крупной научной работе *Über Coca* («О коке»), призванной, как он надеялся, дать старт его карьере, называл «волшебным снадобьем».

В ходе экспериментов Фрейд и сам многократно принимал кокаин, сообщая, как быстро «наступает внезапное оживление и чувство лёгкости». Результаты так его воодушевили, что он даже посылал небольшие дозы Марте, уговаривая её попробовать. Но состояние Флейшль-Марксова быстро ухудшалось: он стал кокаинистом, так и не избавившись от морфия. Сочетание двух сильнодействующих наркотиков вызвало, как описал Фрейд, примчавшийся однажды вечером к нему на квартиру, «белую горячку с белыми змеями, ползающими по коже». После многолетних мучений Флейшль-Марксов умер в 1891 году в возрасте сорока пяти лет, так и не освободившись от своих зависимостей.

В ту пору, когда он ещё возлагал большие надежды на кокаин как на чудо-лекарство, Фрейд искал и другие пути исцеления. С октября 1885-го по февраль 1886 года, получив скромную дорожную стипендию, он учился и работал в Париже у знаменитого невролога и патолога Жана-Мартена Шарко. Лекции француза в Сальпетриере, клинической больнице при Сорбонне, и его осмотры пациентов, тут же комментируемые для учеников, произвели на Фрейда огромное впечатление. 24 ноября он писал Марте: «Шарко, один из величайших врачей и человек, чей здравый смысл граничит с гениальностью, попросту разрушает все мои цели и взгляды. Иногда я выхожу с его лекций, как из собора Парижской Богоматери, с совершенно новым представлением о совершенстве».

Особенно впечатлили Фрейда объяснения Шарко относительно истерии у пациентов и использование им гипноза для её лечения. Как и в пору ранних теорий о кокаине, Фрейд всё ещё искал прорывных методов лечения и был в восторге, когда Шарко сказал, что хотел бы, чтобы он перевёл некоторые его труды на немецкий. Вскоре его стали приглашать и на званые ужины в доме Шарко. «Теперь я единственный иностранец у Шарко», - с гордостью сообщал он Марте, хотя и признавался, что на таких вечерах нервничает, хватит ли ему французского. Чтобы успокоиться, он прибегал к своему излюбленному средству. В другом письме он

тревожился, что «щепотка кокаина» сделала его чересчур разговорчивым.

То ли от кокаина, то ли от возбуждающей обстановки, но во многих парижских письмах Фрейд звучит необычайно эмоционально и игриво. Познакомившись на одном из вечеров с дочерью Шарко, он писал Марте, что она «маленькая, довольно пышная и до смешного похожа на своего великого отца, а потому так интересна, что и не спрашиваешь себя, хороша она или нет. Ей около двадцати, она очень естественна и любезна». И почти поддразнивая, добавлял: «А теперь представь, что я не был бы уже влюблён и был бы немножко авантюристом, - какой это был бы соблазн поухаживать за ней, ведь нет ничего опаснее юной девушки, носящей черты человека, которым восхищаешься».

Как ни радовал Фрейда доступ в круг Шарко, разобраться в своих чувствах к Парижу ему было трудно. Как и в случае с Веной, он мог брать совершенно противоречивые ноты. «Какой волшебный город этот Париж!» - писал он, описывая спектакли, увиденные в «Комеди Франсез» и других парижских театрах, и восхищаясь игрой Сары Бернар. Заворожили его и собрания древностей в Лувре, особенно греческие и римские статуи. В письме к сестре Марты Минне, с которой он тоже часто переписывался, он признавался, что находится «под полным впечатлением» от Парижа. Но замечал, что город похож на «огромного разряженного Сфинкса, пожирающего каждого чужеземца, который не может разгадать его загадки». Что до парижан, он видел в них «иную породу, чем мы; мне кажется, все они одержимы тысячей демонов… Не думаю, что им знакомо значение стыда или страха». Вывод его был таков: «Париж - это просто один длинный путаный сон, и я буду очень рад проснуться».

Пребывание во французской столице заставило его ценить Вену больше, чем когда-либо. И, несмотря на шутливые разговоры о возможных альтернативных романах, он спешил заверить Марту, что видит своё будущее только с ней. Всё ещё из Парижа он напоминал ей о первом комплименте, который когда-то ей сделал:

что «розы и жемчуга падают с твоих губ, как у принцессы из сказки». Потому-то, добавлял он, она и была его «маленькой принцессой». И Зигмунд, и Марта были более чем готовы начать совместную жизнь.

Во многом Вена оправдала ожидания молодой четы. С 1887 по 1895 год Марта родила всех шестерых детей. В 1891 году они поселились на Берггассе, 19 - этот адрес оставался их домом и кабинетом Зигмунда вплоть до отъезда в Лондон в 1938 году. Как вспоминал старший сын Мартин, «мать правила домом с огромной добротой и столь же огромной твёрдостью. Она требовала пунктуальности во всём - вещь, неслыханная в неторопливой Вене». В 1896 году к ним навсегда переехала Минна, чей жених, санскритолог Игнац Шёнберг, умер от туберкулёза десятью годами раньше, - и семья стала ещё больше.

Но в профессиональном отношении Зигмунд нередко испытывал разочарование. Вернувшись из Парижа, он выступал с докладами и лекциями о том, чему научился у Шарко в лечении нервнобольных. Один из первых докладов в Обществе врачей «был принят плохо», отмечал он. Когда он заговорил о мужской истерии, пожилой хирург обвинил его в «вздоре», заявив, что истерия по определению женская болезнь. «Как же мужчина может быть истеричным?» - вопрошал он. Хотя в других случаях Фрейд удостаивался похвал, «впечатление, что высокие авторитеты отвергли мои новшества, оставалось непоколебимым», писал он.

«Новшества» Фрейда - например, раннее применение кокаина и опыты с электротерапией - в конечном счёте не оправдали и его собственных ожиданий. Подобно Шарко, он увлёкся возможностями гипноза и всё чаще применял к пациентам «гипнотическое внушение». Летом 1889 года он съездил во французский Нанси, надеясь поучиться у тамошних врачей и усовершенствовать свою технику. Но вскоре он усомнился и в действенности гипноза. «Итак, я отказался от гипноза, сохранив лишь обыкновение укладывать пациента на кушетку, а самому

садиться позади него, так что я видел его, но он меня не видел», - вспоминал он.

В последнее десятилетие XIX и первые годы XX века Фрейд обрёл куда более ясную цель, чем прежде, открыв или введя многие понятия, ставшие основой фрейдовского анализа. Годами он обсуждал случаи истерии с Йозефом Брейером, особенно пациентку старшего коллеги, известную под именем «Анна О.». В 1895 году они вместе опубликовали «Исследования истерии». Брейер применял к пациентке гипноз, но перелом в её тяжелейшем душевном состоянии принесло «лечение разговором». Лишь в 1896 году Фрейд нашёл для этого процесса лучшее название - психоанализ. Год спустя, всё более убеждаясь, что в основе большинства неврозов лежат вытесненные сексуальные воспоминания, он впервые сформулировал идею Эдипова комплекса, согласно которой маленькие мальчики испытывают сексуальное влечение к матери и видят в отце соперника.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в стратосферу славы Фрейда эффектнее всего вознесло «Толкование сновидений», вышедшее в ноябре 1899 года, хотя издатель датировал книгу 1900 годом, чтобы она совпала с зарёй нового века. Но мгновенной сенсацией, на которую надеялся Фрейд, она не стала. За первые шесть лет было продано лишь 351 экземпляр. Фрейд жаловался, что на книгу «почти не было рецензий в специальных журналах».

Упор Фрейда на вытесненные сексуальные воспоминания и фантазии приходился по вкусу далеко не всем - и стал одной из причин его разрыва с Брейером после их совместного исследования истерии. Более десяти лет спустя, в 1907 году, Брейер писал швейцарскому коллеге, что «погружение Фрейда в сексуальное в теории и на практике мне не по вкусу». Он высказал и более широкую претензию, показывающую, как далеко разошлись их пути. «Фрейд - человек, склонный к абсолютным и исключительным формулировкам, - добавлял Брейер. - Это психическая потребность, которая, на мой взгляд, ведёт к чрезмерным обобщениям».

Бóльшую часть этого периода ближайшим другом Фрейда - хотя по большей части на расстоянии - был Вильгельм Флисс, берлинский отоларинголог. Флисс познакомился с Фрейдом в 1887 году, побывав на одной из его лекций по неврологии в Вене. Тогда Фрейд только начинал разрабатывать теории, которые позднее его прославят, пусть некоторые из них поначалу и отметали как чудачества. Флисс тем временем проповедовал собственные теории - особенно о сексуальности, - снискавшие ему репутацию ещё большего чудака и со временем в основном опровергнутые. Он утверждал, что нос - главный орган, определяющий здоровье и поведение человека, а мужчины и женщины подвластны биоритмическим сексуальным циклам в двадцать три и двадцать восемь дней соответственно. После встречи в Вене Фрейд, обрадованный интересом Флисса к его работе, написал ему в Берлин, что надеется на продолжение их отношений, поскольку Флисс оставил у него «глубокое впечатление».

В их обширной переписке Фрейд не оставлял сомнений, что ищет восприимчивую аудиторию для своих идей - человека, который будет рукоплескать его усилиям и подстёгивать их. Флисс охотно взял на себя эту роль, неустанно подбадривая друга. «Вы - единственный Другой, *alter*», - писал ему Фрейд в 1894 году. Он делился подробностями личной жизни, в том числе тревогами о своём сердце и отношениях с Мартой. После рождения пятого ребёнка в 1893 году он доверительно сообщал, что Марта может отдохнуть годик, поскольку, как он выразился, «мы теперь живём в воздержании». Их шестой и последний ребёнок, Анна, родилась два года спустя.

Друзья без всякого стеснения обсуждали почти любую пришедшую в голову мысль. В 1896 году Фрейд писал Флиссу: «Вы научили меня, что за всяким народным безумием таится крупица истины». Но отношения испортились, когда Фрейд начал понимать, что его «Другой» склонен к причудливым теориям, никак не согласующимся с его собственными, более логичными. Фрейд больше не видел во Флиссе достойного критика своих трудов и

мыслей. В 1901 году он напрямик написал ему: «Вы достигли пределов своей проницательности».

Всё это усиливало у Фрейда ощущение одиночества и неприкаянности. Описывая период после разрыва с Брейером, он писал: «У меня не было последователей. Я был в полной изоляции. В Вене меня сторонились; за границей меня не замечали». Он несколько сгущал краски, но ненамного.

Фрейд остро сознавал своё положение еврея - как и многие его современники, считавшие себя людьми светскими и ассимилированными. «Невозможно было, особенно еврею, ведущему публичную жизнь, не замечать того, что он еврей, - указывал популярный писатель Артур Шницлер. - Никто другой этого не забывал - ни христиане, ни тем более сами евреи». Но Шницлер, который был на шесть лет моложе Фрейда, вспоминал, что в школьные годы антисемитизма «почти не ощущал», хотя всё изменилось, когда он поступил в Венский университет. Несмотря на последующий литературный успех, «известное разделение христиан и евреев на группы, пусть и не строго обособленные… ощущалось всегда и везде».

Это была классическая венская двойственность, вобравшая в себя множество противоречий города той эпохи. Амос Элон, уроженец Вены, израильский журналист и писатель, описывал австрийскую столицу конца XIX века как «образец бурного творчества, порождённого культурным многообразием». Что же до собственно антисемитизма, пояснял он, «по крайней мере до начала 1890-х годов, когда антисемитизм в особенно бешеной форме прокатился по улицам и университетам Вены, положение евреев тоже неуклонно улучшалось».

Сталкиваясь с антисемитизмом лично, Фрейд не позволял себя запугать. В конце 1883 года, путешествуя поездом по Германии, он открыл окно в вагоне, чтобы глотнуть свежего воздуха, - и на него посыпались крики закрыть окно, как у всех. «Да он грязный жид!» - вставил один пассажир, а другой обратился прямо к нему: «Мы, христиане, думаем о других, а вы бы поменьше думали о своей

драгоценной персоне», - и прибавил ещё ряд отборных выражений. Пассажир также объявил, что перелезет через сиденья и проучит его. Как писал Фрейд Марте об этом случае, «ещё год назад я онемел бы от волнения, но теперь я другой; я ничуть не испугался этого сброда». Он предложил самому воинственному из пассажиров выйти один на один. «Я был вполне готов его убить, - продолжал Фрейд, - но он не подошёл».

Летом 1900 года, на отдыхе под Веной, двое сыновей Фрейда - Мартин и Оливер - удили рыбу с лодки на озере, когда проходившая мимо компания мужчин осыпала их оскорблениями и угрозами. Мальчиков обзывали «израэлитами» и обвиняли в краже рыбы, чего, как заметил Мартин, и быть не могло: место было общедоступное и излюбленное рыболовами. Они рассказали обо всём отцу, и в тот же день все трое снова переплыли озеро. К тому времени там собралась толпа побольше, в том числе женщины. Пока они причаливали, толпа выкрикивала новые антисемитские оскорбления. Человек десять мужчин, вооружённых палками и зонтами, под одобрительные возгласы стоявших позади женщин, явно рвались в драку.

Фрейд выпрыгнул из лодки и двинулся прямо на них. Когда Мартин последовал за ним, Фрейд резко приказал ему отойти. До того дня, вспоминал Мартин, «мой мягкий отец ни разу не говорил со мной иначе как ласково». Потому-то этот резкий тон так потряс Мартина - сильнее, чем вся встречавшая их компания. «Тем временем, - продолжал Мартин, - отец, размахивая тростью, ринулся на враждебную толпу, которая расступилась перед ним и тут же рассеялась, дав ему свободный проход». Как ни поразила Мартина эта демонстрация храбрости, ещё больше его поразило то, что «ничто не указывало, будто отца это хоть сколько-нибудь задело». Насколько ему было известно, отец никогда никому не рассказывал о том, что случилось в тот день.

Отчасти способность Фрейда спокойно переносить подобные стычки могла быть следствием его раннего воспитания: тогда антисемитизм казался менее распространённым и уж точно менее

ядовитым, чем вскоре станет. Особенно в Вене, где столь многие евреи процветали, многие из них преуменьшали любые признаки того, что положение принимает опасный оборот. По словам Адольфа Дессауэра, еврейского писателя, который был на семь лет старше Фрейда, венский антисемитизм был всего лишь «преходящей модой, настроением, шуткой».

Однако ничего забавного не было во многих тенденциях, которые начали проявляться в 1880-е годы, а в 1890-е набрали ход.

Среди евреев, стекавшихся в Вену из других частей Австро-Венгерской империи, был и Теодор Герцль - уроженец Будапешта и современник Фрейда, переехавший в столицу в 1878 году и поступивший на юридический факультет Венского университета. Герцль казался образцом ассимилированного еврея, стремящегося сделать себе имя - сначала адвокатом, затем журналистом и драматургом. Он обладал даром к языкам, читал по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-английски, но превыше всего ценил немецкую культуру. Он отмечал, что всякий «венский студент был вагнерианцем ещё до того, как услышал хоть один такт его музыки». Ничто тогда не предвещало, что Герцль станет провидцем и основателем современного сионизма - движения, которое привело к созданию Израиля спустя долгое время после его смерти в 1904 году в возрасте сорока четырёх лет.

В студенческие годы Герцль вступил в «Альбию» - одну из корпораций, исповедовавших немецкий национализм и культивировавших обычаи вроде дуэлей. Он гордился тем, что его приняли в их ряды, как и немногих других евреев, считавшихся достаточно немцами по духу. Артур Шницлер вспоминал, как видел Герцля «в голубой студенческой шапочке, с чёрной тростью с ручкой из слоновой кости, на которой были выгравированы буквы F. V. C. [сокращение латинских слов, означающих „Цвети, живи, расти“], - он шагал в ногу со своими корпорантами».

Но как раз в это время студенческие корпорации становились всё более антисемитскими, и оставшиеся в них евреи воспринимались как позор; особенно неловко было то, что

некоторые из этих евреев оказывались лучшими дуэлянтами, чем их противники-христиане. Герцль провёл короткую дуэль и показал себя достойно: и он, и его противник получили на лицах шрамы, считавшиеся мужественными. В 1882 году корпорации разрешили эту проблему, приняв так называемый Вайдхофенский манифест. Его язык был столь же красноречив, как и содержание:

> Всякий сын еврейской матери, всякий человек, в чьих жилах течёт еврейская кровь, со дня рождения лишён чести и всех более тонких чувств. Он не способен отличить грязное от чистого. В нравственном отношении он недочеловек. Дружеское общение с евреем поэтому бесчестно; всякого общения с ним надлежит избегать. Оскорбить еврея невозможно; следовательно, еврей не может требовать сатисфакции ни за какое понесённое оскорбление.

Иными словами, евреям предстояло не только полное изгнание: члены корпораций не могли и не должны были принимать от евреев вызовы на дуэль.

На траурном собрании в память Рихарда Вагнера, умершего 13 февраля 1883 года, оратор от «Альбии» превозносил «арийский» пангерманизм и «вагнеровский антисемитизм» - определение, вполне точно описывавшее неприязнь композитора к евреям. Хотя оратора исключили из университета, Герцль написал в корпорацию: «Я не желаю более оставаться её членом». Вместо того чтобы принять его отставку, «братья» официально вычеркнули его из списков - им хотелось подчеркнуть, что изгнать его решили они сами.

Но и такие личные столкновения с антисемитизмом в Вене не заставили Герцля отказаться от убеждения, что ассимиляция по-прежнему лучший для евреев путь к лучшей доле. Он передумал, лишь став парижским корреспондентом венской газеты *Neue Freie Presse*. Решающим поворотом стали арест и суд в 1894 году по сфабрикованному обвинению в государственной измене над капитаном французской армии, евреем Альфредом Дрейфусом. Сопровождавшая это дело волна антисемитизма во Франции

убедила Герцля, что евреи должны искать спасения в собственном государстве, - и он основал сионистское движение.

Вскоре после возвращения в Вену Герцль два года жил на той же улице, что и Фрейд, - на Берггассе, 6, то есть почти по соседству. Они так и не встретились, хотя Фрейд, несомненно, знал о деятельности Герцля. В 1897 году он посмотрел пьесу Герцля «Новое гетто», навеявшую ему один из снов, а позднее они обменялись письмами. Однако, в отличие от Герцля, Фрейд обычно сторонился политики.

Но мир политики - и антисемитской желчи - трудно было держать на расстоянии. Карл Краус, редактор «Факела», еврей по рождению, перешедший в католичество, а затем оставивший и эту веру, провозгласил: «Психоанализ - новейшая еврейская болезнь… Они залезают в наши сны, как в наши карманы». Это было предвестием обвинения, ставшего потом излюбленным рефреном нацистов, - будто Фрейд изобрёл «еврейскую науку».

Впрочем, в 1890-е годы куда более серьёзной угрозой для венских евреев стал стремительный взлёт Карла Люгера - талантливого городского политика по прозвищу «Красавчик Карл». Придя в политику в 1870-е годы, он был либералом, затем демократом. Вскоре он открыл для себя притягательность антисемитской риторики и в 1891 году основал Христианско-социальную партию. Выставляя себя защитником простого народа и ревностным поборником австрийского католицизма, он заявлял: «Эти евреи отнимают у нас всё, что для нас свято! Отечество! Народность! А в конце концов и нашу собственность!»

Когда в 1895 году его партия победила на муниципальных выборах и избрала Люгера бургомистром, император Франц Иосиф отказался утвердить этот выбор, считая его опасным подстрекателем. Единственное свидетельство того, что почти аполитичный Фрейд следил за этими событиями: он отпраздновал фактическое вето Франца Иосифа, «выдав себе в тот день лишнюю порцию сигар».

Но к 1897 году, когда городской совет в четвёртый раз проголосовал за Люгера, император уступил, и Люгер оставался на своём посту до самой смерти в 1910 году. Будучи бургомистром, он укреплял свою популярность, руководя строительством новых общественных зданий и модернизацией городского хозяйства, включая создание на редкость эффективной трамвайной сети. Джордж Клэр, родившийся в еврейской семье в Вене в 1920 году и бежавший в Британию в 1938-м, признавал в своей книге «Последний вальс в Вене», что Люгер «стал самым любимым и вместе с тем самым деятельным бургомистром, какого когда-либо знала Вена».

Евреи, выросшие в Вене Люгера, обычно были склонны преуменьшать значение его антисемитизма. Писатель Стефан Цвейг утверждал, что «его управление городом было безупречно справедливым и даже образцово демократическим, и евреи, перепуганные триумфом антисемитской партии, по-прежнему пользовались уважением и равными правами». Люгер продолжал иметь дело с евреями, и ему принадлежит знаменитая фраза: «Кто еврей - решаю я». Готовность многих австрийских евреев отмахиваться от открытых проявлений антисемитизма воплощал Виктор Адлер - еврей и основатель соперничавшей Социал-демократической рабочей партии. Выступая в 1899 году на конгрессе Социалистического интернационала, он утверждал, что Австрия, хоть и нередко склонна к несправедливости, «не способна на акты угнетения… у нас деспотизм, смягчённый разгильдяйством».

Убеждение, что Австрия никогда не прибегнет к по-настоящему драконовским мерам, глубоко укоренилось в сознании венских евреев того поколения - поколения Фрейда. Его сын Мартин живо помнил случай, который должен был бы послужить предупреждением. Мартин гулял с тётей «Дольфи» - младшей сестрой Зигмунда Адольфиной, - когда мимо прошёл «самый обыкновенный человек, вероятно христианин, который, насколько я мог судить, не обратил на нас никакого внимания». Но Дольфи «в

ужасе» вцепилась Мартину в руку, писал он, и прошептала: «Ты слышал, что сказал этот человек? Он назвал меня грязной вонючей жидовкой и сказал, что пора нас всех перебить».

Мартин отмахнулся от её тревоги как от следствия «болезненной фобии или глупости Дольфи». Он и его друзья чувствовали себя в Вене среди христиан «совершенно счастливыми и в безопасности», добавлял он. «Странно, что, хотя никто из нас - профессоров, юристов, образованных людей - не имел ни малейшего представления о трагедии, которая погубит детей еврейского народа, милая, но довольно глупенькая старая дева предвидела - или казалась предвидящей - это будущее».

Дольфи стала одной из миллионов жертв этой трагедии: она оказалась в Терезиенштадте, где 29 сентября 1942 года умерла от голода. Многие видные евреи погибли в этом «лагере-гетто» под Прагой во время Холокоста или были отправлены оттуда в другие лагеря - Треблинку и Освенцим.

Глава 3

«Кельт из Уэльса!»

В первое десятилетие нового века Фрейд понял, что его изоляции приходит конец. В 1897 году коллеги по медицинскому факультету выдвинули его на звание профессора - *Professor Extraordinarius*, экстраординарного профессора. Как объяснял Фрейд, титул был важен не меньше для практики, чем для академического положения, поскольку «в нашем обществе он возводит врача в полубоги в глазах пациентов». Окончательное утверждение и подпись императора на указе, исполнявшем желание Фрейда, последовали лишь в 1902 году.

В том же году он начал устраивать регулярные собрания по средам на Берггассе, 19, привлекавшие небольшое, но понемногу растущее число врачей, поначалу почти сплошь евреев. В 1908 году кружок переименовался в Венское психоаналитическое общество. Фрейд с удовольствием отмечал и другие приметы своего упрочившегося положения. «Я, видимо, снова стал респектабельным, и самые робкие мои почитатели теперь здороваются со мной на улице издали», - писал он в одном из последних писем Флиссу. Интерес к психоанализу распространялся и далеко за пределы Вены, открывая Фрейду новые возможности для распространения своих идей. Он становился человеком, «о котором говорят», как он выразился когда-то в письме к Марте во время помолвки.

В то самое время, когда Фрейд всё больше убеждался, что идёт верным путём, в Вену приехал подросток из Линца, столицы Верхней Австрии, тоже надеявшийся найти свою дорогу к успеху. Но Адольф Гитлер ничего подобного там не нашёл. Масштаб последствий этого трудно преувеличить.

* * *

В «Майн кампф» Гитлер беспечно утверждал, что школьная учёба давалась ему «смехотворно легко», однако учился он очень плохо и в 1905 году, в шестнадцать лет, вовсе бросил школу. Его суровый, властный отец хотел, чтобы сын последовал его примеру и учился дольше, готовясь к карьере чиновника, но двумя годами раньше умер. Любящая мать родила шестерых детей, из которых выжили лишь Адольф и его младшая сестра Паула, но у неё не было ни воли, ни умения направить сына туда, куда его никогда не тянуло. Вместо этого, как он сказал местному почтмейстеру, он намеревался «стать великим художником».

В вечно воспалённом воображении Гитлера это превращение должно было свершиться в Вене. Впервые попав туда в 1906 году, семнадцатилетним, он был заворожён увиденным. «Часами я мог стоять перед Оперой, часами разглядывать Парламент; вся Рингштрассе казалась мне волшебством из „Тысячи и одной ночи“», - вспоминал он в «Майн кампф», автобиографическом опусе, написанном в тюрьме, куда он попал за руководство провальным «Пивным путчем», который молодая нацистская партия устроила в Мюнхене в ноябре 1923 года. Убеждённый, что наряду с живописью его талант к рисунку «развился поразительно», он всё больше увлекался архитектурой. Ходил он и в Оперу - слушать «Тристана и Изольду» и «Летучего голландца» Рихарда Вагнера под управлением Густава Малера; то, что Малер был евреем, нисколько не охлаждало его восторга.

Вернувшись в Линц, он объявил матери и единственному близкому другу Августу Кубицеку, что решил поступать в Венскую академию изобразительных искусств. Как писал Кубицек в воспоминаниях о дружбе с юным Гитлером, «Вена звала. Этот город сулил тысячу возможностей такому пылкому юноше, как Адольф, - возможностей, которые могли привести и к высочайшим вершинам, и в мрачнейшие бездны. Город великолепный и вместе с

тем жестокий, обещающий всё и во всём отказывающий, - такова была Вена».

В сентябре 1907 года Гитлер вновь отправился в Вену сдавать вступительные экзамены, нисколько не сомневаясь, что выдержит их играючи и будет зачислен почти сразу. Для первого этапа он представил подборку своих рисунков; их сочли достаточными для допуска к основному экзамену.

1 и 2 октября 113 абитуриентов состязались в двух трёхчасовых турах, демонстрируя художественные способности в рисунках на заданные темы. Рисунки Гитлера признали «неудовлетворительными», а значит, он не попал в число двадцати восьми принятых. Возможность провала прежде даже не приходила ему в голову. «Я был так уверен в успехе, что отказ поразил меня как гром среди ясного неба», - писал он. Задним числом этот поворот породил домыслы, будто Гитлер винил в своей неудаче профессоров-евреев. Но в действительности среди экзаменаторов не было ни одного еврея.

Крах честолюбивых надежд вкупе со смертью матери от рака груди 21 декабря 1907 года полностью изменил его взгляд на мир. В начале 1908 года он вернулся в Вену - на сей раз лишь со смутными надеждами всё-таки как-нибудь стать признанным художником и с растущей обидой на космополитическую столицу и почти всё, что она олицетворяла. Последующие пять лет в Вене были, по его словам, «самым печальным периодом моей жизни». Если воспользоваться словами его друга Кубицека, он исследовал «мрачнейшие бездны» города, вместо того чтобы пользоваться его бесчисленными возможностями.

Гитлер жаловался на скудость средств - по-видимому, небольшого наследства, привезённого из Линца, - и называл голод своим «верным телохранителем». Но, если не считать рисования открыточных видов Вены, которые сбывал один из его приятелей, да случайных заработков, он мало что делал, чтобы изменить свою участь. Он жил в мужских общежитиях, снимал углы, а особенно

тяжёлой осенью 1909 года порой ночевал под открытым небом, где придётся.

Кубицек, приехавший в Вену учиться музыке, часть этого времени делил с Гитлером жильё. Его рассказ не всегда достоверен, но, вероятно, он был точен, когда писал, что в первые дни после возвращения в Вену Гитлер пребывал в «глубокой депрессии». «У меня сложилось впечатление, что Адольф потерял равновесие, - писал Кубицек. - Он выходил из себя по малейшему поводу».

Одним из ранних наваждений Гитлера были городские кварталы красных фонарей. Он уговорил Кубицека пройтись с ним по этому «рассаднику порока», где негодовал на выставленных в окнах проституток. «Мне казалось вполне естественным, что Адольф с отвращением и брезгливостью отворачивался от этих и других сексуальных извращений большого города, что он воздерживался от мастурбации, которой обычно предавались юноши», - вспоминал его друг. Он добавлял, что, то ли из страха заразиться, то ли из общего отвращения, Гитлер всё время пребывания в Вене соблюдал «строгий, поистине монашеский аскетизм».

По собственному признанию Гитлера, годы нищеты в столице сформировали его взгляды на расу, народность, национализм и политику. Называя этот период «самой суровой школой моей жизни», он объяснял, что Вена открыла ему глаза «на две опасности, о которых я прежде едва знал по названию и страшного значения которых для существования немецкого народа уж точно не понимал: марксизм и еврейство».

Вена, по его словам, была идеальной лабораторией для изучения «социального вопроса». Он клеймил «сомнительное волшебство национального плавильного котла», сетуя, что город становится «ненемецким» и превращается в «языковую мешанину». Выходец из австрийской глубинки, не знавший иностранных языков и почти не владевший ремеслом, на которое был бы спрос, он кипел злобой. «Меня отталкивало скопище рас, которое являла мне столица, отталкивала вся эта смесь чехов, поляков, венгров,

русинов, сербов и хорватов, и повсюду - вечный гриб человечества: евреи и снова евреи, - писал он. - Гигантский город казался мне воплощением кровосмешения».

Сокрушаясь о «всеобщей славянизации Австрии», он особенно тянулся к тем, кто клеймил евреев как источник всякого зла. Он вспоминал, какое впечатление произвели на него брошюры Ганса Гольдциера, чьи антисемитские тирады он позднее будет повторять. Гольдциер называл евреев «чумой, выродками, злыми и вредоносными людьми». Этот памфлетист был фигурой мелкой и быстро исчез из виду, о чём Гитлер в «Майн кампф» отзывался не без сожаления. Но будущего диктатора вдохновлял и бургомистр Карл Люгер, самый популярный политик Вены. «Сегодня больше, чем когда-либо, я считаю этого человека величайшим немцем всех времён», - писал Гитлер.

Юный Гитлер видел в Люгере одного из тех, кто научил его ценить антисемитизм, словно не замечая, что бургомистр цинично эксплуатировал эту тему, но вовсе не обязательно воплощал в жизнь свою подстрекательскую риторику. Для Гитлера же такая риторика означала ровно то, что говорилось, - и он принимал её близко к сердцу. В результате венского опыта, объяснял он, «я перестал быть слабохарактерным космополитом и стал антисемитом». В его глазах это доказывало, как сильно он повзрослел. «Я ступил в этот город ещё наполовину мальчиком, а покинул его мужчиной, ставшим молчаливым и серьёзным», - писал он.

Точно так же, как Гитлер не замечал стараний Люгера уравновешивать резкую антисемитскую риторику более примирительными делами, он не придавал значения и тем, кто пытался совмещать верность Австрии и Германии. В его сознании не было места венской двойственности в этом вопросе. В последние годы Австро-Венгерской империи он особенно восхищался Георгом фон Шёнерером, воинственным вождём пангерманского движения и ярым австрийским антисемитом.

На первой же странице «Майн кампф» Гитлер сформулировал главную цель этого движения для своей родины: «Немецкая Австрия должна вернуться в лоно великой германской материродины… Единая кровь требует единого рейха». Задолго до того, как у Гитлера появился шанс прийти к власти, аншлюс уже был у него на прицеле.

* * *

Получая всё большее признание благодаря новаторскому лечению пациентов, обширным трудам и лекциям, а также домашним собраниям по средам, Фрейд оставался верен своим ежедневным ритуалам и распорядку. Вставая в семь, он тщательно готовился к приёму пациентов, начинавшемуся в восемь. Сын Мартин утверждал, что отец вовсе не был тщеславен, а «просто беспрекословно подчинялся глубоко укоренившейся врачебной традиции, согласно которой доктор должен быть хорошо одет, а потому ни на голове, ни на подбородке у него никогда не выбивался ни один волосок». Обеспечивал это ежедневный визит к цирюльнику - или цирюльника к нему. «Его одежда, строго консервативная, была скроена из лучших материалов и сшита безупречно», - добавлял Мартин.

Бóльшая часть его дня была расписана заранее: обед в час, затем небольшие вариации послеобеденного распорядка - в зависимости от того, принимал ли он ещё пациентов или посетителей, писал или выходил на прогулку по городу до или после позднего ужина; затем иногда партия в карты, снова чтение, письмо или правка; спать он ложился в час ночи. По субботам с пяти до семи он читал лекции в университете, после чего нередко снова садился за карты с друзьями.

По воскресеньям он навещал мать, Амалию, овдовевшую после смерти Якоба в 1896 году. Родители привили ему и шестерым его братьям и сёстрам твёрдую веру в важность семьи. Анна, второй ребёнок в семье, вспоминала, как маленький Зигмунд пришёл к

отцу с Библией в руках. Имея в виду, что он старший, Александр младший, а между ними пять сестёр, он объяснил: «Наша семья - совсем как эта книга: две крепкие обложки - мальчики, а страницы между ними - пять сестёр».

Зигмунд регулярно навещал мать до самой её смерти в 1930 году в возрасте девяноста пяти лет. Как отмечала его сестра Анна, её «оплакивали семеро детей, восемнадцать внуков и четырнадцать правнуков».

Фрейд любил устоявшийся распорядок, а также тщательно спланированные долгие летние каникулы в альпийских местах - в Берхтесгадене, баварском курорте, позднее печально прославившемся как убежище Гитлера, или на австрийских водах вроде Бад-Аусзее и Бад-Гастайна. Всеми хлопотами по этим поездкам ведала Марта - так же, как и в Вене. «Она не упускала ни одной мелочи, меняя свою обычную роль простой практичной хозяйки на холодный расчётливый организаторский гений старшего офицера прусского Генерального штаба», - писал Мартин.

Отдых почти всегда включал сбор съедобных грибов (никто не боялся набрать ядовитых, вспоминал Мартин, «потому что отец столько рассказал нам о грибах»), походы и купание. Фрейд участвовал во всём этом, а плавал исключительно брассом, чтобы не замочить ухоженную бороду. Когда патриарх был занят писательством, дети нередко были предоставлены сами себе.

В отдельных поездках Фрейд утолял свою страсть к древностям: в 1904 году побывал с братом Александром в Афинах, не раз подолгу путешествовал по Италии. Во время поездки по Тоскане в 1896 году он и восхищался её художественными сокровищами, и признавался, что порой чувствует себя типичным туристом, раздавленным избытком впечатлений. «Едва мы приехали во Флоренцию, город придавил и ошеломил нас, - писал он. - Памятники стоят вдоль улиц по полдюжины, исторических воспоминаний столько, что в них не разобраться, флорентийцы поднимают адский шум - кричат, щёлкают кнутами, трубят прямо на улице; словом, это невыносимо».

Фрейд никогда не скрывал своих многочисленных антипатий. Когда его сёстры были маленькими, мать взяла напрокат фортепиано, чтобы они могли брать уроки. Но, по словам Анны, старшей из девочек, «гаммы и упражнения для пальцев так мешали Зигмунду, что он пригрозил уйти из дома, если мы продолжим». В результате фортепиано быстро исчезло, а когда Зигмунд женился на Марте и у них появились свои дети, этот непременный атрибут столь многих венских домов оказался под таким же запретом: никто из их детей так и не учился играть на фортепиано. Не любил Фрейд и велосипеды, разговоры по телефону, а также некоторые блюда - например, курицу и цветную капусту.

Как вспоминал Мартин, отец часто жаловался на Вену. В 1900 году Фрейд писал Флиссу: «Я ненавижу Вену прямо-таки личной ненавистью и… черпаю новые силы всякий раз, как отрываю ноги от почвы этого города, который мне родной». Но Мартин заключал, что чувства отца на этот счёт не были ни «глубокими, ни подлинными». При всех его уверениях, будто радость ему доставляют лишь вылазки в горы или за город, Фрейд был глубоко привязан к столице. «Мне кажется, отец иногда ненавидел Вену, а иногда любил старый город, и в целом был ему предан», - писал Мартин. Многие жители больших городов, таких как Лондон или Нью-Йорк, замечал он, всю жизнь любят и ненавидят своё окружение одновременно, - и отец не был исключением.

6 мая 1906 года Фрейду исполнилось пятьдесят, и у него были все основания считать, что он живёт весьма плодотворной и полноценной жизнью. Но, как всегда, он был склонен размышлять о собственной смертности, называл себя стариком и тревожился, кто продолжит его учение, когда его не станет. Собирая всё больше последователей и угощая завсегдатаев сред чёрным кофе, пирожными, сигарами и папиросами, а заодно своими привычными заключительными репликами в конце каждой дискуссии, он не был уверен, что найдёт подходящего преемника. Его личные отношения с наставниками и коллегами - Брейером, Флиссом и другими - часто шли от взаимного восхищения к разочарованию. И хотя он всё

увереннее чувствовал себя основателем новой области - психоанализа, будущее её оставалось для него неясным.

* * *

В те ранние дни Фрейд считал себя «ловцом человеков» - тем, кто постоянно высматривает людей, готовых не только принять психоанализ, но и нести его благую весть дальше. Его радовал постоянный круг приверженцев, собиравшихся по средам у него в квартире в Вене, но ему хотелось забросить удочки и в других водах. Сначала почти случайно, а затем вполне сознательно он вскоре сосредоточил своё внимание и надежды на Цюрихе. Этот пруд, казалось, кишел рыбой, жаждущей клюнуть.

Одни из самых передовых исследований в психологии велись тогда в Бургхёльцли - психиатрической клинике Цюрихского университета, которой руководил профессор Эйген Блейлер, знаменитый психиатр, позднее введший такие новые термины, как «шизофрения» и «аутизм». Блейлер и в особенности его молодой старший ассистент Карл Густав Юнг рано заинтересовались работами и методами Фрейда. Сын швейцарского протестантского пастора, Юнг в детстве и юности мучился тревожными снами, что сделало его особенно восприимчивым к «Толкованию сновидений». По просьбе Блейлера он сделал перед персоналом клиники доклад об этой книге и о работах Фрейда по истерии - и вскоре включил некоторые его теории в собственные сочинения о слабоумии и других предметах.

В предисловии к своему исследованию «Психология *dementia praecox*», датированному июлем 1906 года, Юнг щедро признавал влияние Фрейда. «Даже беглый взгляд на мою работу покажет, сколь многим я обязан блестящим открытиям Фрейда», - писал он. Выражая восхищение трудами Фрейда, он оговаривался, что это не означает «безоговорочного подчинения догме» или неспособности сохранять «независимость суждений». В частности, указывал он, его похвала «не означает, что я приписываю детской сексуальной

травме то исключительное значение, какое, по-видимому, приписывает ей Фрейд». Но все подобные оговорки Юнг относил к «сущим пустякам по сравнению с психологическими принципами, открытие которых - величайшая заслуга Фрейда».

В письмах самому Фрейду Юнг выражал столь же горячее восхищение его работой, снова давая понять, что согласен не во всём - не только в вопросе о роли раннего сексуального развития, но и в оценке «терапевтических результатов» психоанализа. Однако он не оставлял сомнений, что стоит на стороне Фрейда против многочисленных критиков, спешивших отмахнуться от его открытий.

Фрейд был безмерно благодарен Юнгу за поддержку и уверял, что ищет отнюдь не одних похвал. «Я всегда сознавал свою способность ошибаться», - писал он, а в другой раз добавлял, что не хочет быть «предметом культа». Но первые же их письма показывают, как явно оба были взволнованы стремительно расцветавшими отношениями. Отметая тех, кого он иронически называл «светилами» психиатрии старой школы, Фрейд заявлял: «Будущее принадлежит нам и нашим взглядам, и молодёжь - скорее всего, повсюду - деятельно встаёт на нашу сторону». Он уже обращался с Юнгом как с партнёром.

В начале 1907 года Юнг с женой Эммой в сопровождении молодого цюрихского коллеги приехал в Вену, чтобы впервые встретиться с Фрейдом. Когда в воскресенье 3 марта он появился на Берггассе, 19, они проговорили тринадцать часов, не прервав беседы о психоанализе даже за обедом с Мартой и детьми. Мартин Фрейд, которому тогда было семнадцать, живо запомнил гостя, пренебрегавшего обычной «светской беседой» и обращавшегося исключительно к хозяину, почти не замечая остальных за столом. Юнг «говорил, а отец с нескрываемым удовольствием слушал», - писал он.

Хотя Мартин мало что понимал в разговоре отца с гостем, на него произвели впечатление «жизненная сила Юнга, его живость, его умение подать себя» и «его властная манера держаться». Юнгу

было тогда всего тридцать один год - на два десятка лет меньше, чем Фрейду, - и внешне он во многом был его противоположностью. «Он был очень высок и широкоплеч и держался скорее как солдат, чем как учёный и врач, - продолжал Мартин. - Голова у него была чисто тевтонская: волевой подбородок, небольшие усики, голубые глаза и редкие коротко стриженные волосы».

Иными словами, Юнг выглядел образцовым нееврем - к тому же молодым и полным сил. В глазах Фрейда это было только к лучшему. Он рано понял, что нельзя давать повода тем, кто хотел бы списать психоанализ как «еврейскую науку», созданную и распространяемую одними евреями - не только в Вене, но и повсюду.

В письме Фрейду по возвращении в Швейцарию Юнг писал, что визит в Вену помог ему лучше понять «ваше расширенное понимание сексуальности». Более того, весь визит стал «для меня событием первостепенной важности». Фрейд ответил столь же пылко: «Вы вселили в меня уверенность в будущем». И, чтобы не оставить никаких сомнений в значении этих слов, добавил: «Теперь я понимаю, что заменим, как и всякий другой, и что не мог бы пожелать никого лучше вас, каким я вас узнал, чтобы продолжить и завершить мою работу». Фрейд видел в Юнге своего кронпринца - и имел все основания полагать, что Юнг этот титул примет.

Это не значило, что Фрейд отваживал новых последователей-евреев, - совсем наоборот. Он мог привлекать их всё увереннее именно потому, что теперь в его движении на видном месте окажется нееврей. Двое других его гостей из Цюриха в тот год, Макс Эйтингон и Карл Абрахам, работали с Блейлером и Юнгом, и Фрейд тоже принял их радушно. Эйтингон, родившийся в России в еврейской семье, был в Цюрихе ещё студентом-медиком, а Абрахам, немецкий еврей, уже состоявшимся психиатром. Обосновавшись затем в Берлине, оба сыграют видную роль в развитии не только немецкого, но и международного психоаналитического движения.

Абрахам, старший из них, провёл в Цюрихе три года. Он вовсе не так горел желанием возвести Юнга в фактические кронпринцы, как Фрейд, - и куда меньше трепетал перед его напористой натурой. Но Фрейд объяснил Абрахаму, почему считает, что Юнг как нееврей особенно подходит для этой роли. «Наши арийские товарищи нам, в сущности, совершенно необходимы, иначе психоанализ падёт жертвой антисемитизма». Особенно он ценил то, что Юнг, сын пастора, мог «прийти ко мне, лишь преодолев сильнейшее внутреннее сопротивление». Мысль была в том, что христиане по природе меньше склонны принимать психоанализ, чем евреи. Как он выразился в более позднем письме Абрахаму, «нам, евреям, легче: у нас нет мистического элемента».

Учитывая давнюю традицию и многообразие форм еврейского мистицизма, утверждение это весьма спорно. Но Фрейд имел в виду светских евреев вроде себя, чувствовавших себя бесконечно далёкими от «мистического элемента», лежащего в основе христианства.

То же самое Фрейд внушал и Шандору Ференци, который впервые приехал к нему из Будапешта в начале 1908 года и вскоре стал его близким другом и соратником по психоаналитическому движению. Хотя поначалу Ференци скептически относился к теории сновидений, он быстро стал её восторженным приверженцем. Фрейд был настолько очарован им при первой встрече, что пригласил его провести тем летом отпуск вместе с его семьёй в Берхтесгадене.

Итак, паства Фрейда росла. Но, как и еженедельные участники собраний по средам, как Эйтингон и Абрахам, Ференци был евреем. Фрейда это не смущало: в сущности, ему было легче всего с евреями, разделявшими столь многие его представления и переживания. Но тем важнее было, как он объяснял Абрахаму, «не пренебрегать арийцами, которые мне в глубине души чужды».

Пока что Фрейд полагал, что подобные проблемы можно преодолеть, возвысив Юнга до роли лидера. Учитывая назревавшее столкновение двух властных натур, это окажется крупным

просчётом. Но если решимость Фрейда привлечь нееврея, чтобы оградить своё движение от волны антисемитизма, в конечном счёте потерпела неудачу, то для спасения его самого и его семьи эта стратегия окажется выигрышной.

Фрейд ещё и не подозревал, что ему понадобится спасательная команда и что состоять она будет в основном из неевреев. К тому времени связь Юнга с ним давно оборвётся, но главную роль сыграет другой нееврей, познакомившийся с Фрейдом через Юнга.

На сцену выходит Эрнест Джонс.

* * *

В сентябре 1907 года, через несколько месяцев после поездки в Вену, Юнг побывал на Первом международном конгрессе психиатрии и неврологии в Амстердаме и сделал там открытие, о котором поспешил написать Фрейду: «А теперь большой сюрприз: среди английской делегации был молодой человек из Лондона, доктор Джонс (кельт из Уэльса!), который прекрасно знает ваши сочинения и сам занимается психоаналитической работой. Вероятно, он позднее навестит вас. Он очень умён и мог бы принести много пользы».

Это окажется изрядным преуменьшением. Эрнест Джонс, родившийся в 1879 году в Уэльсе, уже успел показать себя человеком одарённым, честолюбивым, наделённым граничащей с заносчивостью самоуверенностью и склонным попадать в ситуации, казалось бы, компрометирующие. Всего в шестнадцать лет он поступил изучать медицину в Университетский колледж Южного Уэльса. Отмечая, что был «эмоционально не по годам развит», он заявлял: «Я имел удовольствие оказаться среди равных, а не среди детей». Ни разница в возрасте, ни разница в росте (он вырос лишь до пяти футов четырёх дюймов) с большинством однокурсников никогда его не смущали.

В конце первого года учёбы, в 1896 году, Джонс с однокурсником отправился в Лондон на, как он выразился,

шестинедельное «интенсивное натаскивание» в Университетском репетиторском колледже на Ред-Лайон-сквер. Это было его первое знакомство со столицей - да и вообще с большим городом. Его восхищало всё - от «юмора кокни» до преподавателей, среди которых были Герберт Уэллс, преподававший биологию, прежде чем прославиться как писатель, и Поль Барбье, профессор французского, «словно сошедший прямо из Второй империи, вплоть до завитого цилиндра», и его дочь Мари, которую Джонс называл первой красавицей колледжа. «К концу шести недель мы чувствовали себя старыми лондонцами», - заявлял он.

Проведя ещё два года в Кардиффе, Джонс вернулся в Лондон для клинической подготовки в больнице Университетского колледжа. В двадцать один год он получил право врачебной практики и быстро прошёл больничные стажировки по хирургии, офтальмологии, гинекологии, педиатрии и неврологии, которая интересовала его особенно. На экзамене на степень бакалавра медицины он получил высокие баллы, стипендию и две золотые медали. Эти ранние академические и профессиональные триумфы он принимал как должное, признаваясь позднее, что они лишь подпитывали его «комплекс всемогущества».

Описывая свои ранние годы, Джонс любил похвастать и иными занятиями. «Не был обойдён вниманием всё это время и противоположный пол, - вспоминал он. - Когда впоследствии одинокие и робкие пациенты рассказывали мне, как трудно в Лондоне познакомиться с кем-нибудь противоположного пола, мой собственный опыт убеждал меня, что трудность эта субъективна, ибо не могу поверить, что лондонские девушки стали за нынешнее столетие более застенчивыми». В 1919 году Джоан Ривьер, проходившая у Джонса анализ, а позднее сама ставшая психоаналитиком и переводчицей Фрейда, писала в письме, что он «неотразим для женщин, поскольку встречает их на их собственной территории».

Хотя Джонс выглядел многообещающим молодым человеком, готовым к успешной врачебной карьере, он мог производить и

впечатление смутьяна. В студенческие годы он участвовал в выходках, доводивших до столкновений с законом. В мае 1899 года, когда британские войска отправлялись на Англо-бурскую войну, он оказался в буйной толпе, пытавшейся штурмовать кафе, хотя и сам толком не знал, чего они добивались. Схваченный полицией, он провёл ночь в участке. Когда в участок явился приятель и стал просить отпустить «малыша», уверяя, что тот очень хрупкого сложения, полицейский ответил: «Да уж, чертовски хрупкий - втроём еле удержали».

В первые годы врачебной карьеры Джонс сменил немало мест. В начале 1903 года он стал дежурным врачом Детской больницы в Бетнал-Грин, получив назначение на год. Но, после того как он оставил пост без официального разрешения, его уволили до истечения срока. По словам Джонса, он помчался к своей валлийской подруге, когда той удаляли аппендикс, а его «враги» в больнице были неумолимы и потребовали его отставки. На самом деле он и прежде дважды отлучался самовольно. Когда он затем подавал прошения на другие престижные больничные должности, ему раз за разом отказывали. В конце концов он всё же получил места клинического ассистента в паре больниц поскромнее и подрабатывал, натаскивая студентов к медицинским экзаменам.

Среди других его подработок был надзор за тем, что он называл «школами для умственно неполноценных», при Совете Лондонского графства; кроме того, он продолжал учиться, посещая курсы по общественному здравоохранению. В рамках подготовки он работал в еврейском квартале лондонского Ист-Энда. «Это дало мне глубокое понимание чужих обычаев и образа жизни», - писал он. Позднее это облегчило ему и вхождение в преимущественно еврейскую профессиональную среду Фрейда.

По словам Джонса, интерес к психиатрии зародился у него в 1902 году во время воскресных визитов к другу, служившему врачом в психиатрической лечебнице под Лондоном. Они регулярно обсуждали недуги тамошних пациентов. Когда в 1905 году Фрейд опубликовал работу о Доре - под этим псевдонимом

скрывалась Ида Бауэр, восемнадцатилетняя девушка, у которой он, лечив её в 1900 году, диагностировал истерию, - Джонса живо заинтересовали и сам случай, и методы, которыми Фрейд её лечил. «У меня осталось глубокое впечатление, что в Вене есть человек, который действительно внимательно выслушивает каждое слово, сказанное ему пациентами, - вспоминал Джонс. - Я пытался делать то же самое, но никогда не слышал, чтобы так поступал кто-нибудь ещё».

Сочинения Фрейда, по большей части ещё не переведённые, и то, что Джонс считал его революционным подходом, так его увлекли, что он взял учителя, чтобы подтянуть немецкий. Чем больше он читал, тем сильнее был впечатлён. «Для Фрейда самые мимолётные замечания пациентов были подлинными фактами, данными, которые надлежит серьёзно исследовать и обдумывать с тем же вниманием, какое геолог, биолог, химик уделяют данным в своих областях», - отмечал он, подчёркивая, как резко это контрастировало с отношением большинства британских врачей. «Вот наконец человек, всерьёз заинтересованный в исследовании психики».

Джонс быстро пришёл к выводу, что хочет пойти тем же путём, но как раз тогда оказался втянут в скандал, едва не положивший конец его карьере. Проводя в начале 1906 года исследование детей и «механизма речи», он, по его словам, «пережил самое неприятное событие в жизни». После того как он провёл речевой тест в школе для «умственно неполноценных», две девочки обвинили его в непристойном поведении - а именно в том, что он перед ними обнажился. К его «изумлению и ужасу», учительница девочек, похоже, поверила их версии.

Пресса раздула историю, напирая на то, что Джонс уже был состоявшимся врачом, занимавшим «весьма значительное положение». Затем явились двое полицейских с ордером. Не без театральности, как заметил Джонс, старший инспектор объявил: «Доктор, из этой комнаты два выхода - дверь и окно; надеюсь, вы выберете дверь». Прежде чем его отвели в камеру местного

полицейского участка, где он провёл ночь, Джонсу позволили позвонить отцу, и тот нанял лучшего адвоката. Освобождённый наутро под залог, Джонс вынужден был пробираться сквозь собравшуюся толпу. Пробираясь, он услышал, как какой-то рабочий сказал: «Пусть перережет себе глотку, вот что».

После четырёх судебных слушаний, на которых обвинения повторялись, а Джонс раз за разом их отрицал, судья прекратил дело. Как отмечала биограф Джонса Бренда Мэддокс, у судьи были на то веские причины: он знал, «что ни одно жюри не вынесет обвинительного приговора на основании показаний психически ненадёжных детей». В автобиографии Джонс настаивал, что девочки, должно быть, были замешаны «в какой-то сексуальной сцене и что из меня сделали козла отпущения за их чувство вины».

Престижный медицинский журнал *The Lancet* поздравил его с «полным оправданием по гнусным и совершенно невероятным обвинениям, выдвинутым против него в связи с его служебными посещениями школ для неполноценных детей». Но ни оправдательный приговор, ни подобные выражения поддержки не смогли до конца развеять тень сомнения, брошенную этим делом.

* * *

Несмотря на урон репутации, Джонс по-прежнему пользовался немалым успехом в светских и интеллектуальных кругах Лондона. Дэвид Эдер, врач, сионист и убеждённый социалист, ввёл Джонса в Фабианское общество и познакомил с его знаменитыми членами - Джорджем Бернардом Шоу, Сиднеем Уэббом и Гербертом Уэллсом, который к тому времени уже не преподавал биологию. Эдер же познакомил Джонса с Луизой Доротеей Канн, или Лоэ, как её все звали, - богатой голландской еврейкой, ставшей на ближайшие семь лет спутницей Джонса. Джонс отмечал, что она была «столь же красива, сколь богата», и располагала сетью любопытных международных связей. Вскоре после их знакомства в 1906 году она попросила Джонса помочь принимать приехавшую

делегацию российской Думы. Те произвели «разочаровывающе нереволюционное впечатление», вспоминал он.

Для Джонса, уже мыслившего фрейдовскими категориями, Канн была больше чем возлюбленной: она завораживала его «своими необычайными качествами и ещё более необычайными поступками». Как выразился Джонс, «её особого рода психоневротическая конституция проявлялась главным образом в том, что различные черты характера развивались у неё в гораздо более высокой, а также более тонкой степени, чем у так называемых нормальных людей». Страдая болезнью почек, она дважды в день принимала морфий. Всё это усиливало её неуверенность в будущем и, вероятно, объясняло, почему она, судя по всему, не стремилась к браку.

К концу 1906 года Джонс начал практиковать психоанализ; первой его пациенткой стала сестра одного коллеги. В следующем году он не только побывал на конференции в Амстердаме, где впервые встретил Юнга, но и записался на специальный месячный курс повышения квалификации по психиатрии в Мюнхене. Как он с гордостью отмечал, его немецкий «продвинулся достаточно, чтобы это стало возможным». Стало это возможным и потому, что расходы помогала покрыть Канн.

Возвращаясь в ноябре 1907 года в Англию, Джонс заехал в Цюрих, чтобы снова повидать Юнга и посетить Бургхёльцли, где тот работал. В письме Фрейду Юнг описал гостя как «чрезвычайно одарённого и деятельного молодого человека», который провёл там пять дней «главным образом для того, чтобы поговорить со мной о ваших исследованиях», поскольку был убеждён в «теоретической необходимости ваших взглядов». Юнг предсказывал, что Джонс станет «стойким сторонником нашего дела», и сообщал, что тот предложил созвать следующей весной «конгресс последователей Фрейда» в Инсбруке или Зальцбурге.

Фрейд был в восторге. «Конгресс в Зальцбурге весной 1908 года сделал бы меня очень гордым», - ответил он. Вопреки предпочтению Юнга, склонявшегося к Инсбруку, он выбрал

Зальцбург. Что до молодого человека, подавшего саму идею, Фрейд, быть может, и не сразу разглядел в нём будущего лидера движения, но был весьма к нему расположен. «Ваш англичанин мне симпатичен своей национальностью», - заявил он, не обращая внимания на валлийское происхождение Джонса. «Я верю, что, познакомившись с нашими идеями, англичане уже никогда от них не откажутся». Французам же, добавлял он, он доверял «меньше».

Завоёвывая признание и Юнга, и Фрейда, Джонс в начале 1908 года угодил в Лондоне в очередной скандал. В Вест-Эндской больнице нервных болезней он ассистировал Гарри Кэмпбеллу, который рассказал ему о десятилетней девочке с «истерическим параличом левой руки», как формулировал Джонс. Зная о его интересе к Фрейду, Кэмпбелл предложил ему найти сексуальную основу этого паралича. После встречи с Джонсом девочка рассказала подругам, что он говорил с ней на сексуальные темы, - и слух дошёл до родителей. По тем временам это была шокирующая новость. По словам Джонса, Кэмпбелл оказался «слишком слаб или напуган», чтобы за него заступиться, и Джонса попросили уйти в отставку.

Джонс заключил, что после этого провала «всякая надежда исчезла» удержать карьеру в Лондоне на плаву. Услышав, что Торонтский университет собирается открыть психиатрическую клинику и ищет директора, он подал заявление, «привлечённый возможностью начать всё заново в какой-нибудь другой англоязычной стране». Но окончательно с Лондоном он не распрощался: он всё ещё надеялся вернуться, когда память о его неприятностях потускнеет.

Получив место в Торонто, Джонс отложил отъезд, чтобы успеть на предложенный им Зальцбургский конгресс и попутешествовать по континенту. На этом собрании в конце апреля Джонс и Фрейд впервые встретились. Джонса позабавило, что его уже знаменитый собеседник представился словами «Фрейд, Вена», будто могли быть хоть какие-то сомнения, откуда он. В ходе этой первой беседы Фрейд расспросил Джонса, откуда у него интерес к психоанализу,

и рассказал, что Юнг отозвался о нём как об «очень умном» человеке.

На следующий вечер Фрейд рассказывал участникам об одном своём особенно навязчивом пациенте, которого преследовало воспоминание о военной службе, никак не шедшее у него из головы. По словам пациента, впоследствии известного как «Человек-крыса», он слышал, как капитан описывал жуткое наказание за некий проступок: человека привязывают и сажают ему на ягодицы перевёрнутый сосуд с голодными крысами, которые прогрызают себе путь в его задний проход. Как вспоминал Джонс, «интеллектуальная мощь» Фрейда проявилась во всём блеске: он три часа рассказывал о случае без всяких записей. Тут он предположил, что слишком затянул, но все упросили его продолжать, и он говорил ещё час, закончив в полночь. «Никогда я так не забывал о ходе времени», - отмечал Джонс.

В начале мая Джонс в сопровождении Абрахама Брилла, уроженца Галиции и американского психиатра, с которым он познакомился ещё в Цюрихе, приехал в Вену. Фрейд пригласил их на очередное собрание Венского психоаналитического общества по средам у себя в квартире. Юнг пренебрежительно отзывался о венских последователях Фрейда как о «выродившейся богемной публике», и Джонс позднее объяснял такое отношение антисемитизмом, поскольку все завсегдатаи были евреями. Но и сам Джонс не испытывал перед этим кружком особого благоговения. «Они были решительно мещанами, и им недоставало светских манер и изысканности, к которым я привык в Лондоне, - писал он. - Зато они были более культурны и образованны».

Если Джонс вынес из Вены смешанные чувства, то и Фрейд выражал по поводу него некоторое недоумение. В письме Юнгу он писал: «Джонс, несомненно, весьма интересный и достойный человек, но он вызывает у меня ощущение - я чуть было не сказал - расовой чуждости». И несколько загадочно добавлял: «Он фанатик и недоедает… Он почти напоминает мне тощего и голодного Кассия». В другом письме Юнгу пару месяцев спустя Фрейд

вернулся к теме этой чуждости: «Он кельт и потому не вполне доступен нам - тевтону и средиземноморцу».

Джонс и Брилл отправились в Будапешт, где Ференци показал им достопримечательности, а затем Брилл вернулся в Соединённые Штаты, а Джонс поехал в Мюнхен и осматривал замки, озёра, леса и горы в его окрестностях. Так он отдыхал перед плаванием через Атлантику в конце августа. «Я отправлялся в Новый Свет, заряженный новыми идеями», - писал он. Эти идеи по-прежнему были тесно связаны с Фрейдом и Юнгом, и вскоре им предстояло снова встретиться - в том самом Новом Свете.

* * *

Прибыв в Торонто, Джонс высоко оценил возможность, как он выразился, «начать жизнь заново». 28 сентября он писал Фрейду: «Ну вот я и высадился в своей новой стране, которая мне пока что очень нравится». Со свойственной ему энергией он быстро взвалил на себя множество обязанностей: служил патологоанатомом Городской больницы, директором психиатрической клиники, которая ещё только планировалась, преподавал, писал статьи - и прежде всего искал способы распространять идеи Фрейда как в Канаде, так и в Соединённых Штатах, куда часто наезжал.

Первоначальное восхищение новым домом не мешало ему видеть то, что он считал его провинциальностью. Говоря о работе профессора Чарльза Кларка, «превосходного канадского типа», - его начальника и главного покровителя, - Джонс отмечал, что его старания открыть новую клинику и тем самым поднять преподавание и практику психиатрии наталкивались на грозные препятствия. «Ему приходилось бороться с властями, видевшими в душевнобольных лишь дорогостоящую обузу и преспокойно вешавшими убийцу, каким бы безумным он ни был», - писал он.

Что до студентов, которых он учил в университете, Джонс ужасался «чудовищной безграмотности их письменных работ» и тому, «как часто они писали так, как в Англии пишет разве что

прислуга». Но признавал своё восхищение «упорными стараниями» многих студентов из сельской местности, которые усердно овладевали новыми науками, а летом работали официантами или батраками, чтобы оплатить учёбу.

Важнее всего было то, что Джонс завёл процветающую частную психоаналитическую практику: пациенты стекались к нему из разных уголков Канады и ещё больше - из Соединённых Штатов. Молодой валлиец был нарасхват. В декабре его пригласили в Бостон, где светила вроде Мортона Принса, невролога с гарвардским образованием и редактора *Journal of Abnormal Psychology*, Джеймса Джексона Патнэма из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля, а также философа и психолога Уильяма Джеймса, брата писателя Генри Джеймса, часто собирались, чтобы обсуждать новое в своих областях.

Написав затем Фрейду, Джонс сообщал, что его «приняли чрезвычайно хорошо» и что к теориям Фрейда там «относятся сочувственно и с большим интересом, особенно к сексуальной части». Но предупреждал, что за пределами Бостона такой интерес не слишком распространён. Он жаловался на низкий уровень многих американских неврологов и психологов, «озабоченных главным образом зарабатыванием денег». И добавлял: «Видите ли, здешние проблемы свойственны именно англосаксонской расе, и нужно хорошо знать все течения и предрассудки, чтобы бороться с ними успешнее всего». Фрейд в ответ похвалил его за то, что он «делает большое дело», распространяя его учение, признав, что Джонс уже фактически стал его посланником и в Канаде, и в Соединённых Штатах.

Но Джонс знал, что о «сексуальной части» их дела надо говорить осторожно. Опасаясь прослыть «чудаком» и оказаться «под запретом как сексуальный неврастеник», если будет писать статьи только на сексуальные темы, он сообщал Фрейду: «Поэтому я буду перемежать свои статьи о сексе статьями на другие темы». Осторожность требовалась и там, где речь шла о вызове местным

нравам. Поэтому он всегда называл Канн своей женой, хотя они так и не поженились. Это настолько вошло у него в привычку, что даже в некоторых письмах Фрейду, прекрасно знавшему правду, он писал «мы с женой».

Вскоре после того, как Джонс освоился в новом доме и новой роли, Фрейд получил приглашение от Университета Кларка в Вустере (штат Массачусетс), праздновавшего своё двадцатилетие. Предполагалось, что он прочтёт пять лекций о психоанализе, вызывавшем всё больше споров и интереса. Поначалу Фрейд колебался, но, когда хозяева предложили более щедрую дорожную субсидию, решился на поездку, которая в сентябре 1909 года окажется его первым и единственным визитом в Соединённые Штаты. Пригласили и Юнга, а Ференци из Будапешта Фрейд без труда уговорил присоединиться. Втроём они пересекли Атлантику на роскошном немецком лайнере «Джордж Вашингтон», за восемь дней плавания из Бремена анализируя сны друг друга.

«Конференция собирает учёных мужей», - гласил заголовок в *Worcester Telegram*. Выступая по-немецки, Фрейд излагал свои теории и методы, в том числе представления о последствиях сексуального вытеснения. Пригласивший их президент Университета Кларка Г. Стэнли Холл вручил Фрейду и Юнгу почётные степени, которые Фрейд с благодарностью назвал «первым официальным признанием наших усилий». Его лекции в Вустере «казались осуществлением какой-то невероятной грёзы наяву», писал он в автобиографии. «Психоанализ больше не был порождением бреда; он стал ценной частью действительности».

В отличие от неприязни, которую он нередко ощущал со стороны европейского медицинского истеблишмента, «там меня принимали как равного самые видные люди», отмечал он позднее. Особенно его тронула встреча с Уильямом Джеймсом, приехавшим повидать его из Бостона. Во время совместной прогулки знаменитый философ, которому было тогда семьдесят семь, внезапно остановился, вручил Фрейду свою сумку и объяснил, что у него приступ грудной жабы и что он скоро их догонит. «Через год

он умер от этой болезни; и мне всегда хотелось быть таким же бесстрашным перед лицом приближающейся смерти, как он», - отмечал Фрейд. Эти слова окажутся пророческими.

В письме Юнгу перед поездкой Фрейд рассказывал, что на пороге своей карьеры собирался два месяца попробовать себя в Вене и, «если это не принесёт удовлетворения, уехать в Америку и устроить там жизнь, которую впоследствии предложил бы разделить моей невесте в Гамбурге». Казалось бы, это указывало, что он вовсе не был предубеждён против Соединённых Штатов. Однако, побывав наконец в этой стране, он проникся к ней сильнейшей неприязнью, сохранившейся на всю оставшуюся жизнь, - несмотря на успех лекций и все оказанные ему почести.

Как вспоминал Джонс, Фрейд признавал размах достижений страны и одновременно выражал своё осуждение. «Да, Америка огромна - но это огромная ошибка», - заявлял он. Такое отношение сыграет немалую роль в его позднейших взглядах на американское лидерство в мире; из-за него же, когда в 1938 году настало время бежать из Вены, он даже не рассматривал Соединённые Штаты.

Фрейд повидал не только Университет Кларка. Когда они с Юнгом и Ференци прибыли в Нью-Йорк, Абрахам Брилл, уехавший из Австро-Венгрии подростком, стал их хозяином и гидом, показывая им город; туда же из Торонто приехал Джонс. Они съездили и на Ниагарский водопад. После церемоний в Университете Кларка гарвардский невролог Джеймс Джексон Патнэм принимал всю компанию в своём лагере в Адирондакских горах, поселив Фрейда, Юнга и Ференци в бревенчатой хижине под названием «Болтушка».

За время поездки Фрейд накопил целый перечень жалоб. Он был убеждён, что сытная американская еда расстроила ему пищеварение, а ещё больше его раздражало, что порой приходилось подолгу добираться до уборной. Как и многим жителям континентальной Европы, хорошо знавшим британский английский, ему трудно было разбирать американское произношение, и он заметил Юнгу, что американцы, похоже, и друг

друга-то не понимают. Во время пребывания в «Хижине Патнэма», как называли лагерь, все обращались друг к другу по именам, что в Австрии было бы немыслимо, а гостям велели играть в настольные игры. На Ниагаре гид пропустил Фрейда вперёд другой группы со словами: «Пусть старичок пройдёт первым». Поскольку Фрейду было тогда всего пятьдесят три, настроения ему это не прибавило.

Джонс описывал Фрейда как «явно недовольного», хотя жалобы на американскую кухню считал лишь предлогом для более общего неуюта. «Полагаю, неприязнь была как-то связана с ощущением, что в Соединённых Штатах над всеми ценностями господствует коммерческий успех, а наука, исследование и глубокая мысль - всё, за что он стоял, - ценятся невысоко», - писал Джонс.

Вернувшись домой, Фрейд выразил облегчение в письме к дочери Матильде: «Я очень рад, что уехал оттуда [из Соединённых Штатов], и ещё больше рад, что не живу там… Но это было чрезвычайно интересно и, вероятно, весьма важно для нашего дела. В целом это можно назвать большим успехом».

Оставаясь в Торонто, Джонс трудился как никогда, чтобы закрепить этот успех. На собрании в Вашингтоне в мае 1910 года он и Патнэм вошли в число учредителей Американской психопатологической ассоциации. Её первым президентом стал Мортон Принс, редактор *Journal of Abnormal Psychology*, который стал официальным изданием ассоциации. Это было ещё одним доказательством того, что Джонс сумел завязать связи с нужными людьми, чтобы продвигать «наше дело». Фрейд не оставлял сомнений в том, как ценит старания ученика, и немедленно написал, чтобы «вновь выразить моё убеждение, что вы - самый искусный, сильный и преданный помощник, какого психоанализ мог найти в Новом Свете».

В начале 1911 года Джонс вновь оказался втянут в то, что он называл «очень серьёзными личными неприятностями». Женщина, которую он описывал как «тяжёлую истеричку», обвинила его в том, что он вступил с ней в связь, донесла на него президенту

университета, грозила судом и, как он писал Патнэму, «пыталась меня застрелить». Он пытался успокоить обвинительницу и признавался, что «по глупости» заплатил ей 500 долларов, надеясь предотвратить очередной скандал, - огромную по тем временам сумму, которую, несомненно, предоставила Канн. Подстрекаемая «некоторыми врачами сомнительных взглядов», женщина упорно стояла на своих обвинениях, сообщал он. Но президент университета сэр Александр Фальконер отказался ей верить, и вскоре её отправили в санаторий.

Джонс снова счастливо отделался. Тем не менее Фрейд сохранил к нему доверие, увидев в этом эпизоде ещё одно подтверждение своей концепции «переноса», при котором пациентка переносит свои чувства к кому-то другому на психотерапевта. В ранние годы, когда он ещё экспериментировал с гипнозом, Фрейда смутила пациентка, во время сеанса пылко бросившаяся ему на шею. Много позже он объяснял Юнгу: «Быть оклеветанным и опалённым той самой любовью, с которой мы работаем, - таковы опасности нашего ремесла, и мы, разумеется, не откажемся от него из-за них».

Но этот последний инцидент не укрепил положения Джонса в глазах профессора Чарльза Кларка, его главного покровителя в Торонто, ставшего к тому времени деканом медицинского факультета. Кларк и прежде начал колебаться в поддержке привезённого им валлийца. Услышав слухи, что Джонс и Канн вовсе не женаты, как он полагал, он потребовал объяснений, и Джонс признал правду. Ходило и множество других слухов о Джонсе и о том, будто он проповедует половую распущенность, с намёком, что таковы и более широкие цели психоанализа.

Подобные неудачи сказывались на Джонсе - и ещё больше на Канн, которой в Торонто никогда не нравилось. Морфий, который она принимала от «почти постоянной боли», превращал её жизнь в мучение, сообщал Джонс Фрейду, и она тревожилась о репутации Джонса, «хотя и не верит в мою работу». Знала об этом Канн или нет, Джонс отнюдь не облегчал положения, заведя в то же время

роман с её молоденькой горничной. В конце концов Джонс и Канн решили уехать в Вену: предполагалось, что Канн пройдёт курс лечения у Фрейда, а затем они вернутся в Лондон.

Фрейд выразил сожаление, что Джонс покидает Северную Америку, когда на этом континенте ещё столько предстоит сделать, но принял решение великодушно. «Вы, можно сказать, завоевали Америку всего за два года», - писал он. И радовался, узнав, что Джонс собирается вернуться в Англию, «ибо я жду, что вы сделаете то же самое и для своей родины».

Так и вышло. В 1913 году Джонс основал Лондонское психоаналитическое общество и стал играть всё более заметную роль в международном движении. Проходя лечение у Фрейда, Канн ушла от Джонса к другому - американскому поэту, которого, по иронии судьбы, звали Герберт Джонс и чей отец тоже лечился у Фрейда. Тем временем валлиец Джонс возобновил роман с горничной Канн, начатый ещё в Торонто. Он и сам прошёл психоанализ, ездя в Будапешт, чтобы его аналитиком стал Ференци. Вероятно, он чувствовал себя слишком связанным с Фрейдом во множестве других отношений, чтобы просить его взять на себя эту роль, - тем более что тот всё ещё лечил Канн. Но Фрейд дал Ференци совет: «Будьте с ним строги и нежны».

Несмотря на всё напряжение, неизбежное при столь тесном переплетении профессиональных и личных связей, Фрейд и Джонс стали командой. Они будут держаться вместе до конца жизни Фрейда - и даже после, когда Джонс напишет первую крупную биографию своего учителя.

Глава 4

«Долгая полярная ночь»

Вернувшись в октябре 1909 года после поездки в Соединённые Штаты к привычной венской жизни, Фрейд, как писал Джонс, «оказался в положении, когда мог рассчитывать на признание и славу, на которые при жизни никогда не надеялся». И хотя ему ещё могли грозить «непонимание, критика, противодействие и даже брань… он был в расцвете сил и жаждал употребить их в полной мере».

К Фрейду продолжали приходить новые последователи - в том числе те, кто останется с ним на всю жизнь. На Веймарском психоаналитическом конгрессе 1911 года он познакомился с русско-немецкой писательницей Лу Андреас-Саломе. Уроженка Санкт-Петербурга, она училась в Цюрихском университете, а затем обосновалась в Германии. Всего на пять лет моложе Фрейда, она по-прежнему блистала на конгрессе, куда приехала спутницей шведского психоаналитика Поуля Бьерре. Поразительная красавица в юности, она водила дружбу с такими знаменитостями, как философ Фридрих Ницше и поэт Райнер Мария Рильке, которым затем посвятила книги. Брак с Фридрихом Карлом Андреасом, востоковедом из Гёттингенского университета, не мешал ей привлекать впечатляющую вереницу любовников.

Заинтригованная Фрейдом, после Веймарского конгресса она усердно изучала его труды и вскоре написала ему, что хотела бы несколько месяцев поучиться психоанализу в Вене. Во время пребывания там осенью 1912 года она посещала собрания по средам в квартире Фрейда и совершенно его покорила. Он называл её «женщиной опасного ума» и ценил как коллегу и друга - «музу», как он однажды выразился, - без всякой любовной подоплёки. «Её интересы и впрямь сугубо интеллектуальны, - добавлял Фрейд. -

Это весьма незаурядная женщина». По словам Джонса, «Фрейд глубоко восхищался её возвышенным и безмятежным характером, ставя его куда выше собственного, а она в полной мере сознавала значение достижений Фрейда».

То были, по заключению Джонса, «последние счастливые годы» Фрейда, оборванные начавшейся войной - сначала между Австрией и Сербией после убийства в Сараеве наследника габсбургского престола эрцгерцога Франца Фердинанда 28 июня 1914 года, а затем пожаром, охватившим все великие европейские державы. «Первая мировая война положила конец - для нас, как и для столь многих, - эпохе свободы, благополучия и безопасности», - вспоминал Мартин Фрейд. Это был «золотой век», ушедший навсегда.

Но и последние предвоенные годы не были лёгкими ни для его отца, ни для движения. На Втором конгрессе Международной психоаналитической ассоциации в Нюрнберге в марте 1910 года Фрейду пришлось убеждать обиженных венских коллег, что он поступил правильно, поддержав избрание Юнга её президентом. «Большинство из вас - евреи, а потому вы не способны приобрести новому учению друзей, - без обиняков заявил он им. - Евреи должны довольствоваться скромной ролью тех, кто готовит почву». Несколько месяцев спустя он предостерегал Ференци в Будапеште, чтобы тот не преуменьшал вклад Юнга в общее дело. «Я больше чем когда-либо убеждён, что он человек будущего», - писал Фрейд.

Чтобы успокоить уязвлённых венских коллег, Фрейд передал формальное руководство собиравшейся у него по средам группой Альфреду Адлеру - одному из самых заметных недовольных. В письме Джонсу Фрейд уверял, что это дало благотворный результат. «Все полны свежих надежд и обещают работать, - сообщал он. - Я удаляюсь на задний план, как и подобает пожилому господину [только, умоляю, без комплиментов!]». Это был шутливый способ сказать, что он перетасовал состав, по-прежнему дирижируя каждым ходом.

Но эти манёвры не утихомирили хронического недовольства в венском кругу и не умиротворили тех, кто продолжал обижаться, что в движении им отведены второстепенные роли. 19 июня 1910 года он писал Юнгу: «Вы знаете, как все они ревнуют - здесь и повсюду - к вашему привилегированному положению при мне (с Ференци то же самое: его близость ко мне вызывает такую же зависть), и я считаю себя вправе полагать, что всё, что из-за этого говорят против вас, говорится против меня».

Фрейд быстро пожалел, что поставил Адлера во главе венской группы: тот оказался человеком вздорным и почти лишённым качеств, способных унять там напряжение. «С Адлером дело становится совсем плохо», - сообщал Фрейд Юнгу в декабре. Не меньше тревожили его и теории Адлера, преуменьшавшие роль сексуальности и бессознательного и выдвигавшие на первый план биологию; Фрейд предсказывал, что они повредят психоанализу. В следующем письме Юнгу он писал: «Недавно он высказал мнение, будто даже мотив к соитию не исключительно сексуален, но включает и желание индивида казаться самому себе мужественным». Подобные рассуждения, продолжал он, делают невозможным понимание чувств невротиков.

К июню 1911 года разрыв почти состоялся. «Наконец-то я избавился от Адлера», - похвалялся он Юнгу. Адлер перестал ходить на собрания по средам и увёл с собой нескольких сторонников. Не случайно этот первый крупный раскол в психоаналитическом движении был вызван непреклонной убеждённостью Фрейда в первенствующей роли сексуальности в человеческом поведении - она же в своё время способствовала и его разрыву с Брейером.

Упор Фрейда на секс делал его лёгкой мишенью для нападок на личность. Мозес Аллен Старр, американский невролог, в молодости недолго работавший с ним в Вене, 4 апреля 1912 года обрушился на его теории на заседании неврологической секции Нью-Йоркской медицинской академии. По сообщению *The New York Times*, Старр раскритиковал его мысль о том, что «психическая жизнь человека

основана на половом влечении», и перешёл к изображению Фрейда как продукта якобы порочной среды. «Вена - не слишком нравственный город, - заявил он. - Фрейд не был человеком особенно высоких нравственных устоев. Он себя не подавлял. Он не был аскетом… его научная теория в значительной мере порождена его окружением и своеобразной жизнью, которую он вёл».

Подобные нападки на его нравственность, повторявшиеся с известной регулярностью, Фрейд всегда считал совершенно несправедливыми, ибо, как он писал Джеймсу Патнэму в Бостон, «я считаю себя весьма нравственным человеком». Он пояснял, что говорит о морали общественной, а не половой, и гордился тем, что никогда не совершал ничего «низкого или злонамеренного», никого не заставлял страдать и никем не пользовался.

Но то, что он считал лицемерным и отжившим пуританством Америки или любого другого общества, вызывало у Фрейда сильнейшие чувства. «Половая мораль в том виде, в каком её определяет общество, - а в самой крайней форме американское, - кажется мне весьма презренной, - заявлял он. - Я выступаю за бесконечно более свободную половую жизнь, хотя сам почти не воспользовался такой свободой. Лишь настолько, насколько считал себя вправе». Последние слова подытоживают контраст между его радикальными теориями и консервативным образом жизни. Но самые серьёзные конфликты внутри движения порождало именно его учение, а не образ жизни.

* * *

С самого начала их отношений Юнг давал Фрейду понять, что и у него есть сомнения насчёт его теорий о человеческой сексуальности. Однако оба стремились затушевать разногласия и восхваляли достижения друг друга. Насколько непринуждённо Фрейд откровенничал со своим швейцарским кронпринцем, видно из писем, которые то и дело уходили от официальных дел к личным

темам. Было в них и немало непочтительности к нескончаемому потоку пациентов, стекавшихся к Фрейду на свет его растущей славы. Вернувшись из очередной итальянской поездки, 1 октября 1910 года он писал: «Сегодня я возобновил практику и снова увидел первую партию психов. Теперь мне надо перевести набранную за отпуск нервную энергию в деньги, чтобы пополнить отощавший кошелёк».

Но даже в те ранние дни в отношениях Фрейда и Юнга подспудно чувствовалось напряжение. Хорошо зная о прежней близости Фрейда с берлинским отоларингологом Вильгельмом Флиссом и о резком конце той дружбы, Юнг заверял Фрейда, что «ничего флиссовского не произойдёт». В том же письме от 11 марта 1909 года он добавлял: «Если не считать минут увлечения, моя привязанность прочна и надёжна». Зная о репутации Юнга как дамского угодника, Фрейд не мог не понять намёка.

Как ни старался Юнг убедить Фрейда в своей преданности, на его письма он порой отвечал с запозданием, оставляя впечатление, что у него нередко находятся дела поважнее. Незадолго до того, как ему предстояло председательствовать на заседаниях Международной психоаналитической ассоциации в Нюрнберге 30–31 марта 1910 года, он снова отправился в Соединённые Штаты, чтобы разрешить то, что назвал «тяжёлым конфликтом обязанностей». Мать его пациента Джозефа Медилла Маккормика, наследника богатого семейства, владевшего *Chicago Tribune*, сообщила, что у сына алкогольный срыв и ему срочно нужна помощь Юнга. «Только не сердитесь на меня за мои проделки! - писал Юнг Фрейду из Парижа 9 марта. - Вы уже, верно, слышали от моей жены, что я еду в Америку». Его попытка обратить в шутку эту поездку в последний момент, которая позволила бы ему заняться Маккормиком и «ещё кое-какими делами», выдавала тревогу за реакцию Фрейда. Он сообщал, что его жена Эмма помогает в подготовке к Нюрнбергу, а сам он пробудет в Америке всего неделю и вернётся к открытию.

Двое других видных членов цюрихской группы уже отклонили приглашение, и Фрейд беспокоился, что не успеет и Юнг. «Что будет, если цюрихцы меня бросят?» - спрашивал он. Но Эмма держала его в курсе программы и уверяла, что муж вернётся, как обещал. И действительно, Юнг прибыл в Нюрнберг поездом в пять утра первого дня конгресса и сумел выполнить все свои обязанности. Как с облегчением писал Фрейд Джонсу, ещё находившемуся в Торонто, конгресс прошёл «успешно» и оправдал его ожидания.

Несмотря на растущее сотрудничество, Фрейд так и не раскрылся перед Юнгом до конца. По словам Юнга, во время поездки в Соединённые Штаты они обсуждали кое-какие свои сны и несколько «деликатных» личных вопросов. Но предложение Юнга проанализировать его основательнее Фрейд отверг. «Мой дорогой мальчик, я не могу рисковать своим авторитетом», - сказал он младшему коллеге. Как писал Юнг Фрейду пару месяцев спустя, «тяжкая это участь - быть вынужденным работать бок о бок с творцом».

Куда откровеннее Фрейд был в беседах с Эммой, с которой познакомился, когда Юнги приезжали к нему в Вену. Она ему очень понравилась, и он восхищался тем, как она оберегает мужа, несмотря на его связи с другими женщинами. Он говорил ей, что дети - его «единственная подлинная радость», и несколько озадачивающе - что его брак с Мартой «амортизирован». Возможно, он давал понять, что прежняя страсть во многом угасла, а может быть, так намекал Эмме, что проблемы в её браке отнюдь не исключительны.

Эмма, в свою очередь, чувствовала, что, несмотря на взаимное восхищение мужа и Фрейда, в их отношениях уже назревают трудности. С тем, что сама назвала «дерзкой откровенностью», она спросила Фрейда, почему он так торопится помазать её мужа в преемники. Она указывала, что Фрейд ещё полон сил и должен наслаждаться «заслуженной славой и успехом». Хотя ей явно льстило видеть мужа кронпринцем, она не видела причин Фрейду в

этот момент отступать в тень. Она интуитивно понимала, что основатель может начать тяготиться предполагаемым наследником, даже если сам призвал его на эту роль. И Фрейд понимал - и ценил - её усилия сгладить зарождающееся напряжение между ним и Юнгом, называя её «разгадчицей загадок».

* * *

Оба живо интересовались первобытными обществами и мифологией, а «пристрастие к доисторическому», как выражался Фрейд, во многом объясняет его увлечение археологией и предметами искусства, которые он собирал всю жизнь. Объясняет оно и то, почему в этот период он написал «Тотем и табу» - сборник очерков о табу на инцест, анимизме, магии и тому подобных предметах, в которых он, по его убеждению, обнаружил связь между мышлением древних народов и современных невротиков, вновь подчёркивая первенствующую роль человеческой сексуальности.

Но при общности интересов подходы у них были разные. В 1902 году в Базельском университете Юнг защитил диссертацию «О психологии и патологии так называемых оккультных феноменов». Начав сотрудничать с Фрейдом, он не оставил сомнений, что это не мимолётное увлечение. «Оккультизм - ещё одна область, которую нам предстоит завоевать», - утверждал он. Упоминал он и о своей страсти к астрологии, «которая кажется необходимой для правильного понимания мифологии».

Поначалу Фрейд старался проявлять понимание. «Я знаю, что вас влечёт к изучению оккультного глубочайшая склонность, - писал он Юнгу 12 мая 1911 года. - Не могу с этим спорить, всегда правильно идти туда, куда ведут побуждения». Однако он предупреждал, что Юнга обвинят в мистицизме. В представлении Фрейда «мистицизм» был словом бранным, обычно означавшим иррациональные христианские или иные религиозные верования.

Джонс, поначалу находившийся под обаянием Юнга, позднее вынес ему приговор, отражавший мнение, к которому пришёл Фрейд по мере ухудшения их отношений. В частных беседах, писал Джонс, «Юнг открылся мне как человек с глубокими мистическими наклонностями, мешавшими ясному видению научной позиции вообще и психоаналитической в частности; надстройка была блестящей и талантливой, но фундамент - ненадёжным». Или, проще говоря, у Юнга был «путаный ум».

Фундаментом для всех, по убеждению Фрейда, всегда была сексуальность; это означало принять его концепцию либидо, полового влечения, как главного фактора, определяющего человеческое поведение и неврозы. Юнг был в этом далеко не вполне убеждён, хотя поначалу пытался умиротворить Фрейда, говоря, например, что оккультное можно понять «с помощью теории либидо». Но в лекциях и сочинениях Юнг всё больше говорил о внешних факторах помимо сексуальности и всё меньше - о бессознательном вытеснении. По сути, он закладывал основу собственной аналитической психологии как альтернативы фрейдовскому психоанализу.

Вкупе с частыми мнимыми обидами, которые каждый усматривал со стороны другого, эти более существенные назревавшие разногласия вскоре отразились в переписке. Фрейд сменил обращение к Юнгу: вместо прежнего *«Lieber Freund»* («Дорогой друг») - более официальное *«Lieber Herr Doktor»* («Дорогой доктор»). Другим коллегам он открыто жаловался на «регрессивные» наклонности Юнга. Самому Юнгу он писал откровенно раздражённо, например 22 декабря 1912 года: «Что касается вашего утверждения, будто, злоупотребляя психоанализом, чтобы держать учеников в состоянии инфантильной зависимости, я сам отвечаю за их инфантильное поведение…» Джонсу Фрейд писал, что Юнг «кажется, совсем лишился рассудка, он ведёт себя как сумасшедший».

Хотя Фрейд старался оттянуть формальный разрыв, отношения были обречены. К концу 1913 года он жаловался Карлу Абрахаму в

Берлин, что «взбешён» Юнгом, и обвинял его в «эмоциональной глупости». 20 апреля 1914 года Юнг сложил с себя полномочия президента Международной психоаналитической ассоциации. Летом Фрейд снова восклицал в письме Абрахаму: «Итак, мы наконец от них избавились - от грубого святоши Юнга и его благочестивых попугаев». Вскоре его нападки на бывшего кронпринца стали ещё ядовитее. Он обвинял Юнга во «лжи, грубости и антисемитской снисходительности ко мне».

Учёные до сих пор спорят, был ли Юнг антисемитом, несмотря на раннее сотрудничество с Фрейдом. Когда при первой встрече Фрейд прямо спросил его об этом, Юнг ответил: «Нет, нет! Об антисемитизме не может быть и речи». Однако Юнг симпатизировал крайне правым политическим движениям. Во время поездки в Берлин в 1937 году он наблюдал, как Гитлер и Муссолини принимают военный парад, и был впечатлён эффектным итальянским диктатором, у которого, по его словам, «был определённый стиль, определённый масштаб самобытного человека с хорошим вкусом в некоторых вопросах».

К Гитлеру Юнг относился неоднозначнее, но это всё равно давало повод обвинять его в симпатиях к нацистам - обвинение, которое он яростно отвергал. Во время поездки в Соединённые Штаты в 1936 году он пытался упредить критиков, подчёркивая свою позицию «нейтрального швейцарца». «Я всей душой презираю политику, а потому я не большевик, не национал-социалист и не антисемит», - заявлял он. Тем не менее облако подозрений в антисемитизме и в симпатиях к нацистам, висевшее над ним, едва ли совместилось бы с продолжением связей с Фрейдом и его коллегами, в большинстве своём евреями.

Так что, по иронии судьбы, хорошо, что Юнг и Фрейд разошлись задолго до прихода Гитлера к власти: это позволило Джонсу стать самым видным нееврем в психоаналитическом движении. Хотя до начала врачебной карьеры он почти не общался с евреями, валлиец гордился тем, что его приняли и Фрейд, и его еврейские приверженцы. «Они почти забывали о моём нееврейском

происхождении и свободно делились со мной своими характерными шутками, анекдотами, взглядами и мироощущением, - вспоминал он. - Я знал их особенности так близко, как довелось немногим неевреям».

Но Джонс открыто признавал, что знатоком иудаизма это его не делало, поскольку он был знаком лишь с нерелигиозными евреями. «Мне ни разу не довелось знать еврея, имевшего хоть какую-то религиозную веру, не говоря уже об ортодоксальной», - писал он. Соблюдающие закон евреи в психоаналитическую армию Фрейда не вступали.

* * *

Разрыв Фрейда с Юнгом стал громкой новостью для небольшого круга специалистов в нескольких странах, но широкая публика его почти не заметила. Между тем куда более масштабный конфликт вот-вот должен был поглотить почти всю Европу, а затем втянуть и Соединённые Штаты. Неудивительно, что искра Первой мировой войны - убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены Софии боснийским сербом-националистом - вспыхнула на Балканах, самой неспокойной окраине слабеющей Австро-Венгерской империи. Но в габсбургской столице Фрейд, как и столь многие его соотечественники, поначалу не осознал масштаба трагедии, стремительно разворачивавшейся летом 1914 года.

Причиной тому было нежелание Фрейда признать, что его мир и все связанные с ним представления, в которых он вырос, оказались в серьёзной опасности. По словам сына Мартина, вся семья принимала монархию Габсбургов: «Мы, дети Фрейда, все были стойкими монархистами и с восторгом слушали и смотрели всё, что могли, о императорском дворе». Он вспоминал, как они волновались, завидев *Hofwagen* - придворный экипаж. «Мы с точностью определяли, насколько важен пассажир, по цвету высоких колёс и по углу, под которым великолепно одетый в ливрею кучер держал кнут».

Его мать Марта, проведшая первые восемь лет жизни в Гамбурге, так и не утратила северонемецкого выговора. Не утратила она, как замечал Мартин, и «чувства патриотической преданности германскому императорскому дому». Поскольку Австро-Венгрия была союзницей Германии, примирить верность Зигмунда и Марты не составляло труда. В юности Зигмунд следил за войнами Пруссии, приведшими к объединению Германии и её победе над Францией в 1871 году. Его сестра Анна вспоминала, как Зигмунд, тогда ещё подросток, развешивал в своей комнате большие карты и втыкал в них булавки, отмечая передвижения враждующих армий. «Каждый вечер я слушала разговоры отца с сыном о ходе войны», - писала она.

После убийства в Сараеве Фрейд не понял, как быстро события выходят из-под контроля. 23 июля Австрия при поддержке германского кайзера Вильгельма II предъявила Сербии ультиматум, требуя, среди прочего, подавить «подрывные» элементы, которые «представляют постоянную угрозу спокойствию монархии», - и прекрасно зная, что сербское правительство эти требования отвергнет. И всё же 26 июля Фрейд писал немецкому коллеге Абрахаму, что поддерживает этот шаг. «Пожалуй, впервые за тридцать лет я чувствую себя австрийцем и хотел бы ещё раз дать шанс этой малообещающей империи». И оптимистично добавлял: «Если война ограничится Балканами, ничего страшного не будет».

28 июля Австрия объявила Сербии войну. На следующий день Фрейд уверял брата Александра: «Я полагаю, что ни одна великая держава не доведёт дело до всеобщей войны». А если этот прогноз не сбудется, писал он Абрахаму в Берлин 2 августа, он всё равно поддержал бы их сторону «всем сердцем, если бы не знал, что Англия на неправой стороне». Два дня спустя германские войска вторглись в Бельгию, а затем двинулись во Францию, где схватились с французами и англичанами. К Центральным державам - Германии и Австро-Венгрии - вскоре присоединились Турция и Болгария, противостоявшие в разраставшейся войне Антанте - Британии, Франции и России. Италия в начале войны объявила о

нейтралитете, но в 1915 году вступила в войну против Австро-Венгрии. Это и была та «всеобщая война», которой, по уверениям Фрейда, удастся избежать.

Тем не менее первые военные успехи Германии и Австрии воодушевили его, пробудив ощущение единства немецкоязычного мира. В сентябре он поехал в Гамбург к дочери Софи, родившей ему первого внука. В письме Абрахаму он объяснял, что и прежде бывал в этом городе, но впервые не чувствовал себя «так, будто нахожусь в чужом городе».

Фрейд склонен был верить ранним оптимистическим прогнозам победы, исходившим от австрийских и германских властей, хотя вовсе не жаждал увидеть сыновей в армии. Но старший, Мартин, в 1910–1911 годах несколько месяцев прослужил в императорской конной артиллерии, пока не сломал ногу, катаясь на лыжах, и с началом войны тут же добровольно вернулся в строй. Прежний полк принял его младшим офицером. Отец поздравил его, наказав беречь здоровье. «Откровенно говоря, что касается тебя, я больше боюсь эпидемий, с которыми сейчас очень легко свести знакомство, чем вражеских пуль, - писал он. - Нет никакой трусости в том, чтобы по возможности оберегать себя от эпидемий».

По мере ожесточения боёв Фрейд стал больше тревожиться и о пулях. 20 декабря 1914 года в очередном письме он уговаривал Мартина не рисковать понапрасну. «Мне всё кажется, что ты смотришь на войну как на своего рода спортивную вылазку», - писал он, добавляя, что они с Мартой проведут «грустное и тихое» Рождество. Мартин отмечал, что письма отца были «сугубо практичными» и лишены всяких сантиментов. И всё же они выдавали его тревогу. Выдавало её и то, что единственный раз, когда он говорил с Мартином по телефону - этим ненавистным ему аппаратом, - был, когда сын проездом оказался в Вене во время войны, но не успевал повидать родителей.

Тревога Фрейда за Мартина усиливалась оттого, что он знал: сын всё ещё держится романтических представлений о войне. Военный опыт Мартина, разительно отличавшийся от опыта

миллионов других солдат, увязших в смертоносной окопной войне, мало изменил его взгляды. «Правда в том, что я тогда переживал счастливейшее время своей жизни», - писал он. Во время австрийских побед в начале 1915 года Мартин ездил в дозор на «великолепном гнедом», словно исполняя мечту раннего детства. В этой мечте «я видел себя верхом на великолепном боевом коне въезжающим в освобождённый город, где меня встречают цветами и поцелуями освобождённые девушки, все сплошь красавицы, - вспоминал он в автобиографии. - Действительность оказалась ещё ярче, а девушки ещё прелестнее: и я был поистине совершенно счастлив». Он воевал и на русском, и на итальянском фронтах и получил семь наград за храбрость.

Мечта не могла длиться вечно: в 1918 году Мартин был ранен в бедро. Незадолго до окончания боевых действий в том же году он попал в Италии в плен к британцам и оказался в итальянском лагере для военнопленных офицеров. Он называл себя «одной из жертв крушения древней империи» и был освобождён лишь в августе 1919 года. Как и отец, он был разочарован исходом войны, и дух его наконец упал, но на условия плена жаловаться не мог. Он отмечал, что вернулся в Вену «несколько располневшим от диеты из спагетти и ризотто».

Двое других сыновей Фрейда тоже служили, вступив в армию чуть позже Мартина, и им посчастливилось уцелеть. Второй сын, Оливер, инженер, был приписан к железнодорожному полку, а младший, Эрнст, два года провёл на итальянском фронте, пока не заболел туберкулёзом и язвой двенадцатиперстной кишки, из-за чего его комиссовали перед самым концом войны. По сравнению со столь многими другими семьями Фрейдам необычайно повезло.

* * *

Война расколола не только Европу, но и психоаналитическое движение - причём весьма неравномерно. За исключением Джонса, находившегося в Лондоне, главные соратники Фрейда жили в таких

городах, как Берлин и Будапешт, а значит, как и он, оказались на стороне Центральных держав. Международная психоаналитическая ассоциация собиралась провести конгресс в сентябре 1914 года в Дрездене, но война сорвала эти планы; несколько предполагаемых участников были призваны в армию военными врачами. Лишь в сентябре 1918 года состоялся следующий конгресс, на сей раз в Будапеште, но на нём были лишь представители Центральных держав и нейтральной Голландии, так что подлинно международным его назвать было трудно.

Хотя прямое почтовое сообщение между воюющими сторонами было прервано, Джонс и Фрейд ухитрялись переписываться через друзей в нейтральных странах - Швейцарии, Голландии, Швеции и поначалу Италии. С самого начала конфликта их письма показывали, насколько по-разному они смотрят на войну. 3 августа 1914 года Джонс писал: «Мы настроены против Германии… Австрию не любят за то, что она всех втянула в беду, но её отношение к славянским народам вполне понятно. Однако никто здесь не сомневается, что Германия и Австрия будут разбиты наголову: силы слишком неравны».

Фрейд же тогда уверенно ждал победы своей стороны и, как отмечал Джонс, провозглашал: «Всё моё либидо отдано Австро-Венгрии». Его обычное англофильство внезапно оказалось подавлено. Абрахаму он жаловался на «невероятное высокомерие» британцев и писал, что прогнозы Джонса насчёт войны показывают в нём «настоящего англичанина», - что явно не было комплиментом.

И всё же и Фрейд, и Джонс были полны решимости не дать войне разрушить их личные и профессиональные узы. 3 октября 1914 года Фрейд сообщал, что вернулся от Абрахама из Берлина. «Мы не можем заставить себя считать вас врагом!» - писал он Джонсу. Валлиец обрадовался этому заверению. «Рад слышать, что наш круг решил не считать меня врагом, - отвечал он. - Мне тоже нетрудно отделять личную дружбу от национального соперничества».

Однако сильное подспудное напряжение сохранялось. 22 октября 1914 года Фрейд предостерегал Джонса от доверия британской пропаганде. «Что бы вы ни читали в газетах, не забывайте, что ложь сейчас повсюду, - писал он. - Мы не страдаем ни от каких ограничений, ни от каких эпидемий и пребываем в прекрасном расположении духа». Джонс ответил, что может читать немецкие газеты, а это помогает ему понять, что британские сообщения часто «сильно преувеличены». Намекая на дезинформацию с другой стороны, он добавлял: «Взамен прошу вас поверить, что Английский банк не разрушен бомбами, что Египет и Индия не восстали и что наши берега не обстреливал германский флот!»

Колкости, которыми они время от времени обменивались, ни одного из них не переубеждали. Но довольно скоро Фрейд начал пересматривать собственный взгляд на войну, признав, что последствия её окажутся губительными для обеих сторон. 25 ноября 1914 года он писал Лу Андреас-Саломе, что «человечество переживёт и эту войну, но я наверняка знаю, что ни я, ни мои современники уже не увидим мир весёлым. Слишком он гнусен». К тому же он понял, что все чересчур оптимистично судили о её продолжительности. «Это долгая полярная ночь, - писал он Абрахаму, - и надо ждать, пока снова взойдёт солнце».

В очерках 1915 года «Современное о войне и смерти» Фрейд выразил глубокое разочарование нарастающей жестокостью войны. «Она не только кровопролитнее и разрушительнее любой войны прежних дней - из-за чудовищно возросшего совершенства оружия нападения и защиты; она по меньшей мере так же жестока, ожесточённа и беспощадна, как любая из предшествовавших», - писал он. Война попирала все понятия международного права, такие как различие между мирным населением и комбатантами или «права раненых и медицинской службы», добавлял он. «Она в слепой ярости топчет всё, что попадается ей на пути, словно после неё не будет ни будущего, ни мира между людьми».

Он сокрушался о «почти невероятном явлении»: «цивилизованные народы» обратились друг против друга «с ненавистью и отвращением». «Мы ожидали, - писал он, - что великие, господствующие над миром народы белой расы, на долю которых выпало руководство человечеством… сумеют найти иной способ разрешать недоразумения и конфликты интересов». Вместо этого война рвала «все общие узы между воюющими народами и грозит оставить наследие ожесточения, которое ещё долго будет делать невозможным восстановление этих уз».

Взятые сами по себе, такие высказывания выглядят поразительно пророческими: кажется, будто Фрейд уже предвидел долгосрочные последствия конфликта - не в деталях, но хотя бы в общих чертах. Они также создают впечатление, будто он был сосредоточен на разрушительных силах, вырвавшихся на волю вокруг него, и поглощён попытками понять бушевавшую на континенте бойню. Но это верно лишь до известной степени.

Фрейд не мог не замечать лавины катастрофических событий - тем более что она увлекла его сыновей и почти всех вокруг. Но, как он признавался Абрахаму в 1918 году, больше всего ему хотелось пригнуть голову и сосредоточиться на психоанализе. В начале войны собрания по средам в его квартире ненадолго прекратились, но уже в первую военную зиму возобновились - раз в три недели и в гораздо более узком кругу. В 1915–1917 годах Фрейд прочёл в Венском университете три цикла вводных лекций по психоанализу, собиравших многочисленную публику. Он продолжал и регулярно писать, исследуя разновидности неврозов и создавая такие работы, как «Печаль и меланхолия», отражавшие и его настроение. Как он объяснял Ференци, «я работаю угрюмо, но неуклонно».

В 1917 году, вопреки слухам, он так и не получил Нобелевской премии, о которой мечтал, и был этим разочарован. Но Фрейд не собирался позволить чему бы то ни было ослабить его преданность делу всей жизни. Джонс поражался его способности оставаться целеустремлённым, несмотря на ежедневные заголовки о последних новостях с полей сражений. «Он пробегал газету

глазами, отбрасывал её с приговором „*scheusslich*“ („мерзость“) и продолжал работать», - писал его валлийский ученик.

Эта самодисциплина позволяла Фрейду сохранять высокую продуктивность, что бы ни творилось вокруг. Но она же объясняет, почему впоследствии события могли застать его врасплох, когда предсказанное им «наследие ожесточения» принесло свои отравленные плоды.

* * *

Джонс восхищался умением Фрейда отрешаться от военных новостей и сосредоточиваться на обычной работе, но сам последовать его примеру не мог. «Мне то ли недоставало необходимой силы духа, то ли была слишком развита общественная совесть, чтобы целиком посвятить себя работе, что при тех обстоятельствах, несомненно, было бы самым полезным». Война слишком его отвлекала, объяснял он: он жадно следил за ежедневными сводками с фронта и штудировал военную стратегию и историю.

Когда началась война, Джонсу было тридцать пять, и он был, по его словам, «свободен и ничем не связан», поскольку в 1913 году расстался с Канн. Колеблясь, как лучше применить свои знания, он всё же почёл долгом пойти добровольцем на военную службу. «„Англия нуждается в тебе“ - эти слова действовали неотразимо», - отмечал он. Но из-за ревматоидного артрита - и потому, что медицинскую комиссию его телосложение, «видимо, не впечатлило», вспоминал Джонс, - его дважды забраковали по здоровью. Кроме того, как он писал Фрейду, «военное министерство решило, что на нынешней работе я полезнее армии, чем на службе в госпитале во Франции».

Так оно и оказалось. Практика Джонса процветала, и бóльшую часть её составляли «офицеры, страдающие той или иной формой военного невроза». В ту эпоху понятия посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) не существовало, и даже на само

понятие невроза смотрели с подозрением: военные обычно списывали всякого, у кого были такие симптомы, как депрессия или фобии, в симулянты - или, в лучшем случае, в жертвы контузии. Поэтому Джонсу приходилось постоянно воевать с армейскими медицинскими комиссиями, чтобы выкроить для пациентов достаточно времени для долгого психоаналитического лечения.

«Положение часто было крайне трагическим», - писал Джонс. Леча офицера военной разведки, «парализованного депрессией и сокрушительным чувством неполноценности», он считал, что добивается хороших успехов. Но прежде чем он завершил лечение, офицера перевели в другое место, не обеспечив дальнейшего наблюдения. Через пару месяцев его тело нашли изувеченным на железнодорожных путях: он лёг под курьерский поезд. Джонс подчёркивал, что это был единственный известный ему случай самоубийства бывшего пациента. Но, как он лаконично писал Фрейду, «случаи военного шока в высшей степени интересны».

Фрейд сокрушался об упущенных во время войны возможностях, сетуя, что «пора цветения нашей науки грубо прервана». Но Джонс был убеждён, что война бросает и новые вызовы, которые могут укрепить их дело. «Если мир когда-нибудь и избавится от этих кошмаров, то путь, несомненно, укажет психоанализ», - писал он Фрейду 15 декабря 1914 года. Или, как выразился У. Х. Р. Риверс, другой британский психиатр, во время войны тоже лечивший армейских офицеров, «судьба, по-видимому, предоставила нам ныне беспримерную возможность проверить истинность фрейдовской теории бессознательного в той мере, в какой она касается возникновения психических и функциональных нервных расстройств».

При всех разговорах о том, как его отвлекает война, Джонс сохранял свой обычный лихорадочный темп, успевая писать научные статьи и принимать пациентов с раннего утра до вечера. Основанное им в 1913 году Лондонское психоаналитическое общество в этот период почти бездействовало, но некоторые его члены время от времени неформально встречались.

Подобно Фрейду, который в 1910 году анализировал Густава Малера, помогая знаменитому композитору справиться с проблемами потенции в отношениях с женой Альмой, девятнадцатью годами моложе его, - Джонс тоже соприкасался со знаменитостями из других областей. Больше всего его заинтриговали писатель Д. Г. Лоуренс и его жена-немка Фрида. «Обоих словно подстрекали озорные бесы доводить друг друга до исступления, - вспоминал Джонс. - Когда это завершалось садистской оргией, на время снова наступал мир, но так бывало не всегда».

Джонса впечатляло, как Лоуренс «господствовал в любой компании благодаря своей пылкой напористой манере, своей жизненной - слишком уж жизненной - натуре и проницательному уму». Но когда писатель заговорил о переезде в Соединённые Штаты, чтобы основать там утопическую общину, и стал звать с собой Джонса, валлиец счёл его идеи «решительно сумасбродными». Как психолог он заключил, что Лоуренсу «явно недостаёт душевного равновесия». Он мог бы также заметить, что романы Лоуренса - особенно «Сыновья и любовники» - идеально подходят для фрейдовского анализа.

Письма Джонса о его деятельности поднимали дух его венского учителя. «Могу лишь рукоплескать вашей решимости охранять знамя психоанализа», - писал ему Фрейд. Обрадовался он и тогда, когда в феврале 1917 года Джонс сообщил, что женился на Морфид Оуэн. «Она валлийка, молода (двадцать три года), очень хороша собой, умна и музыкальна», - писал он. Оуэн и в самом деле была музыкальным вундеркиндом, уже снискавшим похвалы как пианистка, певица и композитор; в 1918 году она стала доцентом Королевской академии музыки. По словам Фрейда, Джонс заверил его, что «исправился». Намёк был ясен: он остепеняется и обзаводится семейным укладом, который вряд ли будет впредь порождать скандалы.

Но новобрачная была склонна к депрессии, и брак не заладился с самого начала. В автобиографии Джонс описывал её

осмотрительно. «Необычайно зрелая и с безупречной цельностью души во всём, что касалось её искусства, Морфид в своём душевном развитии продвигалась не во всех направлениях равномерно», - писал он. Когда в августе 1918 года супруги отдыхали в Южном Уэльсе, она тяжело заболела, и местный врач сделал экстренную операцию по поводу, как казалось, гнойного аппендицита. Джонс созвал всю медицинскую помощь, какую мог, но 7 сентября она умерла. Каковы бы ни были трудности их короткого брака, Джонс искренне горевал. «Это сокрушительный удар, и хотя я пытаюсь снова взяться за работу, внутри я совершенно раздавлен», - писал он Фрейду.

Эта трагедия лишь сблизила их ещё больше, несмотря на разделявшую их войну. «Я надеялся, что вы обрели прочное счастье, - ответил Фрейд. - Мне ужасно жаль, что вышло иначе, ибо годы разлуки почти не изменили моих чувств к вам».

* * *

После того как 11 ноября 1918 года стороны подписали перемирие, положившее конец Первой мировой войне, Джонс заверил Фрейда, что пытается оправиться от утраты. Радуясь, что теперь они снова могут переписываться напрямую, не пересылая писем через третьи страны, 7 декабря он писал: «Видите, я могу смотреть в будущее, хотя в последние месяцы прошёл через сущий ад». Он сообщал, что только что прочёл работу Фрейда «о печали и меланхолии», которая оказалась особенно кстати и произвела на него «большое впечатление».

Меланхолическое настроение сквозило и в его следующих письмах. «Завтра, в Новый год, мне исполнится сорок, и величайшее счастье жизни ушло навсегда, - писал он 31 декабря. - Но не бойтесь, что я утрачу вкус к работе. Её я считаю стоящей». Фрейд же оказался в непривычном для себя положении, признав, что, в отличие от Джонса, ошибался в прежних оценках только что

закончившегося конфликта. «Признаю: все ваши предсказания о войне и её последствиях сбылись», - писал он.

Джонс сдержал обещание не утратить вкуса к работе. Он деятельно создавал в Лондоне новое Международное психоаналитическое издательство вместе с книжной лавкой для продажи его книг и других изданий. Он был убеждён, что нужно переводить на английский больше трудов Фрейда и других немецкоязычных авторов, чтобы они дошли до более широкой аудитории в Британии и Соединённых Штатах.

Для этого Джонс хотел нанять секретаршу, владеющую обоими языками. Кто-то из ближнего круга Фрейда предложил Катарину (Китти) Йокль, которая, как и Фрейд, выросла в моравской еврейской семье, перебравшейся в Вену. Она училась в той же школе, что и дочери Фрейда, затем получила докторскую степень в Цюрихском университете, работала в австрийском консульстве в Женеве и в гостинице в Цюрихе. В мае 1919 года, когда Джонс написал ей, предлагая место в Лондоне, ей было двадцать семь, она была не замужем и девственна. Поначалу она колебалась, но тем летом Джонс сам приехал в Швейцарию. Встретившись в Цюрихе, он уже через три дня сделал ей предложение - и Йокль тут же его приняла. Искушённый жених пустил в ход всю силу своих романтических чар. «Жила ли я до того, как узнала тебя?» - спрашивала она в письме после его отъезда в Вену.

Брак их оказался долгим, и у них родилось четверо детей. Джонс называл Китти «моя жена-секретарь». Ничего уничижительного в этом прозвище не было: так он признавал, какую важную роль она играет в его профессиональной и личной жизни.

Наконец обе стороны жизни Джонса пришли в согласие, и он мог исполнить обещание посвятить все силы движению Фрейда. В 1919 году он возродил Лондонское психоаналитическое общество под новым названием - Британское психоаналитическое общество, а в 1920 году был избран президентом Международной психоаналитической ассоциации - на пост, который некогда

занимал Юнг. Конгресс ассоциации в Гааге в том же году собрал шестьдесят два члена и пятьдесят семь гостей из стран как победивших, так и побеждённых, что придало событию характер встречи старых друзей; Фрейд развивал на нём свои теории о сновидениях. В том же году Джонс основал *International Journal of Psychoanalysis*, который редактировал до 1939 года.

«И в Германии, и в странах Западной Европы война по сути пробудила интерес к психоанализу», - отмечал Фрейд, снова осознав эту реальность позже Джонса. Он отдавал Джонсу должное за то, что тот в полной мере воспользовался более благоприятными условиями и положил их движению новое начало.

Джонс, в свою очередь, считал, что своим личным новым началом обязан Фрейду. «Мне ясно, что своей карьерой, средствами к жизни, положением и способностью быть счастливым в браке - словом, всем - я обязан вам и вашей работе», - заявлял он. Какой бы вклад ни внёс в их движение он сам, добавлял Джонс, это не «возместит» долга, который он чувствовал перед Фрейдом. Никакого преувеличения в этих словах благодарности не было: они были совершенно искренни.

* * *

После Первой мировой войны и мирных условий, закреплённых Версальским договором, подписанным 28 июня 1919 года, Австро-Венгерская империя исчезла с карты Европы. Вена перестала быть имперской столицей для пятидесяти миллионов людей множества национальностей; в новом Австрийском государстве насчитывалось 6,5 миллиона жителей, а от прежней территории осталась лишь малая часть. Потери австро-венгерских вооружённых сил оценивались примерно в 1,2 миллиона человек, ещё сотни тысяч числились пропавшими без вести и считались погибшими - и всё это ради проигранного дела.

Г. В. Кальтенборн, американский журналист, вскоре ставший знаменитым радиокомментатором, рассказывал о суровой жизни

города, который зависел от американской продовольственной помощи, кормившей голодающих детей и всё население. Гиперинфляция разгулялась ещё быстрее, чем в Германии, уничтожая сбережения, и дух народа пал как никогда. «Вена показалась мне самым печальным городом Европы - быть может, потому, что некогда она была самым весёлым», - писал он.

Дороти Томпсон, ещё одна восходящая звезда американской журналистики, жила тогда в Вене. Прежде Вена ассоциировалась у неё со «штраусовскими вальсами, испанским барокко, интерьерами в дамасском шёлке… пышным двором», вспоминала она, а теперь она оказалась в «городе страха», полном беженцев, возвращающихся солдат и «благородных людей, изящно голодающих в салонах бидермейер».

Однажды вечером, гуляя с женой вдоль Дуная, Кальтенборн услышал крики. Узнав, что какой-то человек бросился в воду, он спросил: «Нельзя ли попытаться его спасти?» Кто-то тихо ответил: «О нет, он прыгнул нарочно. Если человек в наши дни хочет лишить себя жизни, он вправе поступить по-своему». Как мрачно заключил Кальтенборн, «такова была философия послевоенной Вены».

Фрейда и его семью экономические последствия войны тоже не миновали. Мартин вспоминал, как, вернувшись в город после освобождения из итальянского лагеря для военнопленных в августе 1919 года, обнаружил, что инфляция съела всё военное жалованье, которое он копил всю войну. Его тысяч крон - тогдашней австрийской валюты - «не хватило бы даже на то, чтобы поставить новые подмётки на одну пару штатских ботинок», писал он. Отец тоже лишился сбережений, отмечал он.

Однако Фрейд был в состоянии, как выразился Мартин, «восстановить свои финансы». Мартин мог помочь ему юридическими и прочими практическими советами, но настоящим спасителем оказался Джонс. Задействовав свои связи по обе стороны Атлантики, он направлял к Фрейду британских и американских пациентов, жаждавших у него лечиться. Они платили твёрдой валютой - две гинеи или десять долларов в час - по тем

обнищавшим временам царские деньги. Поскольку все сеансы шли по-английски, Фрейд снова брал уроки языка, чтобы улучшить свой английский.

Джонс тоже ценил своих зарубежных пациентов. По мере того как его доходы и доходы Фрейда росли, он открыл на обоих счета - а также счёт Международного психоаналитического издательства - в частном банкирском доме в Амстердаме. Это избавляло их от части налогов, которые пришлось бы платить дома. Фрейд особенно заботился о том, чтобы отложить достаточно денег, не подлежащих налогу на наследство, когда его не станет.

Постепенно, как писал Мартин, «восстановление австрийского обрубка позволило людям очнуться от кошмара хаоса и распада и начать если не надёжную, то хотя бы сносную жизнь». В случае Фрейда она оказалась более чем сносной.

Но в целом положение в Европе оставалось крайне шатким. В автобиографии Джонс утверждал, что с самого начала знал, откуда исходит главная опасность. «Я ни разу не усомнился в своём убеждении, что Германия поднимется снова, соберёт силы и опять нападёт на нас в надежде застать нас в состоянии самодовольной неготовности, - писал он. - Так и вышло. Для нас Великая война наконец закончилась; для немцев был сыгран лишь первый раунд».

Трудно судить, точно ли это передаёт его тогдашние взгляды или приукрашено задним числом. Но если он и вправду пришёл к такому выводу в конце Первой мировой войны, то был поистине прозорлив.

Глава 5

«Весталка»

На заре межвоенной эпохи лишь один человек из ближнего круга Зигмунда Фрейда - Эрнест Джонс - явно был готов войти в его будущую спасательную команду. Разумеется, ни Джонс, ни кто-либо другой тогда и не подозревал, что понадобится спасательная операция. Никто не мог представить масштаба угрозы, нависшей над ним и над всеми евреями Европы, и так оставалось на протяжении почти всех 1920-х годов и даже позже. И всё же именно в это десятилетие рядом с Фрейдом появились почти все ключевые фигуры, которые потом объединят усилия с Джонсом, чтобы его спасти. По сути, они занимали исходные позиции для ролей, которые им предстояло сыграть в этой драме.

Среди новых лиц, готовых выйти на сцену, были Уильям Буллит, американский журналист и дипломат; Мари Бонапарт, внучатая племянница Наполеона; и Макс Шур, венский врач, который в последнее десятилетие жизни Фрейда возьмёт на себя заботу о его здоровье. А ещё рядом с ним росла и расцветала младшая дочь Фрейда, Анна, которой вскоре предстояло занять центральное место в его личной и профессиональной жизни.

Летом 1914 года Анна - в отличие от пятерых старших братьев и сестёр - всё ещё жила с родителями и тётей Минной на Берггассе, 19. Ей было восемнадцать, и она готовилась стать учительницей. Сдав в июне учительский экзамен, она отправилась в Манчестер навестить родственников Фрейдов - впервые в Англию. Во многом она шла по стопам отца, который впервые попал в Англию в девятнадцать лет, - и он был рад, что она так поступает.

Но поездка Анны и тревожила Фрейда. Хотя она отплыла из Гамбурга в Англию в середине июля, когда после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда напряжение между Австро-

Венгрией и Сербией стремительно нарастало, отца беспокоила вовсе не перспектива войны. В конце концов, он не распознал признаков того, что вот-вот вспыхнет большой пожар и дочь может оказаться отрезанной на вражеской стороне. По-настоящему его тревожило другое: как бы невинная девушка не поддалась ухаживаниям мужчины почти ровно вдвое старше её, который рвался быть её радушным хозяином, - Эрнеста Джонса.

Когда Анна прибыла в Саутгемптон, Джонс встретил её с большим букетом цветов и стал её гидом по Англии. Как она писала в 1979 году в очерке памяти Джонса, спустя более двадцати лет после его смерти, он показал ей «красоты Англии, которую любил», повёз в «незабываемую поездку на лодке вверх по Темзе» и «пользовался всяким случаем», чтобы поправлять и совершенствовать её английский. Анна и тогда живо помнила, как ей «льстило и как её впечатляло» всё внимание, которым её окружил Джонс, - «хотя не без затаённого подозрения, что его интерес направлен скорее на моего отца, чем на меня».

Подозрения её усиливались оттого, что её заранее предупредили: Джонс, чьи отношения с Лоэ Канн к тому времени закончились, может попытаться сделать её своей новой победой. Канн, проходившая лечение у Фрейда в Вене, следила за лондонскими сплетнями и известила его о намерениях Джонса. Последовавшее письмо Фрейда к Анне было полно предсказуемых наставлений заботливого отца:

> «Я знаю из самых надёжных источников, что доктор Джонс всерьёз намерен за тобой ухаживать. Это впервые в твоей юной жизни, и я вовсе не собираюсь предоставлять тебе ту свободу выбора, какой пользовались обе твои сестры. Ибо так вышло, что ты жила с нами более тесно, чем они, и мне хочется верить, что тебе было бы труднее принять такое решение на всю жизнь без нашего - в данном случае моего - согласия. Мы желаем, чтобы ты не выходила замуж и не обручалась, пока ты так молода и неопытна».

Фрейд написал Джонсу в том же духе, хотя облёк это в слова благодарности «за вашу доброту к моей дочурке». Указав, что

Джонс её плохо знает, он описал её как «самую одарённую и развитую из моих детей», жаждущую узнавать мир. И затем прямо заявил: «Она не претендует на то, чтобы с ней обращались как с женщиной, поскольку ещё очень далека от половых томлений и скорее отвергает мужчин». На случай, если смысл его слов остался не вполне ясен, Фрейд упомянул о «прямой договорённости между мной и ею», что она даже не помыслит о браке ещё по меньшей мере два-три года. «Не думаю, что она нарушит договор», - заявлял он.

Если некоторые женщины и находили Джонса неотразимым, то к Анне это никак не относилось. Дело было не только в предостережениях отца, развеявших любые романтические надежды, которые мог питать Джонс: юная гостья всегда была учтива и благодарна за его общество и помощь, но эмоционально никогда на него не откликалась. Фрейд вскоре понял, что тревожиться ему не о чем. Джонс же заверил Фрейда, что уважает его опасения, - хотя не удержался от колкого замечания: «У неё прекрасный характер, и со временем она непременно станет замечательной женщиной, если только сексуальное вытеснение ей не повредит, - писал он. - Она, разумеется, чрезвычайно привязана к вам, и это один из тех редких случаев, когда реальный отец соответствует образу отца».

Хотя Анна никогда не питала к Джонсу романтических чувств, много позже, в 1953 году, он написал ей, чтобы восстановить истину о своих тогдашних чувствах. По словам Джонса, её отец был убеждён, что его интерес к ней тем летом был скорее практическим, чем романтическим: будто валлиец просто искал скорой замены бывшей подруге Лоэ Канн. «Он, кажется, забыл о существовании полового инстинкта, ибо я находил вас (и нахожу до сих пор) весьма привлекательной», - писал он. И как человек, давно обосновавшийся в долгом и, по всей видимости, счастливом браке, поспешил добавить: «Во всяком случае, я всегда любил вас - и вполне честным образом».

Когда началась Первая мировая война, Анна всё ещё была в Англии и рвалась к родителям в Вену - так же, как они рвались её

вернуть. Джонс писал Фрейду, что при необходимости «наверняка сможет доставить её до австрийской границы, ибо способов для этого несколько». Позднее он признавал, что по глупости переоценил свои возможности. Но её взял под крыло австрийский посол в Лондоне, вместе с которым она вернулась в Вену кружным путём через Гибралтар и Геную, занявшим десять дней. 26 августа Фрейд ликующе писал сыну Мартину о её возвращении: «Она вполне здорова и держалась храбро».

Хотя Джонс не сопровождал Анну ни на одном отрезке пути, он помог с некоторыми предварительными хлопотами. В октябре Фрейд писал ему: «В эти жалкие времена, обедняющие нас и духовно, и материально, у меня ещё не было случая поблагодарить вас за ловкий и целесообразный способ, каким вы отправили ко мне мою дочурку, и за всю стоящую за этим дружбу». Какое бы напряжение ни возникало прежде между ними из-за мнимых видов Джонса на Анну, к тому времени оно рассеялось.

* * *

Как это часто бывает с младшими детьми, Анна особенно радовала отца. После её рождения 3 декабря 1895 года Фрейд сообщил о пополнении семейства Флиссу, своему главному тогдашнему корреспонденту: «Она появилась сегодня в 3:15, во время моего приёма, и, кажется, это славная, вполне законченная маленькая женщина». С тех пор он называл её «Аннерль» - уменьшительное, которое можно перевести как «Аннушка».

В первые годы её жизни Фрейд часто упоминал о ней в письмах, показывая, как радует его её стремительно раскрывающийся характер. Он называл её «восхитительно дерзкой» и «прямо-таки похорошевшей от озорства». В другом письме он рассказывал, как Анна недавно пожаловалась, что старшая сестра Матильда съела все яблоки. Предложенное ею решение - распороть Матильде живот. Её вдохновила сказка о волке, проглотившем шестерых из семи козлят, которых мать оставила дома одних; вернувшись, коза

узнаёт от младшего, спрятавшегося козлёнка, что случилось, и спасает остальных, распоров волку брюхо. «Она становится очаровательным ребёнком», - заключал Фрейд. Настроение ему поднимало и то, что появление Анны совпало с ростом спроса на его услуги. «Нам приятно думать, что малышка принесла удвоение моей практики», - писал он Флиссу.

Анна разделяла тёплые воспоминания братьев и сестёр о сборе грибов с отцом и других семейных вылазках, но живо помнила и случаи, когда её оставляли дома, - например, когда из-за простуды она не попала в цирк. Или когда пятеро старших отправились кататься на лодке без неё - «то ли потому, что лодка была полна, то ли потому, что я была „слишком мала“», рассказывала она. Но в тот раз Фрейд, наблюдавший за их отплытием, особо похвалил её за то, что она так хорошо это перенесла. «Это сделало меня такой счастливой, что всё остальное стало неважно», - говорила она.

Анна делила спальню с сестрой Софи, пятым ребёнком, двумя годами старше её, и девочки соперничали за внимание родителей. По большинству свидетельств, мать, Марта, правившая домом и командовавшая детьми со строгой властностью, явно отдавала предпочтение Софи. Как вспоминала Анна, лет в семь-восемь сестра тяжело заболела и лежала в жару. «Хочу к маме, нет, не к твоей маме, к моей маме», - твердила она в бреду.

То, что все, включая отца, считали Софи самой привлекательной из сестёр, лишь усиливало у Анны чувство, что она живёт в её тени, и подталкивало её к мечтательности и созданию собственного выдуманного мира. В школе у неё было мало подруг, но она постоянно проявляла воображение и ум. Когда ученикам задали описать, где они живут, Анна написала, что в её комнате «три стены»; четвёртой стеной, утверждала она, была Софи.

Когда девочки подросли, Фрейд призывал их быть снисходительнее друг к другу и особенно убеждал Анну быть «великодушной» к Софи. Он указывал, что «любовь и ненависть не так уж различны». Но Анна усилила борьбу за его любовь, ежедневно писала ему, когда он уезжал. Она даже прямо

предсказывала, что, поскольку старшая сестра Матильда уже замужем, а Софи, вероятно, последует её примеру, она - «та, кто скоро станет твоей единственной дочерью». Накануне свадьбы Софи в январе 1913 года Анна призналась, что, хотя «говорить так нехорошо», она рада, что сестра начнёт новую жизнь в другом месте, ведь тогда прекратятся их ссоры. Она любит Софи и восхищается ею, уверяла она, но разлука пойдёт им на пользу.

Даже после того как в 1913 году Софи вышла замуж за фотографа Макса Хальберштадта - вскоре он сделает самые знаменитые портреты своего тестя - и переехала в его родной Гамбург, её по-прежнему считали самой блестящей из детей Фрейда. Когда год спустя, в начале Первой мировой войны, Софи родила Фрейду первого внука, Эрнста, гордый дед поехал в Гамбург посмотреть на него. В письме Карлу Абрахаму в Берлин он восторгался «очаровательным малышом, который так мило смеётся всякий раз, как на него обращают внимание», добавляя, что «это порядочное, цивилизованное существо, что вдвойне ценно в наши времена разнузданного зверства». В конце 1918 года Софи родила ещё одного сына - Хайнца, которого чаще звали Хайнеле.

А потом трагедия грянула дважды. Двадцатишестилетняя Софи умерла 25 января 1920 года - жертва эпидемии испанского гриппа, охватившей континент. В письме Ференци в Будапешт Фрейд старался говорить философски, но отчаяние его было явным. «Смерть, как ни мучительна она, не меняет моего отношения к жизни, - писал он. - Годами я был готов к потере наших сыновей; теперь это наша дочь; как убеждённому неверующему, мне некого обвинять, и я понимаю, что нет места, куда я мог бы подать жалобу».

Тем сильнее Фрейд привязался к Хайнеле, когда тот в четыре года провёл несколько месяцев в Вене, очаровав всех членов большой семьи, заботившихся о нём. В письме Ференци Фрейд назвал его «самым остроумным ребёнком такого возраста». Но мальчик был и болезненным - «тощий и хрупкий, одни глаза, волосы и кости», как добавлял встревоженный дед. Несмотря на все

усилия спасти его, в июне того же года он умер от милиарного туберкулёза. «Я так тяжело переживаю эту потерю - думаю, ничего тяжелее я не испытывал», - признавался Фрейд. Вкупе с потерей Софи это означало, что «всё утратило свою ценность».

Анну потеря сестры и племянника тоже потрясла и повергла в уныние, но эти трагедии привязали её к Фрейду ещё крепче. Матильда, вторая оставшаяся в живых сестра, по-прежнему жила с мужем в Вене, но она первой покинула родительский дом. Мартин вернулся с войны и обзавёлся своей семьёй в Вене, а два других брата переехали в Берлин. Оливер нашёл работу инженера-строителя. Эрнст стал успешным архитектором и дизайнером интерьеров и позднее встраивал психоаналитические кабинеты в дома клиентов из круга отцовского движения.

Анна рано решила стать учительницей, хотя в школе ей часто бывало скучно. Вместе с тем ей страстно хотелось учиться у отца. Примостившись на маленькой библиотечной лесенке, она слушала дискуссии на собраниях Венского психоаналитического общества по средам. Когда ей было лет четырнадцать, она гуляла с Фрейдом по элегантному кварталу у Пратера, большого городского парка. «Видишь эти дома с красивыми фасадами? - спросил он. - За фасадами всё не обязательно так красиво. Так же и с людьми».

Как и отец, она хотела хорошо владеть иностранными языками. В школе она изучала английский и французский, а каникулы в Италии использовала, чтобы освоить начатки итальянского; позднее она вместе с Фрейдом брала частные уроки у учителя английского. Мечтая путешествовать, она огорчилась, когда ей сказали, что она слишком мала, чтобы сопровождать отца в 1909 году в Соединённые Штаты, где он читал лекции о психоанализе в Университете Кларка. Она зачитывалась романами Карла Мая, необычайно популярного немецкого писателя, сочинявшего приключенческие истории об американском Диком Западе. Не меньше её увлекали и индийские рассказы Редьярда Киплинга.

Вернувшись из Англии, Анна два года была учительницей-практиканткой в венской начальной школе, а затем до 1920 года

работала там штатной учительницей. Одна из бывших учениц позднее описывала впечатление, которое она производила: «Однажды нас, детей, словно током ударило: нам представили молодую стройную темноволосую женщину с интересными глазами, и она сразу взяла класс в свои руки… Это была такая чудесная и простая натура, что я тогда глубоко её полюбила».

И Анна, по-видимому, любила преподавать. «В те дни, конечно, мы все держались друг с другом более официально, но я помню, как нам было весело, очень весело, - рассказывала она десятилетия спустя знаменитому американскому детскому психиатру и писателю Роберту Коулзу. - Я ещё не изучала сновидения, но обожала слушать, как дети рассказывают свои сны - кем они хотят стать, когда вырастут, и как хотят жить; их грёзы наяву». Её завораживало, когда дети закрывали глаза и описывали, какие образы видят. Пять лет преподавания были чрезвычайно важны для её развития, продолжала она. «Они дали мне возможность узнать нормальных детей, прежде чем я начала принимать детей, у которых по той или иной причине были трудности».

Ещё учительствуя, она уже начала изучать предметы, занимавшие отца. Благодаря ему она могла сопровождать молодых психиатров Хайнца Хартмана и Пауля Шильдера во время обходов в психиатрической клинике Венской городской больницы. Этот опыт был «чрезвычайно поучителен», вспоминала она. «Мы все завороженно слушали откровения пациентов, их сны, бредовые идеи, фантастические системы, которые аналитически подкованные из нас укладывали в схему».

Важнее всего то, что в 1918 году отец стал её аналитиком, и анализ у него продолжался три года. Как отмечал Коулз в биографии Анны 1992 года, «подобное - между родителем-психоаналитиком и ребёнком любого возраста - сегодня немыслимо». Но он же указывал, что то были самые ранние дни психоанализа, когда многие процедуры и правила ещё не устоялись и не были осмыслены. Не были определены и требования к начинающим психоаналитикам. Бóльшую часть подготовки они

получали от того, кто их анализировал. «Нас обучали наши личные аналитики», - говорила Анна. В её случае это был отец.

Во время анализа Анна писала стихи - она часто делала это и в детстве, но не с такой откровенностью. Вот одна строфа:

Лишь когда душа моя глубже взбурлила,

Когда я билась с дикими, тёмными силами,

Почуяла я, одна в своей нужде, со страхом,

Что каждый поэт поёт лишь свою печаль.

Хотя впоследствии Фрейд предостерегал других от того, чтобы становиться психоаналитиками собственных детей, своё лечение Анны он считал успешным. Оно, несомненно, ускорило переплетение их личных и профессиональных уз. Фрейд не только обсуждал с ней свои идеи и сочинения, но и брал её в некоторые рабочие поездки - в частности, в Гаагу на Международный психоаналитический конгресс 1920 года. В 1922 году она написала работу «Фантазии об избиении и грёзы наяву» и прочла её в виде доклада в Венском психоаналитическом обществе; это стало условием её перевода из слушателей в полноправные члены той самой группы, собиравшейся по средам. Она начала и сама принимать пациентов, положив начало карьере детского психоаналитика.

Какие бы сожаления ни испытывала Анна, оставляя учительство ради психоанализа, их затмевала её поглощённость движением, основанным отцом. «Тогда, в Вене, мы все были так взволнованы - полны энергии, - вспоминала она. - Казалось, будто исследуется целый новый континент, а мы - его исследователи, и у нас есть возможность что-то изменить: вернуться, можно сказать, с этого континента с тем, что мы узнали, и предложить это миру, людям, которые там не бывали».

Фрейд радовался, видя младшую дочь «цветущей и в хорошем расположении духа», как он сообщал Максу Эйтингону в Берлин. «Хотелось бы только, чтобы она поскорее нашла причину променять привязанность к старому отцу на какую-нибудь более

прочную». Но в этом Фрейд был не слишком убедителен. В 1921 году, когда Анна уехала к Эйтингону в Берлин и к детям сестры Софи в Гамбург, Фрейд признался, сколь противоречивы его собственные чувства относительно её будущего. «Если она и вправду уедет, я почувствую себя таким же обделённым, как сейчас, - и как если бы мне пришлось бросить курить!» - писал он. Иными словами, к Анне он был привязан так же, как к своим сигарам. А она была привязана к нему ничуть не меньше.

* * *

К началу 1923 года отца и дочь сблизило ещё одно обстоятельство: его ухудшающееся здоровье. Фрейд давно тревожился о своём сердце, но настоящая беда оказалась в челюсти - прямое следствие тех самых сигар, от которых он отказывался отказаться. Когда он обратился к Маркусу Хайеку, давно знакомому врачу, по поводу обнаруженного им новообразования на правой стороне челюсти и нёба, Хайек приписал опухоль курению и велел прийти в его клинику, чтобы её удалить. Это будет «совсем пустяковая операция», сказал ему Хайек, хотя сопроводил это утешение фразой: «Никто не может рассчитывать жить вечно». Фрейд, возможно, подозревал, что ему говорят не всё, но после некоторых колебаний 20 апреля явился в клинику, ничего не сказав ни Марте, ни Анне.

Мать и дочь были застигнуты врасплох, когда получили из клиники известие с просьбой привезти кое-какие необходимые вещи, поскольку Фрейд проведёт там ночь. Согласно биографии Фрейда, написанной Джонсом, все обычные палаты были тогда заняты, так что Фрейда поместили на импровизированную койку в крохотной комнатке, которую он делил с другим пациентом - по его описанию, карликом. Когда Марта и Анна примчались туда, они застали Фрейда сидящим на кухонном стуле в амбулаторном отделении «в одежде, сплошь залитой кровью». Как лаконично заметил Джонс, «операция прошла не так, как ожидалось».

После того как Марту и Анну в обеденное время, когда посетители не допускались, отправили домой, у Фрейда снова открылось обильное кровотечение. Не в силах говорить, он позвонил, но звонок не работал. Карлик побежал за помощью, и кровь остановили. «Быть может, его поступок спас Фрейду жизнь», - заключал Джонс. Узнав о случившемся, Анна настояла на том, чтобы провести ночь у постели отца, оберегая его, пока он боролся с болью. На следующий день ему позволили вернуться домой, но это была лишь первая из долгой череды операций - всего тридцати трёх, - которые ему предстояло перенести до конца жизни. Хайек и Феликс Дойч, тогдашний личный врач Фрейда, узнали, что удалённая опухоль злокачественная, но не сообщили об этом ни пациенту, ни его семье.

Фрейду хотелось верить, что ему лучше, чем было на самом деле, хотя его уже предупредили о необходимости новой операции после летних каникул. В письме Андреас-Саломе от 10 мая он уверял, что ближайший послеоперационный прогноз хороший, но мрачновато добавлял: «Вы понимаете, что это означает лишь небольшое ослабление неизвестности, которая неизбежно будет висеть над грядущими годами».

Неизвестность последовала за Фрейдом и Анной и в Рим, куда они сбежали в поисках хоть какой-то передышки. Как вспоминала Анна, они бросили монеты в фонтан Треви, «надеясь вернуться, что из-за предстоящей ему операции было весьма неопределённо». Во время той поездки она приняла на себя две ключевые роли, которые будет исполнять до конца жизни отца, - его ближайшей спутницы и, по сути, личной сиделки. Когда у него снова открылось кровотечение, она справилась с ним весьма умело. Из итальянской столицы Фрейд писал Андреас-Саломе: «Здесь я впервые понимаю, какой хорошей спутницей оказалась моя дочурка».

Вследствие последующих операций на челюсти ему пришлось постоянно носить неудобный протез, вставлять и вынимать который было чрезвычайно мудрено, а порой и больно. Из всех домашних это искусство освоила только Анна; она же регулярно

чистила это приспособление, которое Фрейд называл «Чудовищем». Ни Марта, ни Минна не пытались взять на себя эти трудные и жизненно важные обязанности.

Всё более заметная роль Анны почти во всех сторонах жизни Фрейда вызывала смешанные чувства у обеих старших женщин, живших под той же крышей, и привела к перестройке отношений в доме. С тех пор как в 1896 году Минна поселилась у сестры и зятя, она занимала в жизни Фрейда особое место, что было очевидно всякому, кто проводил хоть сколько-нибудь времени на Берггассе, 19. Теперь Анна вторгалась в то, что прежде было по преимуществу владениями тёти.

Паула Фихтль появилась в этом доме позже всех: её наняли горничной в 1929 году; ей было тогда двадцать семь, и она оставалась экономкой Фрейдов - сначала в Вене, потом в Лондоне - до самой смерти Анны в 1982 году. В интервью немецкому журналисту Детлефу Бертельсену, пообещавшему ничего из сказанного ею не публиковать, пока Анна жива, Фихтль приоткрыла проницательный взгляд на отношения трёх женщин в доме Фрейда.

Первое впечатление новой горничной от порядков на Берггассе, 19 было таково: «всё так серьёзно, так строго», и она опасалась, что не приживётся. Она заметила, что Марта - «очень тихая женщина, настоящая хозяйка», которая держит всё под неусыпным контролем. Минна, напротив, говорила громко, казалась решительной и «весьма собственницей» - надо полагать, в отношении Фрейда, с которым она подолгу беседовала о его работе, книгах и других умственных предметах. «Не было такой книги, которой бы она не прочла, даже иностранной», - говорила Паула. Всё это было полной противоположностью Марте, которая сосредоточивалась главным образом на практической стороне управления сложным хозяйством, включавшим и кабинеты для приёма пациентов мужа и Анны, и обычно держалась в стороне от любых разговоров о психоанализе.

На протяжении всего брака Марта и Зигмунд спали на двух деревянных кроватях, сдвинутых в одну двуспальную. Тем не менее Фихтль описывала их брак как «тихий, мирный, но не обязательно счастливый». То, что она появилась в доме, когда супруги были уже немолоды, несомненно, окрашивало её восприятие; разумеется, она ничего не могла знать об их ранних годах, когда взаимная нежность была куда заметнее. Не была она посвящена - или, во всяком случае, ни словом не упоминала - и в домыслы о том, что Минну и Фрейда и в прежние дни, возможно, связывало нечто большее, чем умственное товарищество.

Спустя долгое время после смерти Фрейда его бывший коллега, ставший озлобленным соперником, Карл Юнг утверждал, будто Минна доверительно рассказала ему, что у неё с зятем роман и что её мучает совесть. Но даже Фрэнк Маклинн, автор основательной биографии Юнга, признаёт, что «мысль о романе между Фрейдом и Минной Бернайс испытывает доверие на разрыв, что, впрочем, не означает, будто эта история не может оказаться правдой».

Фрейд действительно не раз путешествовал с Минной - в том числе в Италию и в другие места, - и она часто сопровождала его на прогулках по Вене. Марта регулярно ездила с ним на семейный отдых, но другие его поездки нередко пропускала. Тем не менее большинство биографов Фрейда отвергают мысль о том, что у него когда-либо был роман с Минной. Макс Истмен, видный американский левый редактор, побывавший у Фрейда в 1926 году, настаивал, что всякий, кто полагает, будто революционные взгляды Фрейда на человеческую психику воплотились в радикальном образе жизни, жестоко ошибается. В частной жизни «Фрейд был ханжой и пуританином, фанатичным моногамистом, не чувственным по натуре и настолько „целомудренным“ в речах и поведении, что „не выглядел бы чужим в обычной клубной гостиной“», - писал Истмен.

Пусть поведение его и выглядело безупречным, дома Фрейд вызывал ревность. Фихтль поразило то, что обе сестры откликались на обращение «фрау профессор Фрейд», обычное для жены

профессора. Как многозначительно замечала горничная, «настоящую фрау профессор» такое смешение ролей не радовало, хотя нет никаких свидетельств, что Марта когда-либо заводила об этом речь. Минна куда охотнее выказывала свои чувства. Однажды Фихтль пожаловалась Анне, что тётя «вечно на меня сердится, будто я ничего не умею сделать как следует». Анна велела ей не беспокоиться, объяснив, что Минна «ревнует», потому что Фрейд всегда так ласково обходится с молодой горничной.

Такие чувства назревали давно. В декабре 1925 года Анна выступила в Венском психоаналитическом обществе с докладом «Ревность и желание мужественности». Не будет натяжкой предположить, что тема отчасти была навеяна её домашними наблюдениями. По мере того как Анна становилась главной спутницей Фрейда на прогулках по Вене и в поездках, а также его главной домашней собеседницей по умственным предметам, Минна неизбежно ощущала себя понижённой в должности. Фрейд по-прежнему играл с ней в тарок, свою любимую карточную игру, и они по-прежнему обсуждали книги и идеи. Но, хотя Фрейд продолжал уважать её ум и суждения, иерархия переменилась.

Жертвой обострившегося соперничества за внимание Фрейда могла оказаться и Марта. Когда в 1929 году Анна узнала, что отец собирается на две недели в санаторий Тегель под Берлином, у неё на этот период был уже полностью расписан приём пациентов, что открывало возможность для Марты. В письме Андреас-Саломе, с которой у неё завязалась почти столь же тесная дружба, как у отца, Анна признавалась: «Сначала мама хотела поехать вместо меня, но мне этого совсем не хотелось». Иными словами, она была полна решимости охранять своё место рядом с отцом - даже от матери. Анна перекроила своё расписание, чтобы поехать с ним, а Марта осталась дома.

* * *

Помимо того что в её кабинет на Берггассе, 19 шёл нескончаемый поток детей, Анна брала на себя и новые роли в психоаналитическом движении. Когда в 1924 году ученики Фрейда открыли в Вене учебный институт, Анна стала его секретарём. Ей особенно хотелось дать психоаналитическую подготовку учителям маленьких детей, а значит, она участвовала почти во всей основной деятельности института. После первых операций Фрейда она представляла его на ежегодных собраниях Международной психоаналитической ассоциации и заняла там официальную должность секретаря. На конгрессе в Бад-Хомбурге под Франкфуртом в 1925 году она прочла работу отца «Некоторые психические последствия анатомического различия полов».

Фрейд был в восторге, когда Абрахам написал ему после конгресса: «Известие о том, что фрейлейн Анна прочтёт вашу работу, вызвало в начале конгресса стихийные аплодисменты - жаль, что вы не могли их услышать сами. Её чрезвычайно ясная манера речи в полной мере воздала должное содержанию».

Такие отклики укрепили Фрейда в уверенности, что он может доверять дочери новые подобные миссии, поскольку сам всё реже хотел или мог путешествовать. Когда в 1930 году город Франкфурт присудил ему премию Гёте, он написал устроителям, выражая благодарность и объясняя, что здоровье не позволит ему присутствовать на торжестве и вместо него приедет Анна. «Публика ничего не потеряет от моего отсутствия, - писал он. - Моя дочь, несомненно, приятнее для глаз, чем я». Затем он рассказал Джонсу, как она там его представляла, заключив: «Её значение для меня вряд ли может возрасти».

В 1927 году Анна собрала лекции, прочитанные в учебном институте, и издала их как свою первую книгу - «Введение в технику детского анализа». Она стала одним из первых залпов долгого спора с Мелани Кляйн, старшей соперницей в той же области, уроженкой Вены, резко критиковавшей методы и теории Анны. Кляйн утверждала, что Эдипов комплекс появляется у детей в более раннем возрасте, чем полагала Анна, и пренебрежительно

смотрела на неё как на запоздалую пришелицу в детском психоанализе. Анна, в свою очередь, порицала склонность Кляйн видеть в каждом поступке маленького ребёнка символ, утверждая, что порой не менее вероятны «безобидные объяснения».

Хотя Анну всё ещё знали прежде всего как дочь Фрейда, она уже становилась самостоятельным авторитетом. То, что она оказалась в центре споров - как её отец в более широкой области психоанализа всех возрастов, - показывало, как быстро росла её репутация.

В конце 1925 года, когда она лишь начинала брать на себя более широкую роль, Анна неоднозначно отзывалась о нарастающих обязанностях. В письме Андреас-Саломе она писала: «Мне кажется, что теперь я несу двойную ношу, и особенно потому, что от меня требуют мужских дел - в Венском обществе, в его учебной программе, в переговорах, в запутанных ситуациях, даже в зарабатывании денег (на данный момент)».

Упоминание о «мужских делах» подчёркивало её молчаливое приятие общественных норм её эпохи, пусть её собственная профессиональная роль фактически их опровергала. Признаваясь, что ей приятно «обретать в глазах других людей (не перед папой) известную независимость», она уверяла, что всё же предпочла бы «давать и служить, нежели приобретать и требовать».

Эти заверения подчёркивали, как сильно ей хотелось и дальше служить отцу; всё остальное, на её взгляд, было второстепенным. Она признавалась Эйтингону, что порой ревнует к молодым женщинам, приходившим к отцу на лечение. А к возможным женихам она была решительно равнодушна. После того как один из них, Ханс Лампль, - учившийся в школе вместе с её братом Мартином, затем изучавший медицину в Венском университете и посещавший там лекции Фрейда, - навестил её в январе 1924 года, она написала Андреас-Саломе, что может быть с ним дружна, «но для брака я не гожусь».

Мари Бонапарт, начавшая анализ у Фрейда в 1925 году, быстро пришла к выводу, что Анна - «весталка», девственница,

фиксированная на отце. Как аналитик дочери, Фрейд знал это и так и намекал на свои тревоги на этот счёт в письмах к некоторым корреспондентам. В письме Андреас-Саломе в конце 1927 года он хвалил Анну как «превосходную и интеллектуально независимую», но указывал, что у неё «нет половой жизни». Когда его не станет, задавался он вопросом, «что она будет делать без отца?»

Для Анны главной наградой за всю преданность отцу стало то, что она, по словам экономки Паулы Фихтль, превратилась в «законную кронпринцессу». Поскольку рак и череда операций часто надолго обрекали Фрейда на то, что он лишь полушутя называл «домашним арестом», она играла эту роль безупречно. Если это включало и личный уход, который не раз бывал, должно быть, мучителен, особенно после очередной операции, Анну это нисколько не смущало. Всё, что она делала, держало её рядом с отцом и его работой. «Нельзя просить изюм без окружающей его булки, - объясняла она. - Я это понимаю».

* * *

Вопреки тревогам отца, Анна не была обречена на одиночество после его смерти. В 1925 году появился новый человек, с которым она поддерживала, по её словам, долгие «драгоценные отношения» - сначала в Вене, потом в Лондоне. Поскольку этим человеком была женщина, брак был невозможен. Тем не менее они стали, по существу, парой. Фрейд и большинство в их кругу оставались убеждены, что половой жизни у Анны нет, но вопрос о том, не опровергали ли эти отношения такое предположение, оставался всегда.

Дороти Берлингем была на четыре года старше Анны, американкой и - уж во всяком случае по меркам Вены 1920-х годов - несметно богатой. Она приходилась внучкой Чарльзу Тиффани, прославленному ювелиру, основателю фирмы Tiffany & Co., и младшей дочерью его сыну Луису Комфорту Тиффани, не менее

прославленному создателю самых разнообразных изделий из цветного стекла.

Дороти разошлась с мужем Робертом Берлингемом, одарённым хирургом, страдавшим маниакально-депрессивным психозом; со временем он лишился частной практики, а впоследствии покончил с собой. Всё это заставляло её тревожиться о собственном душевном здоровье, а также о здоровье четверых маленьких детей, особенно старшего сына. Узнав о работе Анны с детьми и заинтересовавшись возможностью самой пройти психоанализ, она решила увезти их в Европу, поначалу даже не известив Роберта. Это был разрыв - не только с ним, но и со всей её американской жизнью, - продлившийся всю жизнь, хотя Роберт и навещал их в Европе. Вопреки первоначальным расчётам пробыть в Европе не больше года, она навсегда осталась эмигранткой. Этот же разрыв позволил Дороти в 1938 году сыграть роль второго плана в помощь Анне и остальной спасательной команде Фрейда.

После недолгого пребывания в Женеве Дороти обратилась к Анне с просьбой взять в пациенты её старшего сына Боба, страдавшего психосоматическим расстройством. Когда Анна согласилась, Дороти с детьми переехала в Вену. Анна нашла и аналитика для самой Дороти - Теодора Рейка, коллегу и друга Фрейда. Рейк уделял ей шесть часов в неделю. Вскоре Анна уже занималась всей семьёй, анализируя и помогая воспитывать и остальных детей. Как выразилась её подруга Ева Розенфельд, «Дороти и её дети пришли чужими, и ум и сердце Анны стали их домом».

Дороти и Анна совершали долгие прогулки по Венскому лесу и другим окрестностям города, обсуждая детей и другие общие интересы. Эти вылазки, в которых порой участвовал и Зигмунд Фрейд, облегчались тем, что у Дороти был «Форд» модели Т - редкая по тем временам роскошь в австрийской столице. Фрейд насмешливо замечал, что Анна неплохо зарабатывает, леча «непослушных американских детей». Их мать - которую он позднее взял в пациентки, сменив Рейка в роли её аналитика, - он описывал

как «весьма симпатичную», ставя ей при этом диагноз «истерический или навязчивый невроз со страхом».

В 1927 году Анна и Дороти отдыхали в Италии - это была первая из множества их совместных поездок. Как объясняла Анна отцу, между ними быстро сложилось «самое приятное и самое безоблачное товарищество». Дороти расположила к себе и старшего Фрейда, подарив ему в 1928 году чау-чау, который, по словам Фихтль, вскоре стал его *grosser Liebling* («большим любимцем»). И это при том, что его жена Марта никогда не разделяла восторгов мужа и Анны перед домашними питомцами. У Анны уже была собака - немецкая овчарка по кличке Вольф, появившаяся в доме года за три до того.

Поначалу, однако, Анна испытывала к Дороти куда более противоречивые чувства, чем показывала отцу. В письме Эйтингону в Берлин о своих сеансах с детьми она признавалась, что у неё бывают «мысли, которые сопутствуют работе, но не имеют в ней подобающего места». И поясняла: «Мне иногда кажется, что я хочу не только сделать их здоровыми, но в то же время и обладать ими или хотя бы чем-то от них - для себя». Уверяя, что хочет этого лишь «временно», она тут же заявляла: «С матерью детей у меня обстоит не очень иначе». Следовало ещё более прямое признание: ей «очень стыдно всего этого, особенно перед папой, и поэтому я ничего ему об этом не говорю».

По словам Роберта Коулза, знавшего Анну, когда она была уже гораздо старше, её «сложные» отношения с Дороти трудно понять, не поговорив с обеими женщинами. «Однако не нужно быть волшебником-психиатром, чтобы догадаться, что Анне Фрейд было гораздо легче и приятнее эмоционально сближаться с женщинами, чем с мужчинами, - писал он, - и что её поначалу профессиональные отношения с миссис Берлингем и её детьми приобрели семейный характер - так, что сегодня это непременно заставило бы приёмные комиссии психоаналитических институтов удивлённо поднять брови».

Насчёт семейного характера этих уз Фрейд был полностью согласен и не выказывал ни малейших сомнений. «Наш симбиоз с американской семьёй (без мужа), чьих детей моя дочь твёрдой рукой воспитывает аналитически, всё крепнет», - писал он в январе 1929 года. Этому симбиозу ещё больше способствовало то, что «американская подруга» Анны, как её все называли, примерно тогда переехала в квартиру на Берггассе, 19 - всего двумя этажами выше бельэтажа, где Фрейды жили и работали в двух смежных квартирах. Дороти провела основательный ремонт, позволивший ей с удобством жить там с детьми и прислугой. Она даже провела прямую телефонную линию между своей спальней и спальней Анны этажами ниже.

Дороти по-прежнему была глубоко неспокойна и временами даже раздумывала, не попытаться ли вернуться к Роберту в Соединённые Штаты. Она была подвержена «чёрным настроениям, заново переживая в анализе детские горести», писал её внук и биограф Майкл Берлингем. Фрейд старался укрепить её уверенность в себе, чтобы она могла освободиться от таких мыслей. А жизни Дороти и Анны тем временем сплетались всё теснее. В 1930 году они купили небольшую ферму меньше чем в часе езды от Берггассе, отремонтировали и обставили домик под названием Хохротерд («Высокая красная земля»), стоявший на склоне холма. Как одобрительно отмечал Фрейд, это было идеальное место, чтобы уезжать на выходные.

Сеансы Дороти с Фрейдом превратились в учебный анализ - первый шаг в подготовке к карьере детского психоаналитика и педагога по стопам Анны. То, что Дороти растила четверых собственных детей, означало, что к психоанализу она пришла «трудным путём», как выразилась Анна. Но именно материнские трудности привели к тому, что она никогда не осуждала «матерей своих пациентов за то, что они жалуются или даже ломаются под неизбежным бременем». В 1932 году Дороти написала работу «Детский анализ и мать», которая позволила ей стать

ассоциированным членом Венского психоаналитического общества. Два года спустя она начала принимать пациентов.

Личные и профессиональные жизни Анны и Дороти теперь пересекались повсюду. У Дороти были две старшие сестры-близнецы, и много позже в письме к Анне она размышляла о склонности людей, у которых есть такие братья или сёстры, придумывать себе близнеца - того, кто «воплощает идеал самого себя, его Сверх-Я». Именно в таких отношениях они и находились - в «идеальной дружбе», заключала она. Анна охотно соглашалась.

* * *

С конца 1926 года Анна, Дороти и их подруга Ева Розенфельд строили планы открыть маленькую школу, где можно было бы создать обстановку, наиболее благоприятную, по их мнению, для того аналитического подхода, которому они отдавали предпочтение. Предполагалось записать туда детей Дороти и Евы, а также других детей, живших у Евы на пансионе, и нескольких из других семей - некоторые их родители тоже были аналитиками или иностранцами, приехавшими в Вену лечиться. Многие ученики и сами проходили анализ - в большинстве случаев у Анны.

Ева Розенфельд предоставила для новой школы, открывшейся в 1927 году, задний двор своего дома в венском районе Хитцинг. Дороти оплатила строительство двухэтажного норвежского деревянного здания, как раз достаточного, чтобы вместить около пятнадцати учеников - столько в среднем там и училось. Продолжая анализировать нескольких детей, Анна преподавала английский, а для таких предметов, как латынь и математика, наняли приходящих учителей. Но двумя ключевыми приобретениями школы оказались двое молодых людей, впоследствии сами прославившиеся как детские психоаналитики.

Розенфельд привела Петера Блоса, ставшего директором школы и учителем биологии. Прежде Розенфельд жила в Карлсруэ, где Блос вырос. Он, в свою очередь, привлёк бывшего однокашника

из того же немецкого города Эрика Хомбургера, впоследствии известного как Эрик Эриксон, - преподавать рисование (его специальность), историю и немецкую литературу. Всех учителей поощряли исследовать с учениками самый широкий круг тем, и Эриксон выбирал необычные для того времени - например, культуру американских индейцев и викингов, с соответствующими заданиями по письму и рисованию. Дети Дороти, отмечала Розенфельд, особенно выиграли от упора на искусство благодаря их «повышенному интересу… к рисованию, живописи и всему зрительному», а это была вотчина Эриксона. Вскоре он и сам начал анализ у Анны, что стало первым шагом его карьеры в этой области.

По словам Петера Хеллера, сына шоколадного фабриканта, одного из учеников, позднее писавшего о школе и её методах, «Анна Фрейд сразу произвела на меня впечатление красивой и интересной взрослой, внушающей уважение… Она не была из тех глупых взрослых, держалась естественно, и в её присутствии чувствуешь себя почти свободным, не испытывая при этом ни поощрения, ни соблазна шалить». Анна понимала, чем мальчика могло к ней тянуть, но Хеллер отмечал и другое: «Остаётся впечатление пуританской отстранённости, а также подозрение, что она, проникавшая в души других людей, мало понимала их отношение к ней самой или была не вполне способна направлять такие отношения». От неё веяло «старродевичьей святостью», добавлял он, и она «не слишком дружелюбно относилась к сексуальности».

Многие её коллеги по Венскому психоаналитическому обществу разделяли это впечатление. На одном из собраний Эдуард Хичман, вступивший в кружок в первые его дни и наблюдавший, как Анна выдвигается на всё более заметное место, воспользовался отсутствием и отца, и дочери, чтобы противопоставить их. Указав на пустой стул Анны, он сострил: «Здесь сидел Фрейд и учил нас влечениям, а теперь здесь сидит Анна и учит нас защитам».

Хотя три основательницы школы - Анна, Дороти и Ева - поначалу в целом были довольны работой Блоса и Эриксона, Анна

пришла к выводу, что те слишком вольничают. «Они знают только принуждение или освобождение от принуждения, - жаловалась она Еве в 1929 году. - А последнее ведёт к хаосу». Дороти считала, что и её детям школа, возможно, не пошла на пользу, поскольку не подготовила их к более жёстким методам обучения, принятым в других местах. Хеллер усматривал - по крайней мере задним числом - в подобной критике «оттенок враждебности к мужскому и к мужчинам».

Школа закрылась в 1932 году - в том же году, когда Ева переехала в Берлин, а некоторые американские семьи, чьи дети там учились, вернулись в Соединённые Штаты. Разногласия по поводу методов Блоса и Эриксона, возможно, способствовали такому исходу, но сами они считали эксперимент в целом удачным. Анна испытывала смешанные чувства, но сохранила добрые отношения с Эриксоном, который продолжал у неё психоаналитическую подготовку. Порой его раздражала её привычка вязать во время сеансов, но однажды она обезоружила его, вручив голубой вязаный свитер для его первенца. (Глядя, как Анна вяжет и шьёт, Фрейд любил её поддразнивать: «Если настанет день, когда психоанализа больше не будет, ты сможешь стать швеёй в Тель-Авиве».)

Эриксон описывал этот венский период как время «больших надежд, обещаний и экспериментов… Мы только начинали учиться психоанализу». Он навсегда сохранил благодарность Анне и другим людям из круга её отца, «которые приняли меня и открыли мне дело всей жизни». Ему казалось, что он участвует в чём-то сродни «павловым дням христианства».

Эриксон пробыл в Вене достаточно долго, чтобы прослушать кое-какие курсы в университете и в 1933 году быть избранным в Венский психоаналитический институт. В том же году к власти в Германии пришёл Гитлер, и Эриксон с семьёй уехал в Соединённые Штаты. Когда он сообщил о решении Анне, «она была недовольна», вспоминал он, поскольку это означало ещё одну потерю для их сплочённого сообщества. «Однако не нужно было быть

политическим гением, чтобы понять, что произойдёт в Австрии и в остальной Европе».

Но Анна - и прежде всего её отец - не собирались следовать его примеру. Как выразился Эриксон, возраст и болезнь Фрейда заставляли его верить, что в столь крутом шаге нет нужды. «Он столько всего повидал на своём веку - наверное, решил: и Гитлер пройдёт», а значит, можно спокойно оставаться в Вене. «А раз он и не думал уезжать, то не думала и она».

Глава 6

«Человек мира»

Как Уильям Буллит объяснял своему давнему другу и земляку-филадельфийцу Джорджу Биддлу, впервые он решил обратиться за помощью после того, как едва не свалился с лошади. Он был опытнейшим наездником, и всё же нога выскользнула из стремени, и его чуть не выбросило из седла. «Можешь ты себе представить, чтобы я упал с лошади? - спрашивал он Биддла. - И тут до меня дошло, что я хотел упасть с лошади. Жутко». Высказав это предположение о своих бессознательных побуждениях, он добавил: «К счастью, я много читал о психоанализе… И я знал, Джордж, что идти мне надо только к одному человеку - к Фрейду».

По словам Биддла, Буллит рассказал ему и о первой встрече с Фрейдом в 1925 году, когда он без предупреждения явился на Берггассе, 19. Услышав, что Фрейд нездоров и новых пациентов не принимает, он представился и отправил наверх свою визитную карточку. Фрейд, видимо, услышал его сверху и спустился поздороваться, объяснив, что знает о нём и охотно сделает исключение и возьмёт его, если тот заинтересован в долгосрочных отношениях. В сущности, так начались отношения, продлившиеся до самой смерти Фрейда, - и Буллиту предстояло сыграть в них решающую роль одного из его спасителей.

Этих двоих - уже знаменитого психиатра и будущего высокопоставленного американского дипломата - сблизил не только психоанализ, но и общая ненависть к президенту Вудро Вильсону и Версальскому договору. У Буллита она родилась из несбывшегося юношеского честолюбивого желания сыграть крупную роль в устройстве мира; у Фрейда - из убеждения, что американский президент по своему высокомерию и невежеству упустил контроль над процессом, пренебрёгшим его же прежней

высокопарной риторикой о справедливом послевоенном порядке и позволившим мстительным победителям несоразмерно покарать побеждённых, особенно Австрию.

Буллит был одним из всего трёх людей, удостоенных привилегии обращаться к Фрейду просто по фамилии, без привычных «герр доктор» или «герр профессор». (Двумя другими были британский писатель Герберт Уэллс и французская шансонье и актриса Иветт Гильбер, друг семьи.) Связь между ними оказалась на редкость прочной, хотя Буллит был на тридцать пять лет моложе Фрейда. Как и у других членов будущей спасательной команды, этим узам предстояло пройти решающее испытание в 1938 году.

* * *

Сегодня Буллита помнят главным образом по его дипломатической деятельности в 1930-е годы. Когда в 1933 году президент Франклин Д. Рузвельт официально признал Советский Союз, он назначил Буллита первым послом в Москве. Следующее его назначение - послом во Францию - совпало с первыми завоеваниями Гитлера, включая аншлюс, присоединение Австрии к Третьему рейху, - событие, поставившее Фрейда перед непосредственной опасностью. На обоих постах Буллит оказывался в самом центре потрясений, вызванных подъёмом двух тоталитарных держав.

Казалось, Буллит идеально подходил для таких задач. Как писал Джордж Кеннан, служивший под его началом молодым сотрудником посольства в Москве, а позднее прославившийся ещё больше как дипломат и историк, Буллит «был обаятелен, блестящ, прекрасно образован, наделён воображением - человек мира, способный на равных вести интеллектуальный спор с кем угодно».

Кеннан видел в Буллите «одного из той замечательной плеяды молодых американцев… для которых Первая мировая война стала величайшим потрясением жизни. Это было яркое поколение, полное таланта и кипучей энергии». В его ряды входили, среди

прочих, литературные звёзды Эрнест Хемингуэй и Ф. Скотт Фицджеральд, композитор и автор песен Коул Портер и американский коммунистический пропагандист Джон Рид - и со всеми ними пути Буллита пересекались.

Однако, оглядываясь назад, Кеннан замечал в начальнике, которым восхищался, и другие, менее привлекательные черты, заключив, что «он, как мне всегда казалось, носил в себе семена собственного несчастья». На одной из первых встреч с Буллитом по пути в Москву, куда они ехали открывать новое посольство, у Кеннана сложилось «впечатление быстрой чувствительности, огромного эгоцентризма и гордости, а также некой опасной свободы - свободы человека, который, как он сам мне тогда признался, никогда не подчинял свою жизнь нуждам другого человека».

Говоря современным языком, Буллит рос, окружённый всеми атрибутами привилегированности, - с тем естественным чувством избранности, которое в ту эпоху прививалось высшим классам с колыбели. Родившийся в 1891 году, он воспитывался родителями, принадлежавшими к столпам Старой Филадельфии - исторического центра города, где жили богатые семейства вроде его собственного, чьи корни уходили во времена до Американской революции.

По отцовской линии он происходил от Жозефа Буле, французского гугенота, прибывшего в Мэриленд в 1637 году и сменившего фамилию на Буллит. Среди его потомков и свойственников были некоторые из самых знаменитых семейств американской истории. Когда в 1943 году Буллит безуспешно баллотировался в мэры Филадельфии, журнал *Time* писал: «Его родословное древо украшают отец Джорджа Вашингтона, сестра Патрика Генри и сама Покахонтас». Его отец, Уильям Кристиан Буллит-старший, юрист, нажил состояние на железных дорогах и угле, ведая прибыльными поставками пенсильванского угля для флотов Соединённых Штатов и других стран, а также трансатлантических пароходных компаний.

Мать, Луиза Гросс Хорвиц, происходила от европейских евреев, крестившихся в Новом Свете. Джозеф Хорвиц, первым из них переплывший Атлантику, прибыл около 1710 года, вступил в Епископальную церковь и стал врачом. Другие предки отличились как медики, профессора и литераторы. Луиза позаботилась о том, чтобы двое её сыновей получили подобающее воспитание: говорила с Уильямом и его братом по-французски и поощряла его к овладению также немецким. Она брала Уильяма с собой в летние поездки по Европе, включавшие визиты к его бабушке в Париж и к тётке в Рим, и с ранних лет знакомила его с европейской историей.

Честолюбие Буллита проявилось рано. «Я буду юристом, и губернатором, и государственным секретарём, и президентом», - заявлял он. До этих целей он не дотянет, но во многих других отношениях взлетел высоко. В частной филадельфийской школе Де Ланси он поражал одноклассников, казалось, неисчерпаемой энергией. «Билл Буллит успевает учиться, играть, заниматься бейсболом и писать романтические стихи, - отмечал школьный журнал. - Как ему это удаётся?» Запугать его тоже было нелегко. Когда учитель обвинил его в списывании на уроке немецкого, Буллит назвал его «проклятым лжецом» - и последовавший протест его отца перед школой закончился увольнением учителя.

В Йеле, куда он поступил в 1908 году, Буллит не утруждал себя самыми трудными курсами, предпочитая легко проскальзывать через начальный и средний немецкий, а заодно и через английский, то и дело блистая остроумием и искушённостью. Но бездельником он не был. Он был капитаном команды дебатов; членом редакции газеты *News*; одним из основателей - вместе с Коулом Портером, учившимся курсом старше, - сатирического «Клуба пирога с начинкой»; и президентом Йельского драматического общества. Всё это побудило однокурсников признать его самым блестящим студентом выпуска.

Порой ослепительный публичный образ Буллита в университете не уберёг его от своего рода срыва в конце третьего курса: острые боли в кишечнике, проблемы со слухом и зрением. В

больнице Пенсильванского университета в Филадельфии осматривавшие его врачи недоумевали над симптомами, но встревожились настолько, что сочли: он может не прожить и нескольких месяцев. Взяв академический отпуск в Йеле, он побывал в Калифорнии и Европе, перенёс в Филадельфии удаление аппендикса и, пренебрегши предписанием держаться пресной диеты из шпината и молока, предпочёл ей омаров и шампанское. Почувствовав себя лучше, он вернулся и в 1913 году окончил Йель с отличием.

В Йеле Буллит слушал курс психологии у Розуэлла Энджира, преподававшего там с 1906 года. До этого Энджир учился во Фрайбурге и Берлине, работал ассистентом в физиологической лаборатории Берлинского университета и, опираясь на тамошний опыт, знакомил студентов с идеями фрейдовского психоанализа. Буллита это так заинтриговало, что он ненадолго задумался, не сделать ли психологию главным предметом своих занятий и работы. Неясно, пытался ли он уже тогда понять, не были ли его собственные загадочные недуги отчасти психосоматическими, но это стало первым шагом на пути, который позднее приведёт его к Фрейду в Вену.

Буллит поступил на юридический факультет Гарварда, чтобы исполнить детское предсказание стать юристом. Но там ему не сиделось, у него снова начались проблемы с пищеварением, и его часто приводила в бешенство манера некоторых профессоров высмеивать первокурсников вроде него, проверяя их умственную закалку. После смерти отца в марте 1914 года Буллит бросил учёбу и избрал новое поприще, которое приведёт его в журналистику и дипломатию.

* * *

Чтобы помочь матери оправиться после смерти мужа, Буллит роковым летом 1914 года поехал с ней в Россию и Германию. Когда 28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии, что означало

начало Первой мировой войны, они были в Москве. Из гостиницы «Националь», где они остановились, им было слышно, как толпа кричит и поёт «Боже, царя храни», императорский гимн. Грандиозность событий взволновала молодого американского гостя. «Я был настолько наивен, что решил… будто остановлю войну», - вспоминал позднее Буллит.

Поняв, что пора уезжать из России, Буллит с матерью вовсе не спешили покидать Европу. Из своего номера в берлинском отеле «Адлон» они смотрели, как в день объявления войны маршируют германские войска. Перебравшись в Лондон, Буллит, предусмотрительно приехавший в Европу с письмом от *The New York Times*, выражавшей интерес к его репортажам, попытался, но не сумел получить аккредитацию военного корреспондента. Он также съездил в Париж, чтобы забрать фамильные драгоценности недавно умершей бабушки.

По возвращении в Филадельфию семейные связи помогли ему получить начальную должность репортёра в *The Public Ledger*, главной газете города. Он писал живые заметки обо всём - от убийств и облав на игорные притоны до самоубийства юноши, которому не на что было купить парадные туфли, чтобы сопровождать подругу на пасхальной прогулке. Он начал писать о войне и для редакционной полосы, что принесло ему быстрые повышения.

В конце 1915 года Буллит оказался единственным представителем филадельфийской газеты, приглашённым освещать донкихотскую миротворческую миссию в Европу, организованную автомобильным магнатом Генри Фордом. Хотя Буллит и сам недавно лелеял грандиозные миротворческие мечты, его репортажи с зафрахтованного Фордом шведского судна «Оскар II», расходившиеся по всей стране, были полны язвительных описаний, приводивших читателей в восторг. «„Оскар“ поразительно качало, и когда паломники, призванные остановить войну, собрались на дневное богослужение… вид у них был такой, будто они не

способны остановить ничего крупнее драки двух комнатных шпицев», - писал он.

Искренне восхищаясь благими намерениями Форда и даже сравнивая его с Христом, он вместе с тем беспощадно высмеивал его и его последователей за веру в то, что они смогут «вывести парней из окопов» туманными декларациями, без конкретных предложений и без знания европейской истории. «Мистер Форд был нежнейшим из нежных и туманнейшим из туманных; очаровательное дитя», - писал он. Экспедиция Форда обернулась фиаско, но для Буллита она стала даром небес: он превратился в звёздного автора *Public Ledger*.

Всё многообещающе складывалось и в личной жизни Буллита. В марте 1916 года он женился на Эрнесте Дринкер - казалось бы, идеальной для него паре. Её семья имела глубокие квакерские корни в колонии Уильяма Пенна, а отец был президентом Лихайского университета. Хотя колледж она так и не окончила, училась она в Сорбонне и Рэдклиффе, а её поразительная красота привлекала вереницу поклонников. По словам её младшей сестры Кэтрин, она отвергла пятьдесят предложений руки и сердца, после чего сбилась со счёта. «Куда бы ни повернула сестра голову на этой длинной шее, всюду было очарование, - писала Кэтрин. - Я видела, как мужчины, глядя на Эрнесту, затаивали дыхание».

Новобрачную пленили энергия Буллита и его жажда приключений. Медовым месяцем стала поездка в Германию и Австро-Венгрию, которая одновременно дала Буллиту возможность писать о войне с точки зрения Центральных держав. Соединённые Штаты ещё не вступили в войну, и он был полон решимости с толком употребить свой немецкий и свои связи. Эрнеста тоже собиралась писать: она вела путевой дневник, позднее опубликованный, и изучала роль женщин в военной экономике, несмотря на первоначальные старания немецких хозяев занять её походами по магазинам.

Дневниковые записи Эрнесты стали не только ценной летописью поездки, но и доказательством того, что она живо писала

и обладала лукавым чувством юмора. До вступления Соединённых Штатов в войну в 1917 году многие американцы не были убеждены, что какая-либо из сторон обладает монополией на добродетель, - а вопрос о виновниках конфликта был далеко не прост. Буллит питал к немцам немалую симпатию - ещё одна черта, роднившая его с Фрейдом задолго до их знакомства. Супруги приехали, «переполненные млеком человеческой доброты», писала Эрнеста 14 мая 1916 года. «Мы - особенно Билли - были готовы понять Германию. Билли говорил, что прекрасно понимает их точку зрения».

Но Билли, как называла его Эрнеста, быстро утратил «часть своей широты взглядов». Военный инспектор в поезде не обратил внимания на письма немецкого дипломата, которые Буллит привёз с собой как поручительство, и перерыл весь их багаж. Он конфисковал книги, писчую бумагу, визитные карточки - и даже карандаши. «Билли переносил эти потери стойко, но когда к прочим вещам отправились его одиннадцать тюбиков средства для волос, мужество ему изменило», - записала она, подтрунивая над тщеславием мужа, гордившегося своими волнистыми каштановыми волосами, бóльшую часть которых он потеряет сравнительно рано.

Если говорить серьёзнее, она отмечала, что Буллит всё критичнее смотрит на хозяев и их поведение в войне. «Билли говорит, что немцы - самый нравственный народ на свете, когда имеют дело с немцами, и самый безнравственный в отношениях со всем остальным миром», - писала она. Тем не менее поездка доставляла ему огромное удовольствие: он брал интервью у высших чиновников и промышленников и даже уговорил германских военных разрешить ему посетить Восточный фронт - поездку, которую назвал большой удачей. «Он поднимался на аэроплане над русскими позициями, по нему стреляли, и он вообще прекрасно провёл время», - отмечала Эрнеста.

Чтобы увидеть происходящее глазами австро-венгерских союзников Германии, Буллит побывал в Вене и Будапеште. Фрейда он тогда не встретил, но впитывал всё, что мог, о мире, в котором

тот жил. Современник Буллита Уолтер Липпман, редактор *The New Republic*, позднее ставший знаменитым колумнистом, называл его «самым острым из американских корреспондентов».

Это не прошло мимо внимания начальства *The Public Ledger*: в ноябре 1916 года Буллита поставили во главе вашингтонского бюро газеты. Главной темой тогда была всё более вероятная перспектива вступления Соединённых Штатов в войну, и он был вполне готов её освещать. На заре 1917 года всё, казалось, складывалось в его пользу - пока 21 марта Эрнеста не родила мальчика, который не выжил. Два дня спустя Буллит написал Липпману, с которым к тому времени сдружился, что потеря сына «сломила её эмоционально». Не обмолвившись ни словом о собственном душевном состоянии, он сообщал: «Сегодня я его похоронил».

* * *

Ещё до переезда в Вашингтон Буллит показал, что жаждет быть не просто наблюдателем политики и международных дел: он хотел быть игроком, непосредственно участвующим в принятии политических решений. Вернувшись из поездки в Германию и Австро-Венгрию, 20 октября 1916 года он писал Фрэнку Л. Полку, высокопоставленному чиновнику Государственного департамента: «У меня много сведений, которые я не могу опубликовать… и которые могли бы вас заинтересовать». Как видно из этой записки, он был не просто готов, но и жаждал поделиться с администрацией Вильсона неофициальными сведениями, добытыми в европейских поездках.

Едва обосновавшись в Вашингтоне, он установил тесные отношения с Эдвардом М. Хаусом, ближайшим советником Вильсона, у которого взял интервью в феврале 1917 года. Полковник Хаус, как звали этого техасца, хотя он никогда не служил в армии, был впечатлён статьями Буллита о европейских делах и с удовольствием получал его донесения, особенно о внутренней политике Германии. В одном из них Буллит

предсказывал, что провал последнего германского наступления позволит немецким либералам со временем прийти к власти и что они будут готовы проложить новый курс, «если их удастся убедить в искренности американского либерализма». Он уже исходил из того, что Соединённые Штаты вскоре вступят в войну, а затем будут участвовать в выработке условий мира.

В начале апреля, когда Соединённые Штаты вступили в войну, Буллит ненадолго встретился с Вильсоном. Он воспользовался случаем, чтобы щедро похвалить президента за речь на совместном заседании Конгресса. «Вы сделали себя вождём всех людей на свете, которые хотят настоящего мира», - сказал ему Буллит. Его восторг был искренним - свидетельство тогдашней веры в то, что Вильсон поистине дар Америки миру, - и тем горше окажется последующее разочарование.

Буллиту было тогда всего двадцать шесть, он ещё подлежал призыву, но, как писал он Хаусу 5 июля, «печальные последствия операции по поводу аппендицита не позволяют мне нести военную службу». Цель письма состояла в том, чтобы убедить Хауса подыскать ему место помощника президента. Из этого ничего не вышло, но Хаус устроил так, что в декабре Буллита назначили помощником государственного секретаря. Его переход из журналистики в дипломатию завершился.

Буллит сразу же сосредоточил значительную часть внимания на России - стране, куда он впервые приезжал с матерью. Во главе с Владимиром Лениным большевики захватили власть в ноябре 1917 года, поклявшись выполнить обещание вывести Россию из войны. 3 марта 1918 года они подписали Брест-Литовский договор - сепаратный мир с Центральными державами, который не только предопределил расчленение Российской империи, но и возмутил всё ещё воевавшие западные державы. Перед администрацией Вильсона стоял вопрос, как оценивать большевиков и вспыхнувшую по всей России после их революции гражданскую войну - и что с этим делать.

8 января 1918 года Вильсон выступил в Конгрессе со знаменитой речью, изложив «Четырнадцать пунктов», которые, по его замыслу, должны были стать основой мирного договора по окончании войны. Шестой пункт предусматривал «освобождение всех российских территорий и такое урегулирование всех затрагивающих Россию вопросов, которое обеспечит наилучшее и свободнейшее сотрудничество с ней других народов мира». И хотя тринадцатый пункт требовал создания независимой Польши, а значит, Москва не сохранила бы контроля над всей прежней империей, Вильсон предупреждал союзников, что их отношение к России «станет пробным камнем их доброй воли».

Несмотря на столь примирительный язык, в вопросе о России Вашингтон был глубоко расколот. В ноябре 1917 года государственный секретарь Роберт Лансинг составил меморандум, излагавший его мрачный взгляд на тамошние события. «Русский „террор“ по жестокости и уничтожению жизней и имущества намного превзойдёт террор Французской революции», - писал он. Назвав страну «кипящим котлом анархии и насилия», он заключал: «Не могу представить для народа более страшного бедствия, чем то, что, по-видимому, вот-вот обрушится на Россию».

Мрачные предчувствия Лансинга окажутся вполне оправданными, но многие американцы, особенно молодые левые, смотрели на дело иначе. Они славили революционеров как героев, которые освободят Россию, а затем и всё человечество от капиталистического гнёта. Самым видным выразителем этого взгляда был Джон Рид, журналист левого издания *The Masses*, писавший о рабочих волнениях в Америке, Мексиканской революции и войне в Европе. Вместе с женой, тоже левой писательницей Луизой Брайант, он отправился освещать Русскую революцию, посылая восторженные репортажи, легшие в основу его необычайно популярной книги «Десять дней, которые потрясли мир». Он стал деятельным участником событий, о которых писал, водил дружбу с Лениным, Львом Троцким и другими большевистскими вождями и работал непосредственно на них.

Буллит жадно следил за приключениями Рида и разделял его убеждение, что Соединённые Штаты совершат огромную ошибку, если выступят против большевиков в гражданской войне. В письме Хаусу от 3 февраля 1918 года он призывал признать новый большевистский режим, а позднее передал ему меморандум о положении в России, который заказал Риду.

Но Буллит понимал, что Рида могут обвинить в подрывной деятельности за поддержку коммунизма и яростное противодействие участию Америки в войне. Поэтому он постарался несколько дистанцироваться от Рида. «Хотел бы я смотреть на Россию так же бесхитростно, как Рид», - говорил он, указывая, что «мешанина противоречивых сообщений» о большевиках мешает ему прийти к ясным выводам о природе новых правителей. Буллит предложил создать рабочую группу из «людей глубокой мудрости и широких взглядов», чтобы разобраться в этих вопросах. С осени 1917 года группа из 150 учёных участвовала в работе, известной как «Исследование» (Inquiry), собирая сведения и составляя секретные доклады в преддверии послевоенных мирных переговоров. 4 декабря 1918 года президент Вильсон отплыл во Францию на борту «Джорджа Вашингтона»; среди 113 человек его свиты были двадцать три члена «Исследования», а также помощники из Белого дома и переговорщики. От двадцатисемилетнего сотрудника Американской комиссии по ведению мирных переговоров Буллита можно было ожидать, что во время плавания он будет тихо работать на заднем плане, - но всё вышло совсем иначе.

На четвёртый день плавания через Атлантику он воспользовался тем, что сидел рядом с Вильсоном в корабельном зале перед показом фильма. Никогда не отличавшийся застенчивостью, он призвал президента собрать делегацию и «разъяснить ей, в каком духе он подходит к конференции и, насколько возможно, какую политику намерен проводить». Он указал, что «относительно его намерений» царят повсеместный скептицизм и неосведомлённость, что может «губительно сказаться» на работе делегатов на мирных переговорах в Париже,

особенно в отношениях с англичанами и французами. Словом, им нужна была ясность насчёт их миссии.

Хотя, по воспоминаниям Буллита, Вильсон удивился столь прямолинейной оценке, отреагировал президент на редкость хорошо. На следующий день Вильсон созвал сотрудников комиссии и подробно их проинструктировал. Он объяснил, почему считает, что «если этот мир не будет заключён на высших началах справедливости, народы мира сметут его меньше чем через поколение», и доказывал, что Германию не следует сковывать «бессрочными счетами за стоимость всей войны». Он также изложил своё видение Лиги Наций, главной целью которой станет предотвращение будущих конфликтов. Ключевой вопрос, который, как он настаивал, американцы должны задавать себе о каждом предлагаемом решении, звучал так: «Справедливо ли это?»

Для Буллита это была минута глубокого удовлетворения. Вильсон не только поблагодарил его за предложение, но и последовал ему - и по большей части держался великолепно. «Я никогда не видел президента в более откровенном и обаятельном настроении, - вспоминал он. - Он был переполнен теплом и добродушием».

18 февраля 1919 года государственный секретарь Лансинг командировал Буллита в Россию «в интересах американских полномочных представителей на мирных переговорах». После консультаций с секретарём премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа Буллит был убеждён, что заручился поддержкой и Вашингтона, и Лондона для заключения сделки с большевиками. В Москве он встретился с Лениным, который, по-видимому, принял бóльшую часть условий, на которых настаивал Ллойд Джордж, при условии, что западные державы быстро их окончательно утвердят. Воодушевлённый молодой американский посланец ожидал, что его будут превозносить за крупный дипломатический прорыв.

* * *

Едва вернувшись 25 марта в Париж, Буллит обнаружил, что всё обстоит иначе. Сведения о его переговорах начали просачиваться, и лондонская *The Times* обрушилась на «идею постыдной сделки с большевиками». В парламенте Ллойд Джордж заявил, что ничего не знал о миссии Буллита. Несмотря на настойчивые просьбы Буллита, Вильсон так и не согласился его принять, а вскоре заболел.

От Буллита внезапно отреклись - он стал почти неприкасаемым. То, что он ездил в Россию при поддержке и американского, и британского правительств, предпочли не вспоминать. Реагируя на отказ Ллойд Джорджа признать, что тот был полностью осведомлён о его миссии, Буллит заявил: «Это был вопиющий случай обмана общественности - пожалуй, самый наглый из всех, что я знаю». Но горше всего Буллит разочаровался в Вильсоне. Прежнее восхищение американским президентом сменилось чувством личного предательства. Назначенный Лениным срок для принятия условий мира с его правительством истёк, а никаких действий так и не последовало.

Помимо провала российской миссии, Буллита удручал проект мирных условий, которым вскоре предстояло стать Версальским договором. Карательные меры против Германии и то, как собирались перекроить Австро-Венгерскую империю, предупреждал он, - верный рецепт непрекращающихся конфликтов. «Это не мирный договор, я вижу в нём по меньшей мере одиннадцать войн», - заявлял он.

17 мая он подал в отставку из американской делегации, и его стремительная дипломатическая карьера, казалось, на этом закончилась. В письме Вильсону он заявлял, что «был одним из миллионов, кто уверенно и безоговорочно доверял вашему руководству» в деле достижения «прочного мира». Вместо этого «наше правительство согласилось теперь отдать страдающие народы мира на новое угнетение, порабощение и расчленение - на новый век войн». А Россию «даже не поняли».

Разочарование Буллита было столь полным, что он поклялся противодействовать ратификации договора Соединёнными

Штатами и их участию в Лиге Наций - любимом детище Вильсона, призванном искупить все провалы мирного процесса. Вызванный 12 сентября 1919 года для дачи показаний в Комитет Сената США по иностранным делам, Буллит нанёс удар по позиции Вильсона, сообщив, что даже государственный секретарь Лансинг считал «многие части договора совершенно негодными», в том числе планы создания Лиги. Его показания привели Вильсона в ярость.

Вся эта история объясняет и то, почему впоследствии Буллит ухватится за возможность объединиться с Фрейдом, чтобы составить страстный обвинительный акт деятельности Вильсона.

* * *

Однако к Фрейду Буллита привела вовсе не политика, а личные проблемы. Вернувшись из Парижа, он переехал в Нью-Йорк и поступил в корпорацию «Paramount-Famous-Lasky», позднее переименованную в «Paramount Pictures», редактором сценариев немых фильмов. Его брак с Эрнестой Дринкер распался в 1921 году, хотя развод был оформлен лишь в 1923-м. Утрата ребёнка, несомненно, сыграла свою роль, но были и другие, сексуальные, источники напряжения.

В 1926 году Буллит издал роман «Так не делается» (*It's Not Done*), главный герой которого, Джон Корси, - несомненное альтер эго автора, редактор газеты в городе, похожем на Филадельфию. Корси женится на красавице из высшего общества, очень похожей на Эрнесту, которая настаивает на раздельных спальнях и по возможности не пускает его к себе в постель. «В одной постели спят только крестьяне», - заявляет она. Выслушав его жалобы, его врач и ближайший друг не может понять, почему он не уходит от неё. «Терпеть не могу холодных добродетельных бабёнок, - говорит ему доктор. - Добродетели жён убивают куда больше мужчин, чем их измены».

Корси уверяет, что всё ещё любит жену, но мечется между нею и прежней пассией - чувственной французской скульпторшей, по

меркам того времени шокирующе раскрепощённой. Доктор предлагает свой импровизированный анализ с сильными фрейдистскими обертонами. «Ты никогда не позволишь себе быть спокойным ни на что меньшее, чем брак с девушкой, которую одобрит твоя мать, - говорит он. - И ты захочешь, чтобы она была девственницей-нимфоманкой. К сожалению, таких не бывает».

Прообразом французской скульпторши послужила Луиза Брайант, вдова Джона Рида, умершего в Москве в 1920 году, по-видимому от гриппа или тифа. В 1921 году Брайант предложила Буллиту книгу Рида «Десять дней, которые потрясли мир», надеясь, что «Парамаунт» за неё возьмётся. Этого не случилось, но он сразу заинтересовался женщиной, разделившей с Ридом столько переживаний и написавшей собственную книгу - «Шесть красных месяцев в России».

Почти благоговейное преклонение Буллита перед Ридом, возможно, было одной из причин его влечения к Брайант; другой - то, что она представляла собой столь резкий контраст с Эрнестой. Дважды побывавшая замужем, она славилась радикальными взглядами и образом жизни, включая неприкрытый роман с драматургом Юджином О'Нилом. Смерть Рида ещё больше подтолкнула её к тому, чтобы пуститься во все тяжкие. «Единственный способ выдержать - стать совершенно безрассудной и жить каждый день так, словно рассвета не будет», - писала она другу, художнику Эндрю Дасбургу. Брак Буллита лежал в руинах, и он понимал это настроение.

К тому времени Брайант была успешной корреспонденткой изданий херстовского концерна, продолжала писать о большевиках и колесила по Европе в поисках других сюжетов. По словам одной из её биографов, Мэри Дирборн, Буллит, ожидая окончательного оформления развода, «ходил за ней по Европе, как щенок». Когда она начала работать в Константинополе на International News Service, он снял для них старинную виллу на Босфоре.

Буллит твёрдо решил жениться на Брайант. Поначалу она отказывала, но, забеременев в 1923 году, согласилась и оставила

работу в International News Service. Они поженились 5 декабря, а 24 февраля 1924 года родилась их дочь Энн. Буллит, переживший с Эрнестой потерю ребёнка, был в восторге. Как и Брайант, которая, по словам одной подруги, была охвачена «экстазом материнства».

Брайант уверяла Буллита, что на момент свадьбы ей всего двадцать девять; на самом деле ей было тридцать восемь - на шесть лет больше, чем ему, - и она сознавала, что это, возможно, последний шанс испытать этот «экстаз». Многие её друзья полагали, что, несмотря на радикальные взгляды, она рада была и возможности понежиться под крылом богатого нового мужа. Какое-то время они жили в Париже, приютившем столько американских эмигрантов, включая Хемингуэя и Фицджеральда. Буллит играл в теннис и ходил на скачки с Хемингуэем, который тем не менее в письме Фицджеральду упоминал его как «большого еврея из Йеля и собрата-романиста», - намекая на далёкие еврейские корни Буллита по материнской линии и не обращая внимания на его епископальное воспитание.

Роман «Так не делается», вышедший вскоре после «Великого Гэтсби» Фицджеральда, принёс Буллиту мимолётную славу; он посвятил книгу Луизе, которая поощряла его довести её до конца. Поначалу продажи Буллита - в общей сложности 150 тысяч экземпляров в нескольких тиражах - затмили продажи Фицджеральда, чей первый тираж составлял 20 тысяч. Книга Буллита была намеренным вызовом претензиям американского высшего общества: она высмеивала их, одновременно щекоча нервы читателям. («Господи, что за ночь! - восклицает французская скульпторша, обращаясь к любовнику душным вечером. - Противная, как горячее тело, с которым слишком долго пролежал в постели».)

Второй брак Буллита вскоре распался. Брайант не скрывала, что величайшей любовью её жизни был Джон Рид, а нынешняя жизнь с удобствами, которые обеспечивало богатство Буллита, после всех прежних приключений казалась ей пресной. Среди парижских эмигрантов спиртное лилось рекой, и вскоре она пила куда больше,

чем просто в компании. Чармион фон Виганд, американская художница, дочь другого знаменитого херстовского корреспондента, вспоминала, как, навестив парижский дом Буллитов, услышала от Брайант: «Я живу бесполезной жизнью».

Когда в 1925 году Буллит впервые встретился с Фрейдом, он искал помощи для спасения брака - и от собственного углубляющегося отчаяния, которое, по некоторым свидетельствам, доходило до мыслей о самоубийстве. Китти Кэннелл, подруга Луизы, утверждала, что у него были проблемы с потенцией. «Любой, кто читал его роман, это знает: вся его суть в том, что первая жена сделала его импотентом».

Возможно, но примерно в то же время у него был роман с Элеонорой «Сисси» Паттерсон, внучкой владельца *Chicago Tribune*, которая впоследствии сама станет крупным издателем и редактором. В письме подруге она несколько сконфуженно называла себя «старой дурой» за то, что влюбилась в Буллита на Ривьере, хотя была на десять лет старше его. Но с вызовом заявляла: «Не думала, что на свете есть кто-то столь же обворожительный - именно для меня, - как этот человек».

К 1928 году, когда их брак был на грани разрыва, Луиза сошлась с английской скульпторшей Гвен Ле Гальенн. В ходе бракоразводного процесса, завершившегося в 1930 году, Буллит назвал причинами разрыва эту лесбийскую связь, а также пьянство Луизы - и получил единоличную опеку над их дочерью Энн. Луиза к тому же страдала болезнью Деркума - редким заболеванием, при котором появляются многочисленные болезненные жировые опухоли, липомы; она умерла в 1936 году в возрасте пятидесяти лет.

Буллит часто утверждал, что первоначально пришёл к Фрейду, чтобы добиться помощи для Луизы, - и действительно пытался уговорить её лечиться, но безуспешно. Иногда она сопровождала его в Вену, но Фрейд лечил его, а не её, как бы ни затуманивал Буллит вопрос о том, кто из них пациент. По словам писателя Винсента Шина, ещё одного друга Луизы, однажды вечером, вернувшись в венский отель «Империал», она обнаружила, что

Буллит забаррикадировал дверь их номера всей мебелью, пытаясь не впустить её. «Неловкая сцена - одна из многих», - отмечал Шин. Было и немало других случаев, утверждала Луиза, когда она видела, что он «по-настоящему болен и в отчаянии».

Фрейд сумел помочь Буллиту вновь обрести душевное равновесие, но спасти его брак не мог.

* * *

4 мая 1930 года Фрейд поехал в Берлин за новым протезом. Буллит навестил его там и был поражён тем, в каком он подавленном состоянии. «Он мрачно сказал, что жить ему осталось недолго и что его смерть не будет иметь значения ни для него, ни для кого-либо другого, потому что он написал всё, что хотел написать, и его ум опустошён», - рассказывал американец.

Фрейд спросил Буллита, над чем тот работает, и тот ответил, что пишет книгу о Версальском договоре, где будут «очерки о Клемансо, Орландо, Ллойд Джордже, Ленине и Вудро Вильсоне - всех их мне довелось знать лично». К его изумлению, «глаза Фрейда загорелись», вспоминал он, и тот заявил, что хотел бы вместе с ним написать главу о Вильсоне.

Поначалу Буллита позабавило это предложение, показавшееся ему «восхитительным, но причудливым». Он задумывал книгу для специалистов по внешней политике. Если же Фрейд напишет о Вильсоне, рассуждал он, аудитория может оказаться огромной. «Каждый образованный человек захочет её прочесть», - заключил Буллит. И было бы колоссальной ошибкой «похоронить Фрейда о Вильсоне в одной главе моей книги», ведь «часть окажется больше целого». Словом, такая книга должна быть целиком посвящена Вильсону - если, конечно, Фрейд говорил всерьёз.

Фрейд заверил Буллита, что говорит совершенно серьёзно. Он указал, что интересуется американским президентом с тех пор, как узнал, что Вильсон родился в 1856 году - в том же году, что и он сам. Мимо подобных кажущихся совпадений Фрейд проходил

редко. К тому же ему нравилась мысль написать исследование о современном общественном деятеле, чьи жизнь и работу можно внимательно изучить. Буллит соберёт документы и свидетельства людей, работавших с Вильсоном, и передаст их Фрейду, а тот возьмёт на себя бóльшую часть анализа. Так у них получится психоаналитическая биография.

Почти десятью годами раньше Фрейд отказался комментировать книгу о Вильсоне, написанную одним из озлобленных бывших пресс-агентов президента, настаивая, что «психоанализ никогда не следует использовать как оружие в литературной и политической полемике». Он подчёркивал, что его собственная «глубокая антипатия» к Вильсону - тем более веская причина избегать подобных упражнений. Задумав с Буллитом собственную книгу, он отбросил все эти оговорки.

В 1919 году Джон Мейнард Кейнс, британский делегат Парижской мирной конференции, написал небольшую книгу «Экономические последствия мира», вторившую обвинениям Буллита в том, что Вильсон, согласившись на суровые условия Версальского договора, предал свои принципы. В этом исследовании знаменитый экономист практически приглашал Фрейда проанализировать действия Вильсона, давая понять, что всякий обычный политический анализ окажется недостаточным. «Выражаясь языком медицинской психологии, намекнуть президенту, что договор был отказом от его деклараций, значило задеть за живое фрейдовский комплекс, - писал Кейнс. - Это была тема, обсуждать которую было невыносимо, и каждый подсознательный инстинкт сговаривался, чтобы помешать дальнейшему её исследованию».

Работа шла урывками, хотя Буллит со свойственной ему энергией собирал документы и свидетельства и передавал их Фрейду. К 1932 году у них была готова полная рукопись. Но тут Фрейд добавил формулировки, с которыми Буллит не соглашался, - в том числе свои теории о взглядах христианства на бисексуальность, - и работа застопорилась. Тем временем Буллит

вернулся к политике и дипломатии, и это увенчалось его назначением послом США в Москве.

Лишь годы спустя Буллит и Фрейд возьмутся за улаживание разногласий, но затем снова отложат публикацию из-за весьма критического изображения Эдит Вильсон, второй жены и вдовы президента, которая была ещё жива. В конце концов книга «Томас Вудро Вильсон: психологическое исследование» вышла незадолго до смерти Буллита в 1967 году - почти через три десятилетия после того, как Фрейд умер в Лондоне.

Вильсон предстаёт в ней человеком, твёрдо убеждённым в своём божественном предназначении, тем, кто «в своём бессознательном был Богом и Христом». Он верил, что значение имеют лишь «благородные намерения», а значит, «у него не было мотива уменьшать своё невежество, узнавая факты». Приводя насмешливое замечание премьер-министра Франции Жоржа Клемансо о том, что Вильсон считает себя «вторым Иисусом Христом, сошедшим на землю, чтобы исправить людей», авторы - в этом месте, скорее всего, Фрейд - писали: «Клемансо, вероятно, ничего не знал о психоанализе, но бессознательное отождествление Вильсона со Спасителем стало столь очевидным, что заставляло признать его существование даже тех, кто никогда не изучал более глубоких пластов психики».

Капитуляция Вильсона - в частности, перед карательными условиями мира, которых добивался Клемансо, - показывала, продолжали авторы, что американский лидер «прибегнул к женскому оружию». «Его уступка была жестом женщины, которая говорит: „Я всецело покоряюсь твоим желаниям, будь же теперь ко мне добр“». Слабость характера Вильсона проявилась и в том, добавляли они, что свою вторую жену Эдит он воспринимал как «замену матери».

Когда книга наконец вышла, даже некоторых критиков Вильсона возмутило то, что авторы использовали психоанализ как политическое оружие, - именно то, против чего прежде предостерегал Фрейд. Репутации авторов книга едва ли прибавила:

отзывы были по большей части пренебрежительными, и бестселлером, который предсказывал Буллит, она так и не стала. Многие читатели недоумевали, зачем Фрейд вообще согласился участвовать в этом предприятии.

Отчасти объяснение кроется в нутряной неприязни Фрейда к Соединённым Штатам - а не только к Вильсону, - восходившей к его единственному визиту туда в 1909 году. Макс Истмен, редактор *The Masses*, навестивший его в Вене в 1926 году, хотел понять, откуда у него такие резкие взгляды на этот счёт. При всём восхищении Фрейдом и его достижениями Истмена раздражали его «европейский комплекс превосходства» и «высокомерное отношение к американской культуре», бросавшиеся в глаза сразу.

- За что вы так ненавидите Америку? - спросил гость.

- Ненавижу Америку? - ответил Фрейд. - Я не ненавижу Америку, я о ней сожалею. - И со смехом добавил: - Сожалею, что Колумб её открыл.

Увлёкшись темой, он продолжал всё более шутливо, но юмор служил ему способом смягчить колкость наблюдений, чтобы не обидеть гостя. «Америка - неудачный эксперимент, поставленный Провидением, - говорил он. - По крайней мере, думаю, что это было Провидение. Мне, во всяком случае, не хотелось бы за него отвечать».

Истмен, по его собственным словам, не был обидчивым националистом, смеялся вместе с хозяином и, как сам признавал, «скорее подзадоривал его». Когда он спросил Фрейда, что именно тот осуждает, хозяин указал на «ханжество, лицемерие» и заявил, что американцы не выказывают «никакой самостоятельности мысли». Он убеждал гостя написать книгу под названием «Выкидыш американской цивилизации», которая «скажет правду обо всей этой ужасной катастрофе… [и] сделает вас бессмертным».

Для Буллита книга о Вильсоне была способом свести личные счёты; для Фрейда - этим и ещё большим: способом свести счёты и с политиком, и с его страной. Но, по иронии судьбы, именно она связала Фрейда тесными узами с видным американским

дипломатом, которому предстояло оказаться в положении, позволяющем помочь ему в минуту величайшей опасности.

Глава 7

«Ни малейшего ханжества»

У Мари Бонапарт было всё: одна из самых знаменитых фамилий в европейской истории (она приходилась Наполеону внучатой племянницей во втором колене); королевский титул, полученный в браке; унаследованное богатство; и вереница любовников, самым знаменитым из которых был Аристид Бриан - одиннадцать раз занимавший пост премьер-министра Франции и в 1926 году разделивший Нобелевскую премию мира с министром иностранных дел Германии Густавом Штреземаном. После того как в 1925 году Фрейд начал лечить её от «фригидности», она быстро стала и сама опытным психоаналитиком, плодовитым автором в новой для себя области и членом ближнего круга великого учителя - одной из самых преданных его учениц и будущих спасителей.

Однако, как отмечал Эрнест Джонс, всё, что делало её членом европейского высшего общества, могло стать огромной помехой на пути к серьёзной карьере. Если бы она просто соответствовала ожиданиям своей эпохи, то довольствовалась бы ролью знаменитой хозяйки королевских кровей, окружённой одними богатыми и знаменитыми, и никогда не испытывала бы себя ни профессионально, ни интеллектуально.

«Мари Бонапарт пустилась на научное поприще со столь же тяжкими социальными препятствиями, как пресловутый голодающий поэт на чердаке; то, что препятствия эти были противоположного рода, на их действии не сказывается, - утверждал Джонс. - Пришлось бы долго искать в истории человека, добившегося успеха в таких обстоятельствах». Ещё примечательнее, продолжал он, что «она добилась успеха, не покинув один мир ради другого, а блистая в обоих. Это был триумф

чистой личности». Иными словами, Мари была своей и среди звёзд высшего света, и среди мужчин и женщин новой науки Фрейда.

Самое главное - она была своей у Фрейда, а Фрейд у неё. Как быстро она превратилась из пациентки в доверенное лицо, видно уже по их первым беседам, переписке и воспоминаниям. Бонапарт так передавала свои чувства после первой встречи с Фрейдом на Берггассе, 19: «Впечатление, которое он на меня произвёл, превосходит всё, чего я ожидала. Прежде всего - его огромная доброта в сочетании с такой мощью. В нём чувствуется „сопереживание“ всему человечеству, которое он сумел понять и в котором ты лишь неприметная частица».

Очень скоро у Фрейда сложилось о ней столь же благоприятное впечатление. «Смотрите, я знаю вас всего три недели, а рассказываю вам больше, чем другим через два года», - заявил он.

К торжествам по случаю его семидесятилетия 6 мая 1926 года Фрейд уже делился с ней мыслями о самых разных предметах, в том числе о том, как его семья восприняла поток публичных чествований. «Моя жена, в сущности весьма честолюбивая, была всем этим очень довольна, - сообщал он в письме от 10 мая. - Анна же разделяет моё чувство, что быть выставленным на похвалу неловко». Тем не менее и его собственное удовлетворение, пусть сдержанное, было очевидным. «Мир проникся известным уважением к моей работе, - заключал он. - Но до сих пор анализ приняли только аналитики».

В самом откровенном месте письма Фрейд, еврей-атеист, раскрылся перед Бонапарт, нееврейкой, рассказав о почестях, оказанных ему еврейскими организациями. «Еврейские общества в Вене и университет в Иерусалиме (в попечительский совет которого я вхожу), словом, евреи вообще, чествовали меня как национального героя, хотя моя заслуга перед еврейским делом сводится к одному-единственному пункту: я никогда не отрекался от своего еврейства», - писал он.

Всё это свидетельствовало о близости между ними, которая продлится до конца жизни Фрейда. С 1929 года до самой смерти в

1939-м он вёл нечто вроде дневника - краткие записи о главных событиях своей жизни. Помимо членов семьи, чаще всех в нём упоминается Бонапарт - «моя принцесса», как он ласково её называл.

* * *

Посторонним жизнь Мари с самого начала казалась блистательной. Её прадед Люсьен Бонапарт, брат Наполеона, сыграл ключевую роль в перевороте 18 брюмера (9 ноября 1799 года). Люсьен был волокитой и, похоже, передал эту склонность сыну Пьеру, деду Мари. Даже по вольным меркам того времени Пьер славился тем, что затаскивал в постель служанок и крестьянских девушек. Важнее то, что он не мог похвастать ни одним из политических достижений своего кузена Наполеона III, ставшего в 1852 году императором Франции. Возможно, этим объяснялось его часто сумасбродное - и рискованное - поведение. В 1870 году, когда Вторая империя кузена начала рушиться, он обличал республиканцев, добивавшихся нового, более либерального порядка, - и застрелил республиканского журналиста, явившегося вызвать его на дуэль. Его оправдали, но для его жены и детей, включая отца Мари, Ролана, настали тяжёлые времена.

Мари родилась в 1882 году, через год после того, как дед умер в обществе одной из служанок, бывшей и его любовницей. К тому времени дела семьи поправились благодаря ловким манёврам бабушки - дочери неграмотного рабочего, но, как позднее описывала её Мари, «истинно фаллической женщины». Бабушка обратила семейную славу в капитал и устроила брак своего сына Ролана с Мари-Феликс Блан, дочерью игрока, которого выигрыши и деловая хватка вознесли из безвестности к огромному богатству, включая владение казино в Монте-Карло. Так Мари родилась в богатстве - но и в ранней трагедии. Вскоре после её рождения мать слегла и умерла от эмболии.

Мари растили отец, которому она постоянно старалась угодить, бабушка, настаивавшая на суровом укладе вопреки новообретённому богатству, и разные слуги. Вскоре она узнала, что случилось с матерью, - и о ничем не подтверждённых, но тревожных слухах, будто смерть богатой наследницы, возможно, не была случайностью, а стала результатом заговора отца, желавшего завладеть её состоянием. Как вспоминала позднее Мари, «конфликт между пылкой любовью к обожаемому отцу и ослепительным ужасом, который внушали мне эти воображаемые преступления, уже раздирал глубины моего юного сердца».

Мари уверилась, что и она может умереть рано, ведь она похожа на «мечтательную и поэтичную мать с её музыкальной душой» - таким сложился у неё образ матери. В четыре года у Мари был лёгкий туберкулёз. Лёжа больной в постели, она услышала, как кто-то из взрослых сказал: «Совсем как её бедная мать». После этого и бабушка, и отец старались уберечь её от болезней, не подпуская к сверстникам, а значит, вне дома у неё почти не было друзей. Такое чрезмерно опекающее воспитание объяснялось и подозрениями бабушки, что посторонние могут как-нибудь попытаться поживиться богатством семьи.

Как Бонапарт, Мари не была чужда рассказам о насилии и вскоре увлеклась новостями об анархистах и бомбистах своей эпохи. Среди её детских наваждений был Джек-потрошитель, которого она описывала как «сверхубийцу и сверханархиста». В зрелые годы она будет отстаивать дело Кэрила Чессмена - американца, осуждённого за похищение, изнасилование и грабёж и казнённого в газовой камере тюрьмы Сан-Квентин в 1960 году.

Отец, Ролан, стремился дать ей хорошее образование, включая уроки английского и немецкого с самого раннего возраста, но его цель - как и цель его матери - состояла в том, чтобы подготовить её к браку, который принесёт ещё больше богатства и престижа. Её умственное развитие его мало занимало, он был эмоционально холоден и почти не замечал стараний Мари заслужить его одобрение. Дочери хотелось быть частью его жизни, и она с

горечью вспоминала, как огорчилась, когда в редкий снежный парижский день он отказал ей в просьбе взять её с собой покататься на санях. На открытие Эйфелевой башни и Всемирной выставки 1889 года её взяли, но на приём у них дома по этому случаю, куда ей отчаянно хотелось попасть, - нет.

В списке гостей был Томас Эдисон, и ей не терпелось увидеть его говорящую машину, иначе - фонограф. В честь знаменитого американца на вечере присутствовали и так называемые американские индейцы - хотя, по всей вероятности, они были не подлиннее своих костюмов. Для девочки с живым воображением ничего более захватывающего и быть не могло. Однако отец наотрез отказал ей в мольбе позволить хоть ненадолго спуститься к гостям. «О папа, жестокий папа!» - писала она ему потом. Она протестовала, что она не «обыкновенная женщина», и многозначительно добавляла: «Я истинная дочь твоего ума. Я интересуюсь наукой, как и ты».

Много лет спустя после смерти отца в 1924 году Мари нашла пачку писем, которые писала ему в 1893 году, когда он путешествовал по Соединённым Штатам. На конвертах он пометил дату их получения, но так их и не вскрыл. Послания одинокой десятилетней дочери, оставшейся в Париже, его, очевидно, не интересовали.

Говоря современным языком, Мари училась в основном на дому. Её учили взрослые, и жила она среди взрослых. Две главные фигуры в её жизни по-прежнему почти не делали уступок её чувствам. Когда ей было лет восемь, бабушка отчитала её за то, что она вздрагивала от пушечных выстрелов во время регаты в Дьеппе. «Как ты смеешь? - заявила она. - Бонапарт не должна бояться пушек». С ранних лет отец строго читал ей нотации о необходимости беречь деньги, хотя благодаря богатству, унаследованному им от жены, у семьи с лихвой хватало средств на привольную жизнь высшего класса.

* * *

Главной отдушиной для чувств Мари было письмо: она описывала, как обмакнуть перо в чернила и вести им по бумаге, как «физическое наслаждение для меня». В детстве она исписывала тетради, а подростком затеяла то, что называла «ежемесячным журналом», - всё это было лишь прелюдией к её позднейшей плодовитости. Она открыла для себя оперу и театр и была заворожена, но и озадачена постановкой «Царя Эдипа» в «Комеди Франсез», которую в 1896 году смотрела несколько раз. По совпадению в том же году Фрейд впервые употребил в печати слово «психоанализ», хотя теорию Эдипова комплекса ещё не разработал.

По мере взросления Мари недвусмысленно дали понять, что ей не стоит рассчитывать на то же обращение, что и сверстникам. С ней занимались превосходные учителя, преподававшие в лицее Расина, школе для девочек, и они уверяли её, что она ничуть не уступает лучшим ученицам в их классах. Но когда пришло время записываться на бакалавреат - выпускной экзамен, дающий право поступления в университет, - бабушка объявила, что сдавать его ей не позволят. Официальная причина: в республиканскую эпоху фамилия Бонапарт - тяжкая обуза, и экзаменаторы могут провалить её только за то, кто она такая. По словам бабушки, она избавляла её от «ненужного унижения и разочарования».

Мари сразу поняла, что это лишь предлог, оправдывающий решение, принятое бабушкой и отцом с самого начала: учиться ей позволят, но лишь до известного предела. Она не отрицала, что имя, общественное положение и богатство могли сработать против неё, но настоящей причиной было «проклятие» её пола. «Будь я мальчиком, вы не помешали бы мне сдавать бакалавреат, несмотря на мою фамилию, - как когда-то папа, а ведь он не провалился!» - заявила она.

Мари долго ощущала на себе это «проклятие». Как она писала много позже, «в культуре, созданной мужчинами, у женщин нет того положения, той свободы, того счастья, которые им подобали бы; я чувствую себя одной из угнетённых».

Как и большинство девушек-подростков, Мари пустилась в первые флирты - но в её случае один из них быстро подтвердил, насколько она уязвима для тех, кто хотел бы её использовать. Человеком, наглядно показавшим эту опасность, стал Антуан Леандри, второй секретарь её отца. Позднее Мари вспоминала, как наивно было верить, будто его ухаживания внушены страстью. Это был «секретарь-корсиканец, чёрные волосы, голубые глаза, острая бородка - мне было шестнадцать, ему тридцать восемь. Я была некрасива. Он был красив», - писала она, явно сгущая контраст в гневе на то, что последовало дальше.

Леандри был женат, и его жена входила в их окружение, но Мари всё же поверила ему, когда он воскликнул: «Девственница сводит меня с ума!» Он, в свою очередь, велел ей прислать ему прядь волос вместе с запиской, подтверждающей её любовь. Она охотно повиновалась, написав: «От Мари, которая страстно любит его и никогда его не забудет». Это дало Леандри оружие, нужное для шантажа её отца. Хотя она с ним не спала, огласка их «романа» погубила бы шансы Мари на брак в высшем обществе. К ужасу Мари и всей семьи, Леандри не прекращал угроз, пока ему наконец не заплатили отступного - 100 тысяч франков наличными. Сумма Мари не волновала, но вся эта история стала для неё грубым пробуждением и укрепила многие её неуверенности. Когда являлись женихи, её «тошнило от всей этой алчности, особенно когда она прикидывается любовью».

Холодный отец вряд ли мог её ободрить. Тревожно пытаясь выдать её замуж, он однажды, как она вспоминала, холодно сказал ей: «Если бы я увидел тебя в борделе, уж точно выбрал бы не тебя». И всё же, когда незадолго до её семнадцатилетия отец устроил для неё бал и она была соответствующим образом наряжена, она поняла, что вовсе не гадкий утёнок. «Впервые я красива», - отметила она. Но после смерти бабушки в 1905 году отец стал ещё замкнутее и угрюмее - и в то же время явно нервничал всякий раз, когда Мари выходила из дома. На бал в чужом доме она впервые попала лишь почти в двадцать пять лет.

* * *

Летом 1907 года отец Мари дал обед в честь короля эллинов Георга I, сына датского короля Кристиана IX. Как и у многих европейских монархов, родословная семьи пересекала государственные границы, и второй сын короля Георга, принц Георг Греческий и Датский, вырос в обеих странах. Монарх намекнул восхищённому хозяину, что был бы рад союзу этого сына и Мари. Несмотря на первоначальные сомнения, Мари нашла жениха «красивым великаном» - высоким, стройным, белокурым и, «главное, кажется таким добрым, таким добрым». Принц ещё больше укрепил свои позиции, заявив, что желает сохранить раздельность имуществ, и тем самым избавив Мари и её отца от опасений, будто он надеется поживиться её богатством.

После двадцати восьми дней ухаживания Мари приняла предложение. Они сочетались гражданским браком в Париже, а 12 декабря 1907 года - пышным православным венчанием в кафедральном соборе Афин. Но первая брачная ночь вовсе не стала триумфом. Муж лишил её девственности «коротким грубым движением», записала она, а затем извинился. «Я ненавижу это так же, как и ты, - сказал он. - Но мы должны это делать, если хотим детей». Вскоре она родила ему сына, а потом дочь, но это лишь увеличило расстояние между ними. Новоиспечённая принцесса Греческая и Датская проводила бóльшую часть времени в Париже, и даже когда принц приезжал к ней туда, они оставались эмоционально далеки.

Наблюдая тесную близость Георга с его любимым дядей, она заключила, что видимое равнодушие мужа к их интимной жизни имеет более глубокую причину. Хотя она не видела ничего, что указывало бы на гомосексуальную связь Георга, она описывала его тело как «отвращающееся от женских тел; твоё тело, как и твоя душа, отдано мужчине, целомудренно, но пылко прикованное к одному Другу». Иными словами, знал он это сам или нет, мужчины влекли его больше, чем женщины. Как она писала позднее, «мы

были разных пород. Не только по цвету лица и волос, но и по отзвукам ума и сердца».

Мари не заставила себя долго ждать и стала искать общества других мужчин, более отзывчивых к её отзвукам. Когда Европа неслась к Первой мировой войне, она писала: «Для женщины единственные события - события сердца: слеза, поцелуй… Какое мне дело, что рушатся империи? Сегодня вечером он поцеловал меня в губы», - не уточняя, кого имеет в виду. Она отмечала, что «другие приходили и уходили», намекая на череду коротких, по большей части неудовлетворительных в сексуальном отношении связей.

18 марта 1913 года её свёкор, король Георг I, был убит в Салониках, но несколько дней спустя её больше занимала личная жизнь, чем подобные исторические события, даже если они прямо касались её семьи. «Мой муж, - писала она. - Он мне скучен, он держит меня в цепях, но он единственный мужчина, который будет любить меня до смерти». Несмотря на их эмоциональную несовместимость, она знала, что он никогда её не оставит. Её вывод: «Гнёт брака - болезнь всеобщая, хоть и необходимая», - даже если, добавляла она, «смею думать, что вдов, почувствовавших облегчение, больше, чем безутешных».

Мари отмечала, что пережила в жизни «две великие страсти». Первой - тем, кто «по возрасту и авторитету мог бы быть мне отцом», - был Аристид Бриан; в 1909–1929 годах он не раз возглавлял правительство Франции, а также занимал рекордное число других министерских постов. Они познакомились в 1913 году, когда Мари давала обед в честь Редьярда Киплинга. На том обеде её больше заворожил Бриан - ему был тогда пятьдесят один год, и он уже четырежды был премьер-министром, - чем легендарный писатель. Последовавший долгий роман вряд ли был исключительным для кого-либо из них.

Сойдясь с Мари, Бриан продолжал встречаться со своей любовницей Бертой Серни, которая знала о его раздвоенной верности. «Мужчины! Учишь их причёсываться и держать вилку, а

они потом обманывают тебя с королевскими высочествами!» - жаловалась она. Не порвала и Мари с Альбером Ревердином, молодым женевским хирургом, «другим любовником», как она его называла. Был ещё любовник, которого она в своих тетрадях называла просто «Икс», - знаменитый врач, женатый на одной из её подруг и помогавший ей справляться с ухудшавшимся здоровьем отца. По-видимому, именно он, а не Ревердин, был второй «великой страстью» её жизни, хотя уследить за её страстями было делом нелёгким.

Страстные или нет, все романы Мари, по-видимому, омрачались её «фригидностью» - неспособностью достигать оргазма. В 1924 году она опубликовала на эту тему пространную статью в журнале *Bruxelles médical* под псевдонимом А. Э. Нарджани. Она указывала, что «фригидные женщины утешаются в своём несчастье, приписывая свой недуг всему женскому полу». В явно автобиографическом пассаже она описывала, что переживают такие женщины. «В начале половой жизни они часто винят в этом недостатке партнёра, обвиняя его в излишней поспешности и неумелости, - писала она. - Но эти женщины могут менять любовников снова и снова, могут даже встретить такого, с которым акт длится час, - всё напрасно. В конце концов они понимают, что недостаток в них самих…»

В той же статье Мари поддержала мысль, что таких женщин, как она, может спасти операция профессора Йозефа Хальбана. Венский хирург экспериментировал с перемещением клитора ближе ко входу во влагалище, что должно было повысить шансы женщины на оргазм. Она сообщала, что он успешно прооперировал пять женщин; правда это или нет, но её готовность поверить таким заявлениям показывала, что она уже подумывала о подобной операции для себя.

* * *

Задолго до того, как прибегнуть к этой отчаянной мере, Мари познакомилась с Рене Лафоргом, который начинал практиковать как психиатр в родном Эльзасе, а в 1923 году переехал в Париж, получив место в психиатрической клинике. К тому времени он десять лет следил за сочинениями Фрейда и начал переписываться с ним напрямую. Мари тоже начала читать труды Фрейда и вскоре стала регулярно ходить к Лафоргу. Когда она попросила психоаналитика написать Фрейду, чтобы обратиться к тому за помощью, Лафорг охотно согласился.

В письме Фрейду от 9 апреля 1925 года он писал: «Упомянутая дама страдает довольно выраженным неврозом навязчивых состояний, который, не повредив её уму, всё же несколько нарушил общее равновесие её психики». Это был вежливый способ сказать, что Мари - именно та умная, но невротичная женщина, которая станет для него идеальной пациенткой. В заключение Лафорг сообщал, что Мари собирается в Вену в надежде, что Фрейд сможет «предпринять её психоаналитическое лечение».

Фрейд быстро ответил, что ничего не знает об этой женщине, но готов взять её в анализ, «если вы можете поручиться за серьёзность её намерений и её личные достоинства». Он указал на некоторые ограничения по времени и настоял, чтобы она говорила по-немецки или по-английски, потому что его французский порядком заржавел. Поскольку она знала оба языка, препятствием это не стало.

В последующей переписке Лафорг объяснил, что у Мари «выраженный комплекс мужественности, а также много жизненных трудностей», и потому она жаждет пройти интенсивный анализ продолжительностью от шести недель до двух месяцев, «по возможности дважды в день». Помимо того чтобы разобраться со своим состоянием, указывал он, она надеется изучить психоанализ. Фрейд возражал, что не может уделять столько времени одному человеку, особенно если у того нет ясной «дидактической или терапевтической» цели. Но после того как Мари сама написала ему по-немецки, отстаивая свою просьбу, он согласился принять её в

Вене. 30 сентября 1925 года она писала Лафоргу из отеля «Бристоль», своего постоянного пристанища в австрийской столице, что в тот день впервые встретилась с Фрейдом.

По словам Мари, она приехала в Вену к Фрейду в надежде обрести «пенис и оргастическую нормальность». Если мерить этой целью, её консультации потерпели неудачу, о чём говорит её решение спустя более года сеансов всё-таки попробовать операцию на клиторе, о которой она прежде писала. Профессор Хальбан провёл короткую операцию, которая, что неудивительно, тоже не решила её проблемы. Она не скрыла от Фрейда, что сделала, признавшись, что глупо было пытаться так быстро всё исправить.

Но если Мари и оставалась разочарованной своей неспособностью в полной мере наслаждаться сексом, то сеансами у Фрейда она отнюдь не была разочарована. С первой же встречи она благоговела перед человеком, которого вскоре стала называть «мой великий учитель Фрейд».

Как писал биограф Фрейда Питер Гэй, Мари стала его «самым примечательным приобретением 1920-х годов». Она откровенно признавала, что всегда искала одобрения отцовских фигур, - и Фрейд оказался для неё отцовской фигурой в высшей степени, достойной любых превосходных степеней, какие она только могла подобрать. «Что за чудесное, единственное в своём роде существо - мир давно такого не видел и больше не увидит! - писала она. - Качество его характера равно качеству его мысли, и каждодневное общение с таким умом - величайшее событие моей жизни».

Фрейд, поначалу опасавшийся притязаний Мари на его время и не вполне понимавший, каким окажется человек королевских кровей, был впечатлён ею не меньше. Мартин Фрейд называл её «лучшим и самым дорогим другом последних лет отца». Он считал, что они быстро узнали друг в друге родственные души. «Ибо у неё было большинство главных черт отца - его мужество, искренность, глубинная доброта и благожелательность, преданность научной истине, - добавлял он. - В этом смысле сходство характеров было поразительным».

Едва начав лечить Мари, старый Фрейд был поражён тем, что у неё «ни малейшего ханжества». Принцесса, как он её называл, свободно говорила о своих романах и фантазиях, не щадя его ни в каких подробностях.

Ей не терпелось исследовать и своё детство: она показала ему пять тетрадей, которые исписала своими мыслями между семью и десятью годами, - а затем забыла о них, пока не обнаружила среди вещей отца после его смерти в 1924 году. «Загадка этих тетрадок была одной из причин, побудивших меня… искать анализа у Фрейда», - заявляла она.

Написанные на её английском, тогда ещё весьма несовершенном, они содержали такие строки: «Я грустная, Это потому что я грустная, Бедная я? Нет, такая грустная, никогда я не была… Очень грусная я! о! Папа утешь меня я буду работать буду… О! Моя нога! она очень балит!»

Фрейд помог ей увидеть, что тетради указывают: в раннем возрасте она, должно быть, стала свидетельницей «первичной сцены» - вероятно, своей кормилицы с любовником, - чем и объяснялось её знакомство с мужской анатомией. В письме Лафоргу после первых сеансов у Фрейда Мари писала: «Анализ - самое „захватывающее“ из всего, что я когда-либо делала». После смерти Фрейда она опубликовала «Пять тетрадей», добавив к ним комментарии Фрейда и свои собственные. Согласно теории Фрейда, которой он с ней поделился, понимание мужчин коренилось у Мари в том, что по натуре она была «бисексуальна», то есть в ней был силён мужской компонент. Вероятно, для Мари это не стало неожиданностью, поскольку Лафорг ещё раньше утверждал, что её фригидность в сочетании со скрытой гомосексуальностью мужа указывает на то, что она питает подобные чувства к собственному полу. «Никто не понимает вас лучше, чем я», - говорил Фрейд.

Впечатлённый её откровенностью во всём, что касалось личной жизни, он позволял себе говорить о себе свободнее, чем обычно с пациентами. Впрочем, он замечал, что «в частной жизни я мелкий буржуа» - куда более традиционный во взглядах и образе жизни,

чем она. В качестве примеров он приводил то, что никогда не хотел бы, чтобы кто-то из его сыновей развёлся или кто-то из дочерей завёл роман. Не уклонялся он и от того, чтобы подчеркнуть другой контраст - насколько он старше. Он рассказал ей о раке челюсти и о том, что в его возрасте «кое-что уже не работает». Он намекал на то, что, хотя по-прежнему спал в одной постели с женой Мартой, их интимная жизнь к тому времени, вероятно, давно осталась в прошлом.

Фрейд относился к Мари как к близкому другу и коллеге - почти как к ещё одной дочери. Но он предостерегал её от чрезмерной эмоциональной зависимости от него. Мари плакала и говорила, что любит его. «Услышать такое в семьдесят лет!» - отвечал он, явно обрадованный теплом между ними.

Оглядываясь назад много позже, Мари осознала его роль отцовской фигуры. «Всю жизнь мне предстояло придавать значение лишь мнению, одобрению, любви нескольких отцов, избираемых всё выше и выше, и последним из них должен был стать мой великий учитель Фрейд», - писала она.

* * *

Мари не только проводила в Вене всё больше времени ради новых сеансов, но и превратилась из пациентки в ученицу-психоаналитика, постепенно расцветая в серьёзного практика новой науки. «Под руководством отца принцесса сделала психоанализ одним из главных интересов своей жизни», - отмечал Мартин Фрейд.

Мартин особенно привязался к Мари и посвятил ей роман, написанный на основе своего опыта сражений на австрийской стороне в Первой мировой войне. Мари, похоже, покорила даже Марту Фрейд, обычно державшуюся в стороне от круга пациентов и сотрудников мужа. «Мадам Фрейд рассказала мне, как сильно удивила и потрясла её работа мужа тем, что в ней так свободно говорилось о сексуальности, - вспоминала Мари. - Она почти

намеренно не принимала её к сведению». Это был редкий случай, когда Марта раскрыла душу человеку не из ближайшей семьи. Как сказал Фрейд Мари, «моя жена очень буржуазна».

Учителя и принцессу объединяли не только сугубо профессиональные интересы - в том числе увлечение египетскими, греческими и римскими статуэтками, украшавшими кабинет Фрейда; некоторые из них она помогла ему отыскать. Объединяла их и любовь к питомцам. «Под влиянием принцессы Зигмунд Фрейд стал заурядным собачником», - писал Мартин. Оба отдавали предпочтение чау-чау, и Мари написала книгу «Топси» о своей глубокой привязанности к чау-чау с этой кличкой - и о своих размышлениях о жизни и смерти. Это тоже было психоаналитическое сочинение. Незадолго до смерти Фрейд доказал свою преданность и породе, и своей принцессе, переведя эту книгу вместе с Анной на немецкий.

Консультации у Фрейда и растущая дружба с ним сказались и на других отношениях Мари. Вернувшись в конце 1925 года из Вены в Париж, она снова увиделась с «Иксом» и возобновила роман, по-прежнему страдая от своей фригидности. Её всё так же влекло к нему, но принимать его советы относительно своей жизни она не собиралась. Пока она была в Вене, он пытался убедить её оставить стремление стать практиком науки Фрейда. «Смешно вам, не врачу, а светской даме, впутываться в психоанализ», - доказывал он. Записав это замечание в тетрадь, она с вызовом добавила: «Я овладею аналитической техникой».

Её муж, принц Георг, отдалившийся от Мари больше чем когда-либо, тоже пытался убедить её бросить увлечение Фрейдом и психоанализом - столь же безуспешно. Её сын Петр и особенно дочь Евгения, страдавшая плевритом и другими болезнями, тоже обижались на её частые отлучки.

От семьи Мари отдаляло не только увлечение психоанализом: в её жизни появился новый мужчина - Рудольф Лёвенштейн, уроженец Польши, врач, изучавший, а затем преподававший психоанализ в Париже. Этот любовник был на шестнадцать лет

моложе её, и она тут же прозвала его «львом». Но хотя их объединяла страсть к учению Фрейда, взаимная страсть длилась недолго. Как ни старалась она с ним, с «Иксом» или с другими, отмечала она, «работа даётся легко, а половое наслаждение - трудно».

Возвращаясь в Париж, Мари продолжала играть роль светской дамы, вращаясь среди богатых и знаменитых. Вскоре после того, как Чарльз Линдберг совершил одиночный перелёт через Атлантику и 21 мая 1927 года приземлился под Парижем, она познакомилась с мгновенно прославившимся двадцатипятилетним авиатором, чей подвиг вызвал восхищение не только её соотечественников, но и людей во всём мире. Но вместо того чтобы размышлять о значении его свершения, она задумалась о том, девственник ли он ещё.

* * *

Мари всё прочнее входила в ближний круг Фрейда и деятельно распространяла его учение во Франции. В доме Фрейда в Вене она бывала на собраниях аналитиков по средам - не только как слушательница, но и как участница. 24 ноября 1926 года она участвовала в официальном основании Парижского психоаналитического общества; его первым президентом стал Лафорг, секретарём-казначеем - Лёвенштейн, а она была одной из учредительниц, автором и финансовой опорой его издания - французского психоаналитического журнала. По настоянию Мари на обложке значилось: «под высоким покровительством профессора Зигм. Фрейда».

Мари занималась и переводами трудов Фрейда - делом всегда сложным и коварным - и выступала с докладами о некоторых из них. Продолжала она писать и собственные очерки по психоанализу. И чем больше она доверялась Фрейду, тем больше он доверялся ей. Когда она завела разговор о бессознательном, он описал повторяющийся сон, который не мог понять. Во сне он стоял

перед пивным садом, но, не сумев войти через ворота, вынужден был повернуть назад. Позднее он сообразил, что однажды застрял перед похожими воротами в Падуе. Как он объяснил Мари, этот сон снился ему всякий раз, когда он упирался в какой-нибудь вопрос, который не мог в тот момент решить.

В Вене ли, в Париже ли, Мари была «дьяволом энергии», как называл её Фрейд, - казалось, её воодушевление новым призванием неисчерпаемо. В 1929 году, когда издательство Фрейда было на грани краха, она спасла его от банкротства - и продолжала оказывать ему жизненно важную финансовую поддержку в последовавшие тяжёлые экономические времена. Она участвовала в собраниях Международной психоаналитической ассоциации. А в день семидесятипятилетия Фрейда прочла о нём лекцию в Сорбонне перед аудиторией примерно в пятьсот человек.

В то же время ничто - даже упорные осложнения после операции на клиторе, из-за которых Хальбану пришлось оперировать снова и удалить матку, - не мешало ей продолжать свои романы, даже когда любовь причиняла боль. Она сохраняла долгую связь с «Иксом», или «Другом», как она его называла, порой отдыхая вместе с ним и его женой, которая наверняка знала, что Мари для него больше, чем подруга и попутчица. Но ревнивым членом этого треугольника, похоже, была как раз Мари. Как она отмечала, «жена дважды в неделю, я трижды».

В сексуальной сфере для неё не было ничего немыслимого. Её сын Петр в двадцать с небольшим тоже прошёл психоанализ и явно испытывал противоречивые чувства к вечно отсутствующей матери. Обсуждая с ней эти чувства в апреле 1932 года, он заявил: «Если бы я провёл с тобой ночь, это, может быть, меня бы вылечило». Мари, как обычно, тут же посоветовалась с Фрейдом, признавшись, что и сама ненадолго допустила такую возможность. Фрейд предупредил её, что последствия инцеста могут оказаться «сильнее, чем мы склонны думать; тогда за проступком следует чувство вины перед тем, кто совершенно беспомощен».

Мари, очевидно, согласилась. По всей вероятности, она отвергла мысль о настоящем инцесте ещё до того, как написала Фрейду: как она отмечала, на следующий день после того, как Петр поделился с ней мыслями о ночи с ней, всякое искушение уступить ему, если оно и было, «угасло в объятиях Друга». К тому же пренебречь в этом случае советом Фрейда было бы на неё не похоже - а это, возможно, был один из редких случаев, когда он мягко предостерегал её об опасности следовать своим инстинктам.

Не во всём Фрейд и его царственная ученица соглашались. Самый серьёзный их спор касался бумажного следа, который Фрейд оставил у Вильгельма Флисса, берлинского отоларинголога, одного из самых ранних и, по его словам, «задушевных» друзей. Их дружба оборвалась в начале века, а в 1928 году Флисс умер. Но в конце 1936 года Мари услышала поразительную новость: вдова Флисса продала обширную переписку мужа с Фрейдом вместе с некоторыми приложенными к ней рукописями берлинскому книготорговцу Рейнхольду Шталю. Это означало, что то, что Фрейд считал сугубо частной летописью их переписки, по-прежнему существует и выставлено на продажу. Книготорговец связался с Мари, сообщив, что у него есть покупатель в Соединённых Штатах, но он предпочёл бы сохранить собрание в Европе. Когда Мари осмотрела одно письмо, чтобы проверить его подлинность, она сразу узнала почерк Фрейда.

У самого Фрейда записей этой переписки не было, и он предложил Мари разделить расходы на покупку собрания - Шталь просил за письма 12 тысяч франков, что составляло 500 долларов. Как он ей объяснил, письма были «самыми интимными, какие только можно вообразить», и касались всего - от ранних профессиональных неудач до того, как после рождения пятого ребёнка они с Мартой год воздерживались от близости, чтобы дать ей передышку перед рождением Анны, их последнего ребёнка. Фрейд заявлял, что не хочет, чтобы «хоть одно из них стало достоянием так называемых потомков». Его целью было заполучить их и уничтожить.

Но у Шталя были иные намерения - как и у Мари. «Письма и рукописи были предложены мне при условии, что я ни за какую цену не перепродам их семье Фрейда, ни прямо, ни косвенно, из опасения, что материал, столь важный для истории психоанализа, будет уничтожен», - писала она Фрейду. Она готова обсудить, как ими распорядиться, - в том числе, возможно, закрыть к ним доступ на определённый срок после его смерти, - добавляла она, но «испытываю странное отвращение к мысли об уничтожении ваших писем и рукописей».

Предвидя его возражения, Мари соединила лесть с доводами разума, чтобы убедить его в своей правоте. «Вы сами, дорогой Отец, быть может, не чувствуете всего своего величия, - писала она. - Вы принадлежите истории человеческой мысли, как, скажем, Платон или Гёте». Ничто в письмах, уверяла она, «не могло бы вас умалить!» Она указывала, что любые слабости, которые они могут обнаружить, лишь помогут представить его более полным, живым человеком. «Вы сами, дорогой Отец, писали в своих прекрасных трудах против идеализации великих людей любой ценой».

Мари положила письма в сейф банка Ротшильда в Вене, но аншлюс вынудил её перевезти их в Париж, где бóльшую часть войны они хранились в датской миссии. В 1945 году собрание наконец переправили в Лондон. Перед смертью шестью годами ранее Фрейд, по-видимому, признал, что решение Мари сохранить письма было верным, и никогда не ставил ей в вину её непослушание в этом деле.

Что же до Мари, то ею, несомненно, двигала полная преданность Фрейду. Уладив вопрос с перепиской Флисса, она писала ему: «Величайшее счастье моей жизни - то, что я встретила вас, что я была вашей современницей». И как ни стремилась она спасти его бумаги, вскоре ей предстояло показать, что ещё больше она стремится спасти его самого.

Глава 8

«Жестокая боль»

Максу Шуру было всего восемнадцать, и он только поступил на медицинский факультет Венского университета, когда в 1915 году кузина, не сумевшая из-за войны вернуться домой в Женеву, уговорила его ходить вместе с ней на лекции Фрейда. Цикл бесед, который Фрейд читал по субботним вечерам в 1915–1916 и 1916–1917 учебных годах, позднее был издан как «Лекции по введению в психоанализ» - собрание, ставшее чем-то вроде базового учебника новой науки. Но тогда, как вспоминал Шур, бóльшую часть публики на этих субботних лекциях составляли «студенты Фрейда, „интеллектуалы“ и любопытствующие». Студентов-медиков вроде Шура среди них было сравнительно немного - по всей вероятности, из-за всё ещё весьма неоднозначного отношения профессуры медицинского факультета к учению Фрейда.

Студенты-медики должны были получить подпись Фрейда в своём «индексе» - зачётной книжке, - чтобы им засчитали посещение. Когда Шур подошёл за подписью впервые, его поразило, что Фрейд с каждым студентом обменивается несколькими словами и пожимает руку. «Сильнее всего впечатлял пытливый взгляд, сопровождавший рукопожатие, - писал он. - Мог ли я тогда помыслить, что через тринадцать лет стану личным врачом Фрейда». Не мог он помыслить и о том, что ему будет поручено заботиться о Фрейде в последнее десятилетие его жизни, - и это сделает его важнейшим членом спасательной команды Фрейда, а заодно, не считая Анны и остальной семьи, единственным евреем в ней.

На той первой лекции и на всех последующих, которые он неизменно посещал, Шур был заворожён выступлениями Фрейда. Тот говорил без всяких записей, но сказанное им почти не

приходилось править для печати. Шур признавался, что тогда ему было трудно понять всё, о чём говорил Фрейд, но его поражали «полная гармония содержания и подачи, создававшая впечатление», и «затаённое молчание» публики на протяжении двух часов, пока он держал речь. «Нелегко объяснить, почему это было таким единственным в своём роде, незабываемым переживанием», - писал он. Но таким оно, несомненно, и было.

Шур избрал специальностью внутренние болезни, а не психологию, но в 1924 году прошёл личный анализ, стремясь лучше понять себя и понятия, которые излагал Фрейд. Три года спустя старший коллега попросил его взять кровь у одной из своих пациенток - Мари Бонапарт, в очередной раз приехавшей в Вену. Эта встреча вывела его на путь совершенно новых отношений с Фрейдом.

Во время их первой встречи, вспоминал Шур, Бонапарт «была приятно удивлена, познакомившись с терапевтом психоаналитической ориентации». Когда в 1928 году во время очередного визита в Вену она тяжело заболела, Шур несколько недель лечил её, взяв на себя весь уход. Впечатлённая его интересом к психологии, она убедилась, что он и в высшей степени знающий врач с располагающей личной манерой. А заодно, как выяснилось, решила, что как раз такой человек нужен и Фрейду, чтобы взять на себя заботу о его здоровье.

Фрейда лечили разные врачи и специалисты, но уже несколько лет у него не было личного врача, который следил бы за всеми сторонами его сложного лечения и согласовывал их. Это место нужно было занять, настаивала Бонапарт, и она горячо рекомендовала Фрейду Шура. На её взгляд, он идеально подходил для этой роли.

Шур более чем жаждал получить это место, но понимал, что Фрейд может счесть его слишком молодым и неопытным: ему был тогда всего тридцать один год. То, что он слушал все лекции Фрейда, говорило в его пользу, но собственный анализ он ещё не вполне завершил. Для такого пациента было важно, чтобы его

личный врач, если уж он у него будет, не поверхностно понимал его взгляды и учение. Динамика отношений между молодым врачом и «такой возвышающейся отцовской фигурой, какой был он», отмечал Шур, должна была быть чрезвычайно деликатной.

Поддавшись уговорам Бонапарт, Фрейд согласился его испытать. На первой встрече в конце 1928 года Фрейд сразу успокоил Шура, похвалив то, как он лечил Мари. «В этой встрече мудрого учителя с молодым врачом, более чем на сорок лет моложе его, не было ни тени снисходительности», - вспоминал Шур. Но прежде чем перейти к истории своих болезней, Фрейд изложил основные правила их отношений.

Прежде всего он настаивал, чтобы Шур всегда говорил ему полную правду о его состоянии, поскольку «с вашими предшественниками был кое-какой неудачный опыт». Это был намёк на гнев Фрейда из-за того, что в 1923 году, когда ему удалили опухоль челюсти, его тогдашний личный врач Феликс Дойч поначалу не сказал ему, что она злокачественная, - хотя сам Дойч понял это сразу. Пытаясь впоследствии оправдать это решение, Дойч утверждал, что Фрейд тогда был «недостаточно подготовлен» к диагнозу «рак». По словам Шура, Дойч «был, по-видимому, под впечатлением, будто Фрейд помышляет о самоубийстве», чего на самом деле не было. Поскольку пациент больше не доверял своему врачу, Фрейд и Дойч расстались.

Как вспоминала жена Дойча, Хелена, «Фрейд сердился, потому что считал, что муж недооценил его силы». Не смягчил Фрейда и Джонс, с которым Дойч поделился этим, по выражению валлийца, «смертельнейшим секретом». Когда Джонс позднее признался, что Дойч рассказал о диагнозе ему и ещё нескольким людям, поначалу держа самого пациента в неведении, Фрейд «со сверкающими глазами» спросил: «По какому праву?» О прочности уз между Фрейдом и Джонсом свидетельствует то, что это признание не разрушило их дружбы.

Фрейда удовлетворило заверение Шура, что тот всегда будет с ним честен. Однако у него была и другая серьёзная забота,

побудившая его поставить второе условие. «Обещайте мне ещё одно: когда придёт время, вы не дадите мне страдать понапрасну», - заявил он. По словам Шура, он сказал это «с величайшей простотой, без тени пафоса, но и с полной решимостью». Поскольку многочисленные операции на челюсти и непрестанные мучения с протезом постоянно причиняли ему боль, Фрейд хотел гарантии, что Шур исполнит его желание положить конец жизни, когда она станет невыносимой. Они пожали друг другу руки в знак согласия.

По словам Джонса, «Шур был идеальным выбором врача. Он установил превосходные отношения с пациентом, а его внимательность, неутомимое терпение и находчивость были непревзойдёнными». Отношения эти были обоюдными. «В кратчайший срок он [Фрейд] выказал готовность установить отношения пациента и врача, основанные на взаимном уважении и доверии», - отмечал Шур.

Не менее важно, что новый врач Фрейда быстро завоевал доверие и уважение остальной семьи, особенно Анны, которая каждый день была главной сиделкой отца. «Они с Анной составили идеальную пару стражей, оберегавших страдальца и облегчавших его многочисленные муки», - писал Джонс.

В начале этих отношений пациента и врача возникла лишь одна мелкая шероховатость. Фрейд сказал Шуру, что не хочет никаких профессиональных любезностей в виде скидок за его услуги. Когда Шур представил счёт за 1929 год - первый полный год, в течение которого он наблюдал своего знаменитого нового пациента, - Фрейд тут же пожаловался, что счёт слишком мал. «Мне кажется, вы отступили от договора, на котором основаны наши официальные отношения, - писал он. - Я не желаю оплачивать этот счёт и предлагаю вам прислать мне более подобающий».

* * *

Первой задачей Шура было узнать всё, что можно, об истории болезней нового пациента. Фрейд, почти навязчиво тревожившийся

о своём здоровье даже в гораздо более молодые годы, был более чем готов подробно обсуждать эту тему. Но, чтобы обо всём переговорить, им понадобилось несколько встреч, поскольку операции на челюсти и протез мешали Фрейду подолгу говорить.

Помимо челюсти, обсуждать было что. Фрейд был подвержен обморокам, всегда, как записал Шур, в ситуациях «острого стресса». Знаменитый такой эпизод произошёл во время обеда с Карлом Юнгом в Мюнхене в ноябре 1912 года, когда напряжение между ними вело к открытому разрыву. Тогда Фрейд уверился, что растущее несогласие Юнга с его взглядами означает, будто тот питает к нему желание смерти. По словам Джонса, тоже присутствовавшего на обеде, Фрейд внезапно «упал на пол в глубоком обмороке». Юнг поднял его и уложил на кушетку, где тот быстро пришёл в себя. В последующем письме Юнгу Фрейд, всё ещё надеявшийся уладить разногласия, приписал этот случай «кусочку невроза».

В 1890-е годы, регулярно переписываясь с Флиссом, Фрейд часто сообщал ему и о других своих недугах. Он жаловался на «приступы мигрени» и - как будет и в последующие десятилетия - на желудочно-кишечные расстройства. Главной его тревогой было то, что он называл «сердечной бедой». Всё это порой подтачивало его дух. В письме Флиссу от 19 апреля 1894 года он писал: «Мучительно для медика, который каждый час дня бьётся над пониманием неврозов, не знать, страдает ли он сам обоснованной или ипохондрической депрессией».

На основании сведений, предоставленных Фрейдом, Шур заключил, что тот перенёс «повторные приступы тахикардии» - частоту сердечных сокращений свыше ста ударов в минуту - с «жесточайшей» аритмией. Эти приступы, длившиеся порой по нескольку дней, вызывали сильную боль в груди и жжение, отдававшее в левую руку, и повергали его в самые мрачные настроения. Из-за них же он отказался от восхождений в горы, как писал Флиссу, «с тяжёлым сердцем». И тут он всё же не удержался от игривого замечания: «Как многозначительна разговорная речь!»

Но самой серьёзной - и самой долгой - бедой был рак челюсти. После первой операции в 1923 году Фрейду провели несколько сеансов рентгенотерапии, у которой в столь чувствительной области было мало шансов на успех. «Облучение, которое получил Фрейд, лишь повредило ткани и вызвало жестокую боль», - заключал Шур.

Изучив обширные записи Ганса Пихлера, челюстного хирурга, лечившего Фрейда с 1923 года до самого его отъезда из Вены в 1938-м, Шур обнаружил, сколько времени и сил уходило на то, чтобы совладать с болью в этой многострадальной области. «Я обратился к записям Пихлера за 1926 год - „типичный“ год без крупных хирургических вмешательств, лишь с непрестанными попытками добиться минимального удобства», - писал Шур. В тот год Фрейду исполнилось семьдесят. «Сорок восемь визитов в кабинет, одна биопсия, две прижигания и постоянные эксперименты с тремя разными протезами, включавшие попытки сохранить оставшиеся зубы».

И всё же, став личным врачом Фрейда, Шур был ободрён первыми результатами обследования. Хотя расстройства пищеварения он приписал «раздражённой спастической толстой кишке», которую Фрейд старался успокоить во время регулярных поездок на воды в Карлсбад, новости были вовсе не только плохими. «Состояние Фрейда, если не считать полости рта, было поразительно хорошим, - сообщал Шур. - Он приучил себя хорошо питаться, несмотря на огромные трудности с жеванием и глотанием. Сердце не обнаруживало последствий стенокардических приступов. Заметного увеличения сердца и аорты не было. Несмотря на заядлое курение, у него не было ни хронического бронхита, ни эмфиземы лёгких».

Шур называл Фрейда «образцовым пациентом», который редко на что-либо жаловался. Врач объяснял, что у них сложилась «бессловесная форма общения», при которой «лишь изредка измученный взгляд, умоляющий жест выдавали его страдания». Фрейд относился к нему как к члену большой семьи, добавлял он,

всегда проявляя душевную щедрость. «Эта способность любить, отдавать, чувствовать осталась с ним до конца», - сообщал Шур.

Хотя Фрейд, понятное дело, был поглощён своим здоровьем, с самого начала он сознательно старался проявлять и личный интерес к жизни молодого врача. Когда летом 1930 года Шур пригласил его на свою свадьбу в Вене, Фрейд прислал ему письмо из Берлина, где проходил очередное лечение, сообщая, что приехать не сможет, - и красноречиво пожелав молодым счастья. «Помня о редкой доброте и добросовестности, которые вы проявили, заботясь об остатках моего телесного „я“, я хотел бы наделить мои пожелания силой, способной обеспечить их исполнение», - писал он.

Фрейд не обошёл и тему своего здоровья, но воспользовался ею, чтобы вновь выразить удовлетворение тем, как Шур взял на себя заботу о нём. «Сейчас вряд ли уместно утомлять вас медицинскими отчётами, - заключал он. - Хочу лишь сказать, что не забуду, как часто ваши диагнозы в моём случае оказывались верными, и что поэтому я послушный пациент, даже когда мне это нелегко».

* * *

Каким бы покладистым пациентом ни хотел быть Фрейд, у него была одна серьёзная зависимость, которую он не раз пытался и не мог побороть, - курение. Как отмечал Шур, «я сразу понял, что это область, где, как сознавал и сам Фрейд, он не мог установить „господство Я“». Дело было не в том, что он не признавал опасности курения: Фрейд полагал, что ранние сердечные недуги были, по крайней мере отчасти, следствием этой привычки. А операции на челюсти служили мучительным напоминанием о растущей цене, которую он за неё платит. И всё же он противился мысли, что может жить - и особенно работать - без любимых сигар.

12 февраля 1929 года, вскоре после того как Шур стал его личным врачом, Фрейд, отвечая на анкету, кратко изложил историю своего курения. «Я начал курить в 24 года, сначала сигареты, но

вскоре исключительно сигары, курю и теперь (в 72½) и очень неохотно отказался бы от этого удовольствия», - писал он. Когда ему было за тридцать, сообщал он, он больше года не курил из-за проблем с сердцем, хотя пришёл к выводу, что им, возможно, способствовали и затянувшиеся последствия инфлюэнцы. «С тех пор я верен своей привычке или пороку и полагаю, что сигаре обязан значительным усилением работоспособности и облегчением самообладания». И добавлял: «Образцом мне в этом был отец, заядлый курильщик, остававшийся им до 81 года», - года его смерти.

Целой череде друзей и врачей он доказывал, что курение необходимо для его продуктивности. «Фрейд утверждал на основании собственного опыта - и я впоследствии мог это лишь подтвердить, - что ему нужен никотин в периоды творческого писательства или подготовки к нему, - сообщал Шур. - А когда Фрейд не был в такой стадии?» Иными словами, курить ему нужно было всегда, потому что работал он всегда.

По мнению Фрейда, мастурбация была «первичной зависимостью», а «другие зависимости - от алкоголя, морфия, табака и т. д. - входят в жизнь лишь как её замена и как [симптом] отвыкания от неё». Это понимание связи между первичной и последующими зависимостями не помогло ему избавиться от привычки курить.

Просматривая медицинские документы, Шур наткнулся на заключения патологоанатома, исследовавшего ткани, иссечённые у Фрейда во рту при очередных операциях, и без обиняков указывавшего на причину его бед. «Особенно бросается в глаза на этот раз обширное воспаление, охватывающее всю слизистую оболочку и являющееся следствием чрезмерного курения», - писал он в одном из заключений.

Но когда Шур показывал Фрейду такие данные и медицинскую литературу, предупреждавшую об опасности никотина, тот лишь пожимал плечами. Однажды Фрейд даже предложил ему гаванскую сигару, которую Шур почёл себя обязанным принять и раскурить.

Увидев, что Шур не курильщик и удовольствия не получает, он заметил, как дороги такие прекрасные сигары, - и больше никогда ему их не предлагал.

В письмах берлинскому коллеге Максу Эйтингону Фрейд рассказывал о своих отрывочных попытках избавиться от привычки. «Вот уже шесть дней я не выкурил ни одной сигары, и нельзя отрицать, что этим отказом я обязан своему хорошему самочувствию, - писал он 1 мая 1930 года. - Но это грустно». Последующие письма свидетельствовали, сколь недолговечны были такие отречения: вскоре он уже просил Эйтингона и дальше присылать ему сорта сигар, которых не мог найти в Вене. «Я снова грешу больше», - писал он, добавляя, что запас сигар у него «совсем на исходе».

Вскоре снова взялся за работу и челюстной хирург Пихлер, удаляя новые очаги, которые то и дело обнаруживали он сам или Шур. Некоторые были предраковыми, но выглядели весьма угрожающе. Отметив в апреле 1931 года появление новой «мягкой, неровной, местами тёмной» опухоли, которая «предположительно выросла быстро и сильно», Пихлер рекомендовал новое «иссечение и пересадку тканей». В письмах Эйтингону в том же месяце Фрейд признавал «постоянное ухудшение условий вокруг протеза и заметный упадок общего состояния».

Однако уже через девять дней в письме он снова вернулся к любимой теме. «Насчёт сигар хочу ещё сообщить, что маленькие - Pearl - оказались весьма удовлетворительными», - писал он, добавляя, что запас снова нужно пополнить. Если обычный поставщик Эйтингона «не может доставить Soberanos, я готов принять довольно хорошие Reina-Cabana, которые когда-то предлагались в качестве замены», - заключал он.

Эйтингон исполнял его просьбы, но с неохотой, которой не скрывал. В ответах Фрейд старался дать Эйтингону понять, что вполне сознаёт, на какой размен идёт. «Ваш вопрос о сигарах побуждает меня признаться, что я снова курю, - писал Фрейд 1 июня 1931 года. - Учитывая мой возраст и сумму неудобств, которые мне

приходится сносить изо дня в день, воздержание и связанная с ним перспектива [предотвратить новые очаги] не кажутся мне оправданными».

Уильям Буллит, работавший с Фрейдом над книгой о Вудро Вильсоне, пришёл в ярость, обнаружив, что соавтор так и не бросил курить. Буллит указывал, что и сам курил сигары, но сумел избавиться от этой привычки. Шур ценил подобные попытки убедить Фрейда последовать этому примеру, но, похоже, смирился с их тщетностью. Буллит «добился так же мало, как и все мы», писал врач.

* * *

Временами отношение Фрейда к курению могло создать впечатление, будто он почти беспечен в отношении своего здоровья и куда больше озабочен удовольствием от сигар, чем собственным долголетием. Во времена дружбы с Вильгельмом Флиссом, который тоже пытался уговорить его бросить курить, Фрейд в письме от 17 ноября 1893 года прямо заявил: «Я не подчиняюсь вашему запрету курить; неужели вы думаете, что такое уж счастье - долгая жалкая жизнь?»

Такие заявления обманчивы: он был полон решимости держаться за свои простые, хоть и опасные удовольствия - и вместе с тем остро сознавал свою смертность, горячо надеясь на жизнь, которую можно растянуть как можно дольше, прежде чем она станет жалкой. Это означало постоянно думать о собственной смерти, высчитывать, когда она может наступить, и как следует к ней готовиться.

Где-то в 1920-е годы он набросал своим изящным петлистым почерком проект извещения о собственной смерти, который ныне хранится среди его бумаг в Библиотеке Конгресса. «хх 192х года на 7х-м году жизни здесь скончался проф. д-р Зигмунд Фрейд. Тело было кремировано хх (число)», - гласил текст, за которым следовал перечень членов семьи. Заканчивался он словами: «Вена, хх 192х».

Замысел состоял в том, чтобы жена или дети потом просто вписали вместо иксов нужное.

Задолго до того, как ему исполнилось семьдесят, Фрейд начал называть себя стариком. Даже когда он делал это с сарказмом, не оставалось сомнений, что он часто так о себе и думал. 7 мая 1900 года, на следующий день после дня рождения, он писал Флиссу: «Что ж, мне и правда уже 44 года, я довольно потрёпанный старый еврей, как вы сами увидите…» Он, конечно, знал, что не потрёпан, и понимал, что на самом деле не стар, но последующая спешка, с которой он помазал Юнга в кронпринцы, будучи ещё в полной силе, показывает, что он видел себя гораздо старше, чем был.

Это ощущение подпитывали мысли о смерти - или, точнее, попытки высчитать, сколько ему осталось. «Фрейда нельзя назвать невротиком с навязчивыми состояниями, но его поглощённость предполагаемой датой смерти носила характер навязчивой черты», - замечал Шур.

Среди свидетельств в пользу этого вывода - письмо Фрейда Юнгу от 16 апреля 1909 года, позволяющее подробно заглянуть в ход его мыслей. «Несколько лет назад я обнаружил в себе убеждение, что умру в возрасте между 61 и 62 годами, что тогда показалось мне очень далёким сроком. (Сегодня до него всего восемь лет), - писал он. - Потом я поехал с братом в Грецию, и было прямо-таки жутко, как часто число 61 или 60 в сочетании с 1 или 2 попадалось на всевозможных пронумерованных предметах, особенно связанных с транспортом. Это я добросовестно отмечаю. Меня это угнетало…»

Он признавал, что мысль, будто он умрёт в этом возрасте, - «суеверное представление», и предполагал, что Юнг спишет его размышления на «ещё одно подтверждение специфически еврейской природы моего мистицизма». Но он указывал, что они совпали «с убеждением, что „Толкованием сновидений“ я завершил дело своей жизни, что мне больше нечего делать и я могу с тем же успехом лечь и умереть».

Когда до предсказанного возраста смерти оставалось немного, Фрейд писал венгерскому коллеге Шандору Ференци в том же смиренном духе: «Суеверие, будто моя жизнь должна оборваться в феврале 1918 года, часто кажется мне вполне дружелюбной мыслью». Точный месяц он определил, прибавив к шестьдесят первому дню рождения девять месяцев, прошедших с его зачатия, - ещё одно свидетельство своеобразного метода вычислений, перенятого им некогда у Флисса.

До завершения дела жизни Фрейду было далеко, но какая-то часть его, похоже, рада была думать иначе. Когда в 1896 году умирал его отец, он писал Флиссу: «Кстати, состояние старика меня не угнетает. Я не завидую его заслуженному покою, раз он сам его желает. Он теперь почти не страдает и угасает пристойно и с достоинством».

В действительности же Фрейд не мог представить себя угасающим, пока у него хватало сил оставаться деятельным. «Я не могу спокойно думать о жизни без работы, - писал он 6 марта 1910 года Оскару Пфистеру, швейцарскому лютеранскому пастору, который был и психоаналитиком. - Работа и свободная игра воображения для меня одно и то же, ничто другое не доставляет мне удовольствия… Словами короля Макбета: умрём же в доспехах». Хотя операции на челюсти порой нарушали его распорядок, он всегда старался как можно скорее вернуться к привычному приёму шести пациентов в день.

Перевалив за шестьдесят второй день рождения, Фрейд придумал новую теорию о том, когда умрёт. И отец, и старший единокровный брат Эммануил, обосновавшийся в Манчестере и погибший в железнодорожной катастрофе в 1914 году, дожили до восьмидесяти одного с половиной года; Фрейд уверился, что смерть ждёт его в том же возрасте. Но, хотя он и перевёл в уме часы назад, он был далеко не уверен, что этот манёвр удался. В письме Ференци к своему шестьдесят пятому дню рождения в 1921 году он признавался, что «мысль о смерти меня не покидает, и порой у меня

бывает впечатление, что семь моих внутренних органов борются за честь положить конец моей жизни».

Накануне семьдесят пятого дня рождения Фрейда в 1931 году Лу Андреас-Саломе описывала чувство беспомощности, охватившее её, когда она узнала, что Пихлер сделал ему очередную операцию на челюсти. «Вы не будете свободны от боли и телесных неудобств, и эта мысль совершенно невыносима, - писала она. - Хочется просто взяться и найти козла отпущения, на котором можно было бы выместить гнев. Понимаю, как это по-детски звучит, но всему есть предел… Я просто не могу написать как следует письмо ко дню рождения».

Фрейд ответил, что её письмо его удивило и встревожило, поскольку показывало, как яростно она негодует на его судьбу. «Почему? - спрашивал он. - Потому что я сделал ещё один шаг по каменистой тропе прочь из этого существования?» Он добавлял, что прежние случаи, когда он был на волосок от смерти, лишь подчёркивали очевидное: каждая такая процедура лишь отсрочивает неизбежное. «И правда, временный характер отсрочки и окончательный характер последнего ухода никогда не были мне так ясны, как теперь», - писал он.

Мари Бонапарт, тоже приславшей поздравления ко дню рождения, он ответил: «Я всё ещё совсем не в форме, и на этот раз я, несомненно, сделал огромный шаг прочь из круга жизни».

* * *

Фрейд свободно рассуждал о смерти, о порождённых ею обрядах и мифах - и о том, как большинство людей вовсе избегают этой темы. Смерть «естественна, неоспорима и неизбежна», писал он в «Современном о войне и смерти», очерках, созданных во время Первой мировой войны. «На деле, однако, мы привыкли вести себя так, будто это не так. Мы выказывали несомненную склонность отодвигать смерть в сторону, исключать её из жизни. Мы пытались её замолчать». Когда же молчать становится невозможно, добавлял

он, «мы обычно подчёркиваем случайные причины смерти - несчастный случай, болезнь, заражение, преклонный возраст; тем самым мы выдаём стремление низвести смерть из необходимости до случайности».

Все подобные попытки отрицать реальность смерти усиливаются, когда речь идёт о нас самих. «Собственную смерть представить себе и впрямь невозможно; и всякий раз, пытаясь это сделать, мы замечаем, что на самом деле продолжаем присутствовать в качестве зрителей, - писал он. - Поэтому психоаналитическая школа могла рискнуть утверждением, что в глубине души никто не верит в собственную смерть, или, иначе говоря, что в бессознательном каждый из нас убеждён в своём бессмертии».

Цена за приверженность этой иллюзии высока, утверждал Фрейд. «Жизнь беднеет, теряет интерес, когда нельзя рисковать высшей ставкой в игре жизни - самой жизнью. Она становится такой же мелкой и пустой, как, скажем, американский флирт, в котором с самого начала подразумевается, что ничего не произойдёт, - в отличие от континентального романа, где оба партнёра должны постоянно помнить о его серьёзных последствиях».

Написанный всего через шесть лет после поездки в Соединённые Штаты, этот пассаж вновь подчёркивает его снисходительный, даже презрительный взгляд на американскую жизнь. Но главная его мысль куда шире: всякий, кто хочет прожить полную, осмысленную жизнь, должен принять реальность смерти.

Как вспоминал Фрейд, о смерти его наставляла мать, когда ему было шесть лет. «От меня ожидали, что я поверю, будто все мы созданы из земли и потому должны вернуться в землю. Мне это не понравилось, и я выразил сомнение в этом учении». Чтобы убедить его, мать «потёрла ладони друг о друга - точно так же, как когда лепила клёцки, только теста между ними не было, - и показала мне черноватые чешуйки кожи, появившиеся от трения, как доказательство того, что мы созданы из земли».

С тех пор, заключал он, он принял мысль, выраженную в изречении «Ты должен Природе смерть», - слегка изменённой строке из шекспировского «Генриха IV»: «Ты должен Богу смерть». Как атеист, Фрейд не собирался взывать к Богу.

В книге 1927 года «Будущее одной иллюзии» Фрейд настаивал, что психология, а не то, что он называл ложными религиозными верованиями, даёт людям лучшее средство справиться с силами природы, к которым относятся болезни и «мучительная загадка смерти, против которой ещё не найдено и, вероятно, никогда не будет найдено лекарства». Задача состояла в том, чтобы освободить людей от «бессмысленной тревоги» перед тем, что им неподвластно. «Мы, быть может, по-прежнему беззащитны, но уже не безнадёжно парализованы; мы хотя бы можем реагировать».

В другой раз он вспомнил известное наставление «Хочешь мира - готовься к войне», чтобы предложить новую формулу: «Хочешь вынести жизнь - готовься к смерти».

Всё это вовсе не означало, что он преуменьшал ценность жизни, - совсем наоборот. «Я не мог оспорить бренность всего сущего… Но я оспаривал взгляд поэта-пессимиста, будто бренность прекрасного влечёт за собой утрату его ценности», - заявлял он в коротком очерке «Бренность». Именно мимолётность жизни делает её тем прекраснее, утверждал он. «Цветок, распускающийся лишь на одну ночь, не кажется нам от этого менее прелестным».

Вопреки своим утверждениям о том, что все отрицают реальность смерти, сам Фрейд никаких иллюзий на этот счёт не питал. Но он хотел и наслаждаться красотой жизни как можно дольше. Он ясно дал это понять, когда Шур осматривал его 6 мая 1933 года, в день его семидесятисемилетия.

В то время Хелена Шур, тоже врач, ждала их первого ребёнка. Срок уже прошёл, и супруги, понятно, тревожились, поэтому Фрейд велел Максу спешить к ней. «Вы уходите от человека, который не хочет покидать этот мир, к ребёнку, который не хочет в него приходить», - сказал он.

Ребёнок родился три дня спустя. Питер Шур, который вырастет в Соединённых Штатах и пойдёт по стопам родителей, изучая и практикуя медицину, с гордостью отмечал, что Фрейд почтил его рождение подарком - тремя австрийскими золотыми монетами. «Удивительно, но эти монеты до сих пор у меня», - сообщал он в 2013 году. Одну он оставил себе, а по одной отдал каждой из двух дочерей. Так внучкам Макса Шура будет напоминать о себе «связь Шура и Фрейда, которая по-своему, в малом, помогла творить историю», объяснял он.

На самом деле роль Макса Шура в саге о последнем десятилетии Фрейда была отнюдь не малой. Шур поддерживал здоровье Фрейда в таком состоянии, что тот смог - пусть и неохотно - задуматься о бегстве из Вены, когда жизнь его оказалась под несомненной угрозой и всё ещё явно стоила того, чтобы жить. Шур, распознавший эту опасность гораздо раньше своего знаменитого пациента, отложит и бегство собственной семьи, пока безопасность Фрейда не будет обеспечена.

Глава 9

«Политическая слепота»

На заре 1930-х годов разразилась Великая депрессия, вдохнувшая новую жизнь во многие радикальные политические движения, которые расцвели во время предыдущего экономического кризиса после Первой мировой войны, но к концу десятилетия выдохлись. В Германии нацистская партия Гитлера в 1928 году собрала голоса всего 2,6 процента избирателей, что дало ей двенадцать мест в парламенте и, казалось, подтверждало её статус маргинального движения; на выборах в сентябре 1930 года она получила 107 из 577 мест и стала второй по величине партией рейхстага после социал-демократов. В июле 1932 года нацисты набрали 37,3 процента голосов - безусловное относительное большинство, давшее им 230 мест. Сцена была готова для драматических событий, которые 30 января 1933 года вознесут Гитлера к власти.

Президент Германии Пауль фон Гинденбург, восьмидесятипятилетний генерал, приведший армию своей страны к поражению в Первой мировой войне, не знал, как справиться с подъёмом нацистов и нарастающим развалом Веймарской республики. Он поручил договориться о новом раскладе с враждующими политическими партиями Францу фон Папену, ненадолго занимавшему пост канцлера в 1932 году. Папен убедил Гинденбурга назначить канцлером Гитлера, удовлетворив чаяния его сторонников, а собственное назначение вице-канцлером должно было, по его расчёту, позволить ему держать в узде пламенного демагога, никогда прежде не занимавшего государственных постов. «Мы наняли Гитлера», - говорил Папен друзьям. В длинном перечне ошибочных суждений о Гитлере это суждение занимает первое место.

Для Фрейда Германия вовсе не была далёкой страной. Как и столь многие его венские современники, он отождествлял себя и с Австрией, и с Германией. В интервью немецко-американскому писателю Джорджу Сильвестру Виреку в 1926 году он заявил: «Мой язык - немецкий. Моя культура, мои достижения - немецкие. Я считал себя в интеллектуальном отношении немцем, пока не заметил роста антисемитских предрассудков в Германии и в Немецкой Австрии. С тех пор я предпочитаю называть себя евреем».

Хотя подобные высказывания показывают, что Фрейд остро ощущал ядовитые испарения, исходившие от Гитлера и нацистов, действовавших по соседству, первым его побуждением было преуменьшить опасность - и для Германии, и для Австрии. Летом 1923 года он получил письмо от молодого немецкого еврея, ветерана войны по фамилии Левенс, считавшего себя пылким патриотом, но испытывавшего противоречивые чувства к немецкому национализму. «Я посоветовал бы вам не растрачивать силы в бесплодной борьбе против нынешнего политического движения. Массовые психозы неуязвимы для доводов, - ответил Фрейд. - Именно немцам представился случай узнать это в мировой войне, но они, кажется, на это не способны. Оставьте их в покое».

Этот совет Фрейд дополнил более конкретным, личным наставлением: «Посвятите себя тому, что может возвысить евреев над всем этим безрассудством, и не обижайтесь на мой совет - он плод долгой жизни. Не слишком стремитесь примкнуть к немцам».

Это было больше чем предостережение против союза с немецкими националистическими партиями; в нём сказалась естественная склонность Фрейда уклоняться от прямого участия в политике и его скептицизм по отношению к революционным движениям вообще. Оно подчёркивало и его убеждённость в том, что людям нужно заглядывать внутрь себя - во многих случаях с помощью психоанализа, - чтобы найти свой путь в жизни. Политические крестовые походы и манифесты, считал он, скорее всего, предложат человеку лишь иллюзорные решения.

Когда в 1926 году его навестил Макс Истмен, редактор *The Masses*, большевистская революция всё ещё была предметом жарких споров. Истмен два года прожил в России и защищал новых правителей, что заинтриговало хозяина. «Вы верите в свободу, а там получаете прямо противоположное», - заявил Фрейд. Истмен предложил, как он позднее признавал, «бойкое объяснение»: диктаторские методы большевиков - лишь переходная фаза, за которой последует «более подлинная и всеобщая свобода».

Фрейда это не убедило. «Люди, которые собираются произвести свободу когда-нибудь в будущем, для меня всё равно что те, кто приготовит её для вас в райских кущах, - заявил он. - Я живу в этом реальном мире, прямо здесь. Только этот мир меня и интересует».

Когда Истмен спросил, как он определяет себя политически, Фрейд ответил: «Политически я просто ничто». Он, конечно, преувеличивал свою отстранённость от политических битв эпохи, но ненамного. Дело было не столько в отсутствии интереса, сколько в решимости держать политику на расстоянии, сосредоточившись на мире, созданном им самим.

* * *

«Реальный мир» Фрейда, особенно после многочисленных операций на челюсти, почти исключивших поездки, в основном ограничивался двумя квартирами в бельэтаже дома на Берггассе, 19. Американская поэтесса Хильда Дулиттл, более известная под псевдонимом Х. Д., переехала в 1933 году в Вену, чтобы пройти анализ у Фрейда, растянувшийся и на следующий год. Как и большинство пациентов и посетителей, она сразу заметила строгую упорядоченность его вселенной, включая назначенное ей расписание. Четыре дня в неделю она приходила к Фрейду с пяти до шести и один день в неделю - с двенадцати до часу.

С первого этажа каменная лестница вела на площадку с двумя дверями. «Правая была профессиональной дверью профессора;

левая - дверью семьи Фрейд», - отмечала Дулиттл. Такое устройство не давало смешивать Фрейда частного и Фрейда, лечащего пациентов. «Был профессор, который принадлежал нам [пациентам и ученикам], и был профессор, который принадлежал семье».

Другие посетители тоже замечали, насколько жилое и рабочее пространство отражало личность и вкусы Фрейда. «Берггассе, 19 - большой просторный дом, полный книг и картин, весь бельэтаж устлан теми толстыми роскошными коврами, в которых ноги тонут, как у верблюда в песке, - писал Истмен. - Я не удивился, увидев рядом с „Уроком анатомии“ Рембрандта, без которого ни один врачебный кабинет не узнаешь, картину „Кошмар“ - мерзкое чудовище с полузловещим смехом или ухмылкой, примостившееся на обнажённой груди спящей девушки».

То, что замечали посетители, часто отражало их собственное происхождение и ожидания. Если радикала Истмена особенно поразили пышные ковры, то Джозеф Уортис, американец, готовившийся к карьере психиатра, вспоминал совсем иные впечатления от начала своего анализа у Фрейда в 1934 году. Берггассе, 19, отмечал он, - «обычный дом в обычной части Вены». По тому же адресу находилась мясная лавка, располагавшаяся рядом с входом, откуда лестница вела к квартирам Фрейдов.

Этот вход «был обшарпан, как большинство подъездов Вены в то время», продолжал Уортис. Стены заставленной приёмной перед кабинетом Фрейда «были увешаны фотографиями, дипломами и почётными степенями из многих стран». Среди фотографий были групповые снимки Фрейда и Юнга с американскими хозяевами во время визита в Университет Кларка в 1909 году, не оставлявшие сомнений, что он гордится оказанным ему там признанием - несмотря на своё вечное ворчание о Соединённых Штатах. Были там и книги на многих языках, «многие с лестными дарственными надписями Фрейду». Всё это свидетельствовало о достижениях и международной славе Фрейда.

Для новичков вроде Уортиса Фрейд мог быть фигурой устрашающей. Молодой американец называл его «моим нынешним

господином и повелителем», который восседал, «как суровый ветхозаветный Иегова», и, казалось, не прилагал особых усилий, чтобы выказать гостеприимство или ободрить. Пока Уортис лежал на кушетке и говорил, Фрейд, как всегда сидевший позади, чтобы не смотреть пациенту в лицо, то и дело жаловался, что тот говорит недостаточно громко и внятно. «Вы всё время бормочете, как все американцы, - говорил он. - Полагаю, это выражение общей американской распущенности в общении». Он считал, что это может быть и формой сопротивления лечению. У Уортиса было объяснение попроще: он был убеждён, что Фрейд «немного туговат на ухо, но не признаётся в этом».

Фрейд был педантичен и в отношении пунктуальности. «Герр профессор всегда *sehr pünktlich* - очень пунктуален - во всём», - предупредила Уортиса горничная, когда тот явился впервые. Этим наставлением Уортис порой пренебрегал, и Фрейд тоже приписывал это его бессознательному сопротивлению лечению.

Столь же бескомпромиссен он был и в вопросах оплаты, особенно когда речь шла об американцах и других, с кого брали по высшему тарифу. Уортису, студенту, пришлось убеждать Фрейда, что его стипендии на изучение психоанализа хватит на лечение у самого основателя. Фрейд предложил ему вместо себя дочь Анну, которую назвал «очень хорошим аналитиком» и куда более доступной по цене. Уортису пришлось срочно добиваться от спонсоров стипендии подтверждения, что замена не нужна, и он не без раздражения отмечал, что Фрейд «не желал начинать, пока не будет улажен денежный вопрос».

И всё же при всей своей строгости герр профессор сдабривал свои наблюдения вспышками язвительного юмора. Во время сеансов обычно присутствовала его чау-чау, тихо лежавшая или сидевшая рядом. Однажды её оставили за дверью, и она стала в неё скрестись. Фрейд впустил её, она улеглась на ковёр и тут же принялась вылизывать себе срамные места. Не сумев её остановить, Фрейд заявил: «Совсем как психоанализ».

Несмотря на первоначальный скептицизм, Фрейд потеплел к Уортису, как и ко многим из тех, кто приходил и ради анализа, и ради того, чтобы учиться его методам. «Ученик мне в десять раз милее невротика», - со смехом сказал ему Фрейд.

Фрейд бывал откровенен и в том, что касалось его личных взглядов на предметы, далёкие от психоанализа. Когда на него наседали, он излагал их так, что это опровергало его слова Истмену, будто политически он «ничто» и ничего не знает о таких грандиозных событиях, как большевистская революция. «Право, для меня это всё *terra incognita*. Я ничего об этом не знаю», - настаивал он. И всё же он метко возражал на наивное повторение Истменом коммунистической пропаганды о якобы происходящем переходе к бесклассовому обществу.

Уортису, который, подобно Истмену, принимал бóльшую часть тогдашней левой риторики за чистую монету, он ещё откровеннее раскрыл ход своих мыслей. «Не думаете ли вы, что за Русской революцией стоит много достойного восхищения идеализма?» - спросил Уортис. Фрейд ответил: «Конечно, но это пустой идеализм, он основан на туманных абстракциях… У человека должен быть стимул хорошо работать. Нельзя рассчитывать, что страна проживёт на пустом идеализме. Человек хочет что-то получать за свою работу». А главное, добавил он, «коммунизм обходится интеллектуальной свободе слишком дорого. Коммунизм означает интеллектуальную диктатуру; он несовместим с психоанализом, потому что слишком догматичен».

Нисколько не оправдывался Фрейд и в своей поддержке альтернативной системы. «Капитализм меня вполне устраивает, - говорил он. - Я считаю изобретение денег великим культурным достижением», - хотя и признавал, что «производство и распределение богатства следовало бы регулировать удовлетворительнее». Но он настаивал, что государство не должно подменять частное предпринимательство. «Всё, чем управляет государство, плохо», - заявлял он, указывая, что итальянское государство производит отвратительные спички: «Три штуки

изведёшь, пока прикуришь». Тема была ему близка, как и австрийская табачная монополия, выпускавшая такой скверный табак, что за хорошими сигарами приходилось обращаться в другие места.

Когда Уортис указал, что американское государство хорошо управляет почтой, Фрейд не согласился. «Может быть, - сказал он, - но уверяю вас, частная фирма справилась бы не хуже».

В подобных беседах Фрейд вновь показывал, что его популярный образ революционного мыслителя в своей области часто расходится с его традиционными взглядами на множество других предметов. Уверенность в себе позволяла ему и не преклоняться машинально перед модными мнениями момента, особенно в среде интеллектуалов.

Уортис отмечал, что Фрейд оказался «на удивление консервативен в вопросах морали», и пытался бросить ему вызов, доказывая необходимость равенства полов в браке.

«Это практически невозможно, - ответил Фрейд. - Неравенство должно быть, и превосходство мужчины - меньшее из двух зол». Высокий уровень разводов в Америке он объяснял тем, что многие мужья и жёны путаются в своих ролях. «В Европе всё иначе: мужчины ведут, и так и должно быть», - говорил он. И всё же Фрейда влекло к сильным, интеллектуально напористым женщинам, таким как Лу Андреас-Саломе и Мари Бонапарт, которые отнюдь не были подчинены мужчинам.

Уортис спросил его и о том, почему к гомосексуальности относятся так враждебно. «Так было всегда, даже в Древней Греции», - ответил Фрейд, объяснив, что в каждом есть гомосексуальный компонент. «Люди вытесняют собственную гомосексуальность, и если вытеснение достаточно сильно, они занимают враждебную позицию».

Он называл гомосексуальность «чем-то патологическим» и «задержкой развития», но предостерегал от злоупотребления психоанализом в таких случаях. «Лечить можно пытаться лишь тех гомосексуалистов, которые хотят измениться», - говорил он. И без

тени неодобрения добавлял: «Нередко бывает, что начинаешь анализ с гомосексуалистом, а тот находит такое облегчение в том, чтобы быть и говорить таким, какой он есть, что бросает анализ и остаётся гомосексуалистом».

В раннем исследовании пациентки, известной как Дора, Фрейд изложил свои взгляды подробнее. «Неопределённость границ того, что называют нормальной половой жизнью, если принять во внимание разные расы и разные эпохи, уже сама по себе должна охладить пыл ревнителя, - писал он. - Нам не следует забывать, что извращение, которое нам всего отвратительнее, - чувственная любовь мужчины к мужчине - не только терпелось народом, настолько превосходившим нас культурой, как греки, но и было наделено у них важными общественными функциями».

Хотя употребление Фрейдом слова «извращение» режет слух современному читателю, он имел в виду, что таково определение общества; его собственные представления были куда сложнее. «Половая жизнь каждого из нас в небольшой степени - то в одну, то в другую сторону - выходит за узкие рамки, установленные как норма», - заявлял он.

Как и многих его пациентов, Фрейда нелегко было отнести к какой-либо категории: он всегда прокладывал собственный курс.

* * *

Одна из причин такой уверенности состояла в том, что слава его всё ещё росла, а психоанализ прочно утвердился во многих странах. Вспоминая о жизни в Вене в начале 1930-х годов, молодой американский корреспондент Уильям Ширер, впоследствии сам ставший знаменитостью, писал: «Психоанализ тогда врывался в мир, и Фрейд был его пророком. Он, несомненно, был гением и оказал внушительное влияние на двадцатый век, но не терпел никакой критики от людей, которых сам выучил и которые, бросая ему вызов, начинали отходить от него и подвергать сомнению

некоторые его теории и методы». Ширер имел в виду Карла Юнга, Альфреда Адлера и других, кто пошёл своим путём.

На самом деле фрейдовский психоанализ получил широкое признание ещё раньше, в межвоенный период, несмотря на внутренние распри. Психоаналитические общества и институты множились в Европе и Северной Америке, а теории и практика Фрейда обсуждались едва ли не повсюду. Они привлекали и немало подражателей, стремившихся нажиться на их популярности. Джонс обнаружил рекламу сомнительной «Английской психоаналитической издательской компании» с завлекательным призывом: «Хотите зарабатывать 1000 фунтов в год психоаналитиком? Мы покажем вам, как это делается».

Подобные проделки случались и в Соединённых Штатах. «К величайшему несчастью для репутации Фрейда, его теории с ужасающей лёгкостью поддаются использованию невежеством и шарлатанством», - писала *The New York Times* в 1926 году. Фрейд не считал такое подражание искреннейшей формой лести: он обличал тех, кто без должной подготовки утверждал, будто пользуется его методами. Но понимал, сколь тщетно пытаться помешать всем, кого он считал самозванцами, наживаться на его репутации.

И всё же в целом то, насколько психоанализ стал обычной темой разговоров, неопровержимо свидетельствовало о силе идей Фрейда. Свидетельствовало об этом и то, что они просачивались в литературу того времени.

Герберта Уэллса сегодня помнят в основном по научной фантастике, но он писал и комические романы о британском обществе. В 1922 году он издал «Тайники сердца», главный герой которого, сэр Ричмонд Харди, пытается разобраться в своих трудностях с женой и другими женщинами, путешествуя по стране с психиатром доктором Мартино. Харди - двойник Уэллса, а Мартино - заместитель Фрейда, с которым Уэллс впервые встретится в 1931 году. В начале путешествия доктор излагает свой подход. «Если беда в умственной сфере, зачем выходить за её пределы ради лечения? Разговор и мысль - вот ваши лекарства», -

заявляет он. Он изрекает и такие фрейдистские перлы, как «Проанализировать душевный узел - значит развязать его».

* * *

Ещё одним следствием растущей славы Фрейда было то, что с ним жаждали познакомиться другие знаменитости эпохи. В конце 1926 года Фрейд с женой Мартой поехали в Берлин навестить двух сыновей с семьями, живших там, и успели к Рождеству и Новому году. Это была первая поездка Фрейда туда после операции на челюсти более трёх лет назад. Они остановились у Эрнста, архитектора, и Альберт Эйнштейн воспользовался случаем, чтобы зайти вместе с женой до их возвращения в Вену 2 января 1927 года.

Фрейд и Эйнштейн беседовали два часа и явно получали удовольствие от общества друг друга. Фрейд описывал Эйнштейна, который был на двадцать три года моложе его, как человека «весёлого, уверенного в себе и приятного», не без иронии добавляя: «Он понимает в психологии столько же, сколько я в физике, так что беседа у нас вышла очень приятная».

На самом деле Эйнштейн, возможно, понимал в психологии больше, чем показывал, ведь его сын Эдуард, студент-медик Цюрихского университета, повесил портрет Фрейда у себя в спальне и пытался применять его теории для самоанализа. Младший из троих детей Эйнштейна от первого брака, Эдуард был хрупок и телом, и душой. «Порой трудно иметь такого важного отца, потому что чувствуешь себя таким неважным», - писал он незадолго до встречи отца с Фрейдом. Позднее он пытался покончить с собой; ему поставили диагноз «шизофрения», и он кончил дни в лечебнице под Цюрихом.

Довольный встречей с Эйнштейном, Фрейд размышлял и о различиях между их судьбами. «Счастливчику пришлось куда легче, чем мне, - отмечал он. - Его поддерживала длинная череда предшественников начиная с Ньютона, а мне пришлось в одиночку прорубать каждый шаг сквозь дремучие джунгли. Неудивительно,

что тропа моя не очень широка и что продвинулся я по ней недалеко». Невысказанным осталось то, что младший Эйнштейн в 1922 году получил Нобелевскую премию - честь, которой Фрейд, несмотря на многочисленные выдвижения, так и не удостоится.

* * *

Хотя после той единственной встречи в Берлине они больше не виделись, летом 1932 года Эйнштейн обратился к Фрейду за помощью. На фоне нового подъёма нацистов и других радикальных движений Международный институт интеллектуального сотрудничества при Лиге Наций предложил Эйнштейну выбрать другого видного человека, чтобы обменяться с ним мыслями о «самой настоятельной из всех проблем, стоящих перед цивилизацией», как он писал Фрейду. «Проблема такова: есть ли способ избавить человечество от угрозы войны?»

Эйнштейн называл себя пацифистом, а взгляды Фрейда далеко ушли от первоначальной поддержки своей стороны в Первой мировой войне - начиная с очерков 1915 года «Современное о войне и смерти», обличавших «слепую ярость» и неразборчивые разрушения той войны. Незадолго до того, как летом 1932 года он получил письмо Эйнштейна, Фрейд подписал воззвание, организованное французским романистом Анри Барбюсом, пацифистом и членом коммунистической партии, с призывом к медикам принять участие в конгрессе, имеющем целью предотвратить новую мировую войну. «Как стражи здоровья народов, мы возвышаем голос, предостерегая от новой бесконечной бойни, в которую толкают нации и последствия которой непредсказуемы», - говорилось в нём. Хотя Фрейд на этот конгресс не поехал, это было для него редкое соприкосновение с политической деятельностью.

Однако Фрейд не считал себя ни политическим деятелем, ни политическим мыслителем, а значит, Эйнштейну нужно было обратиться к нему так, чтобы задеть его главные интересы. Физик

признавался, что у него «нет понимания тёмных мест человеческой воли и чувства», и просил Фрейда «пролить на проблему свет ваших обширных знаний об инстинктивной жизни человека».

Эйнштейн добавлял, что самое очевидное решение - создание «наднациональной организации, правомочной выносить приговоры неоспоримой силы и добиваться безусловного подчинения их исполнению». Для этого требовалась бы «безоговорочная сдача» каждой нацией «в известной мере» своего суверенитета. Но он признавал, что «действуют сильные психологические факторы, парализующие эти усилия», в том числе лёгкость, с которой националистические страсти можно превратить в «коллективный психоз», ведущий к вооружённым конфликтам.

Эйнштейн нарочно уснастил письмо такими терминами, опасаясь, что Фрейд может уклониться, сославшись на то, что просьба слишком далеко выходит за пределы его компетенции. На самом деле Фрейду польстило это обращение, и вряд ли он отказал бы Эйнштейну по какой бы то ни было причине. Но в ответе Фрейд заявил, что вопрос об избавлении человечества от войны «застал меня врасплох» и что он «ошеломлён мыслью о моей (чуть было не написал: нашей) некомпетентности; ибо это показалось мне делом практической политики, подлинным предметом занятий государственного мужа».

Поняв, что Эйнштейн просит не политических предложений, а хочет понять, «как этот вопрос о предотвращении войны видится психологу», Фрейд постарался развить теории, о которых писал прежде, и обратиться к «сути дела», изложенной Эйнштейном в письме: к очевидным препятствиям на пути наделения какого-либо учреждения правом принуждать к миру.

«Конфликты интересов между людьми в принципе разрешаются обращением к насилию, - писал Фрейд. - Так обстоит дело и в животном царстве, из которого человек не вправе себя исключать». Новое оружие доказало, что ум важнее грубой силы, но конечная цель - устранить противника в любом споре - осталась прежней. Чаще всего это означало его убить, что к тому же

«удовлетворяет инстинктивное влечение», но в других случаях могло вести и к его порабощению. «Тут насилие находит выход не в резне, а в подчинении».

По его мнению, во всех людях действуют два инстинкта: один стремится сохранять и объединять, его называют «эротическим» или «сексуальным»; другой стремится разрушать и убивать - иначе инстинкт смерти. Вторя Эйнштейну, он утверждал, что войны можно предотвратить лишь при всеобщем согласии на «центральную власть, за которой будет последнее слово в каждом конфликте интересов», - и которая будет наделена «достаточной исполнительной силой».

Но Фрейд был ещё прямолинейнее Эйнштейна в выводе, что никакое такое учреждение не получит достаточного признания, чтобы выполнить свою задачу: «Слишком ясно, что националистические идеи, господствующие сегодня в каждой стране, действуют в прямо противоположном направлении… нет никакой вероятности, что нам удастся подавить агрессивные наклонности человечества».

Фрейд думал не только о нацистах и других правых группах; столь же пренебрежительно он отзывался и о большевиках, которые «стремятся покончить с человеческой агрессивностью, обеспечивая удовлетворение материальных потребностей и вводя равенство между людьми. Мне эта надежда кажется тщетной, - писал он. - Тем временем они усердно совершенствуют своё вооружение, а их ненависть к чужим - не последний из факторов, сплачивающих их между собой».

Хотя он упоминал о «пацифистах вроде нас», для которых война нестерпима, в письме Фрейд выглядел не вполне убеждённым сторонником пацифизма. «Нельзя огульно осуждать все формы войны», - заявлял он, пока почти каждая нация готовится «бессердечно истребить соперника». Это означало, что «все одинаково должны быть вооружены для войны».

Переписка была издана брошюрой в 1933 году, но Фрейд сознавал, что это не самое впечатляющее из его сочинений. Его

пессимизм относительно возможности покончить с войнами был вполне оправдан, и он раскрыл свои политические взгляды больше обычного, но не оправдал ожиданий читателей, хотевших получить от него хоть какие-то указания, как обуздать инстинкт смерти.

Понимая, что мало что добавил к первоначальным размышлениям Эйнштейна, Фрейд заметил, что эта переписка не принесёт Нобелевской премии ни ему, ни Эйнштейну, - колкая попытка пошутить, учитывая его болезненное отношение к премии, которая всё ускользала от него. В другой раз он назвал это «скучной и бесплодной так называемой дискуссией с Эйнштейном».

Всё это лишь подчёркивало, что для Фрейда психоанализ был центром его солнечной системы, а почти всё прочее - периферией. Он мог порой забредать дальше, как по просьбе Эйнштейна, но не удивлялся и заметно не огорчался, когда такие усилия давали скудные плоды. Его первым приоритетом было укреплять теорию и практику психоанализа, что бы ни происходило в политике и экономике. Именно этим он мерил свои успехи и неудачи.

* * *

Потому-то Фрейд и мог уделять столько времени и сил, казалось бы, мелким спорам с некоторыми учениками, пока Европа всё глубже погружалась в кризис. Шандор Ференци, его давний венгерский соратник, начал экспериментировать на сеансах с новыми приёмами, в том числе играя роль любящего родителя и проявляя к пациентам нежность. Это шло вразрез с требованием Фрейда избегать всяких эмоциональных уз между аналитиком и пациентом, и он предупреждал Ференци, что тот движется «в самых разных направлениях, которые, как мне кажется, не ведут ни к какой желательной цели». Встревоженный признаками назревающего разрыва, Ференци в конце октября 1931 года приехал в Вену, чтобы обсудить разногласия.

Разговор их, как всегда, был дружеским, но ничего не разрешил. Фрейд по-прежнему был недоволен новым курсом

Ференци, а Ференци не был расположен уступать, что ясно показал в письме через несколько недель после встречи. В ответе от 13 декабря 1931 года Фрейд столь же ясно изложил свои возражения. «Я вижу, что разногласия между нами сводятся к техническому вопросу, который вполне стоит обсудить, - писал он. - Вы не делали тайны из того, что целуете пациентов и позволяете им целовать себя; я слышал об этом и от одной своей пациентки».

Предвидя встречное обвинение, он добавлял: «Я, разумеется, не из тех, кто из ханжества или из уважения к буржуазным условностям стал бы осуждать маленькие эротические удовольствия такого рода». Но он доказывал, что Ференци может открыть дорогу куда более опасным практикам. «А теперь представьте, что получится, если вы опубликуете свою технику, - продолжал он. - Нет такого революционера, которого не вытеснил бы с поля ещё более радикальный. Найдётся немало независимых мыслителей в вопросах техники, которые скажут себе: зачем останавливаться на поцелуе? Конечно, продвинешься дальше, если добавить ещё и „ощупывание“, от которого, в конце концов, детей не бывает». И затем, противореча собственному утверждению, будто им движет не ханжество, он живописал «подглядывание и показывание» и «вечеринки с тисканьем» как следующий шаг, если этот процесс не остановить.

Для Ференци этот всеобъемлющий выговор, должно быть, стал потрясением. Но Фрейд настаивал, что его единственная цель - побудить его соблюдать основные правила поведения и не поддаваться искушению их как-либо подправлять. «До сих пор в нашей технике мы придерживались вывода, что пациентам следует отказывать в эротическом удовлетворении», - заявлял он. Максу Эйтингону в Берлин, тогдашнему президенту Международной психоаналитической ассоциации, Фрейд жаловался, что Ференци обижен, «потому что никто не в восторге, слыша, как он играет с пациентками в мать и дитя».

Всё это не привело к открытому разрыву, но отношения их заметно охладели - и оставались такими до смерти Ференци в Будапеште 22 мая 1933 года.

* * *

Как ни был Фрейд поглощён подобными внутренними спорами, он не мог не замечать более широкого экономического и политического кризиса в Европе, отбрасывавшего повсюду мрачную тень. Особенно заметен он был в Германии - стране, которая до тех пор играла важнейшую роль в распространении его учения и практики. Вместе с Карлом Абрахамом, умершим в 1925 году, многими из тех ранних успехов движение было обязано Эйтингону, сыну богатого коммерсанта, владевшего меховым магазином в Нью-Йорке. В 1920 году он стал одним из основателей и спонсором берлинской психоаналитической клиники, которая и лечила пациентов, и готовила психоаналитиков. Интерьер клиники спроектировал младший сын Фрейда, Эрнст, обосновавшийся в германской столице после войны.

Благодаря щедрости Эйтингона, финансировавшего Берлинский психоаналитический институт, психоанализ в Берлине процветал. По одному отчёту, с 1920 по 1930 год там провели 1955 консультаций, почти треть которых привела к психоанализу. Пациентов лечили девяносто четыре терапевта, бóльшая часть которых стала членами Международной психоаналитической ассоциации. По мере роста репутации институт притягивал начинающих психоаналитиков не только из Германии, но и из Британии, Франции, Швеции, Соединённых Штатов и других стран. Это давало эффект умножения, поскольку некоторые вернувшиеся домой выпускники основывали собственные институты.

Когда в 1929 году рухнула фондовая биржа, отец Эйтингона потерял состояние и через три года умер, - и Макс больше не мог делать щедрые взносы ни в берлинский институт, ни в «Ферлаг» - издательство фрейдовского движения в Вене. Даже продажи книг

Фрейда, служившие немалым источником дохода, резко упали. В январе 1932 года Эйтингон приехал к Фрейду в Вену обсудить будущее и берлинского института, и издательства. Его тревожили не только финансовые трудности, но и растущая сила гитлеровского нацистского движения, и он уже подумывал о возможном переезде в Палестину. Фрейд же был сосредоточен главным образом на финансовых трудностях, ещё не распознавая надвигающейся большей опасности. Поэтому он посоветовал Эйтингону как можно дольше сохранять берлинский институт, фактически призвав его оставаться на месте.

Чтобы удержать «Ферлаг» на плаву, управление им взял на себя старший сын Фрейда, Мартин; он попросил кредиторов об отсрочке платежей и сократил расходы. В апреле Фрейд написал воззвание о помощи к Международной психоаналитической ассоциации и национальным обществам. Поскольку примерно тогда же у Эйтингона случился, как это описывали, «лёгкий тромбоз сосудов мозга», за перевод, рассылку и дальнейшую работу взялся неизменно энергичный Эрнест Джонс. Фрейд отнюдь не надеялся, что в разгар мировой депрессии удастся многого добиться. «Я не жду от этого никакого результата, - утверждал он. - Быть может, мы лишь повторяем нелепый поступок того, кто спасает птичью клетку, когда горит весь дом».

Как отмечал Джонс, предсказание Фрейда не сбылось: на его воззвание последовал «немедленный и отрадный отклик», особенно из-за Атлантики. «Положение спасла щедрость американских коллег, заслуживающих за это всяческой похвалы», - сообщал он.

Хотя непосредственную угрозу банкротства удалось отвести, общие перспективы движения Фрейда - особенно для его практиков, по большей части евреев, и для евреев вообще - становились всё опаснее. Как ни не хотелось Фрейду задумываться о большой политической картине, совсем игнорировать её он не мог. Но ему по-прежнему хотелось держаться веры, что паниковать нет причин. Когда в 1930 году Буллит приезжал в Берлин работать

над книгой о Вильсоне, Фрейд сказал ему: «Нация, породившая Гёте, никак не может пойти по дурному пути».

Однако вскоре последствия почувствовала и его собственная семья. В 1932 году Оливер, который, как и Эрнст, обосновался в Берлине, лишился места инженера-строителя, и до конца пребывания в германской столице его пришлось содержать отцу. Ещё до прихода Гитлера к власти в январе 1933 года исход еврейских психоаналитиков из Европы начал набирать силу: одни искали новой жизни в Соединённых Штатах, другие в Палестине или где-то ещё.

Но Фрейд переезжать не собирался. Прежде всего это объяснялось его привязанностью к венской жизни и убеждением, что он слишком стар и болен, чтобы помышлять о чём-либо подобном. Это не означало, что он отвергал сионистское движение, привлекавшее всё больше внимания из-за усиления антисемитизма в Европе. В конце концов, вместе с Эйнштейном он входил в первый попечительский совет Еврейского университета в Иерусалиме и в принципе поддерживал идею найти новый дом для многих евреев. Как он писал в конце 1930 года иерусалимскому переводчику своих книг, «сионизм пробудил во мне сильнейшие симпатии». Это было «нечто, что нынешнее положение, по-видимому, оправдывает», добавлял он, хотя «хотел бы ошибаться на этот счёт».

Но чувства Фрейда к сионизму были противоречивее, чем он показывал. Годом раньше в Святой земле вспыхнуло насилие между арабами и евреями, унёсшее жизни 130 евреев. После этого Хаим Коффлер, венский представитель «Керен ха-Йесод» - организации, созданной сионистским движением для сбора средств в помощь еврейским переселенцам в Палестине, - написал Фрейду, прося его заявить о поддержке их дела. «Я не могу исполнить вашу просьбу, - ответил Фрейд в письме от 26 февраля 1930 года. - Кто хочет влиять на массы, должен дать им что-то волнующее и зажигательное, а моё трезвое суждение о сионизме этого не допускает».

Вежливо, но твёрдо Фрейд объяснял, что, хотя он сочувствует еврейским жертвам беспорядков, «в пробуждении арабского недоверия отчасти виноват беспочвенный фанатизм нашего народа». И шире: «Я не думаю, что Палестина когда-либо сможет стать еврейским государством или что христианский и исламский миры когда-либо согласятся отдать свои святыни под присмотр евреев. Мне показалось бы разумнее основать еврейскую родину на земле, менее отягощённой историей. Но я знаю, что столь рациональная точка зрения никогда не вызвала бы энтузиазма масс и финансовой поддержки богачей».

Коффлер надеялся совсем на другой ответ и написал на письме карандашом: «Не показывать иностранцам». По сведениям Национальной библиотеки Израиля, хранящей копию, письмо не публиковалось шестьдесят лет.

* * *

27 января 1933 года, за три дня до назначения Гитлера канцлером, Эйтингон снова приехал к Фрейду в Вену обсудить, чем это грозит их движению. К тому времени Джонс сменил Эйтингона на посту президента Международной психоаналитической ассоциации, но Фрейд по-прежнему полагался на Эйтингона, своего человека в Берлине, чтобы спасти в Германии всё, что можно. В письме от 3 апреля он убеждал Эйтингона держаться в Германии как можно дольше, признавая, что отголоски нацистского захвата власти ощущаются и в Вене. «Попыток посеять панику хватает, но я, как и вы, покину своё место лишь в самый последний момент, а вероятно, и тогда нет», - писал он.

Тогда избежать паники в Вене было, конечно, легче, чем в Берлине, где поджог рейхстага 27 февраля послужил предлогом для отмены гражданских свобод и наделения Гитлера всей полнотой диктаторской власти по безобидно названному Закону о чрезвычайных полномочиях. Как писал Фрейду Джонс 3 марта, «вы, должно быть, рады, что Австрия не часть Германии».

В новом порядке вещей антисемитизм стал официальной политикой, и одной из первых мишеней оказалась врачебная профессия. Неарийские врачи, в том числе психоаналитики, больше не могли участвовать в частных и государственных программах медицинского страхования, что фактически лишало их заработка. Эйтингона тоже вынудили оставить пост директора Берлинского психоаналитического института; его заменил Карл Бём, один из всего двух «арийских» членов правления.

К концу года Эйтингон эмигрировал в Палестину и сразу организовал Палестинское психоаналитическое общество. Бóльшая часть других еврейских психоаналитиков Германии тоже бежала за границу. В Лондоне Джонс помогал устраивать некоторые из этих отъездов и даже оплатил из своих сбережений переселение вдовы и дочери Карла Абрахама. Он регулярно советовался с Анной Фрейд в Вене, секретарём Международной психоаналитической ассоциации, и обращался к коллегам в других странах, чтобы и забить тревогу, и попросить помощи. В апреле он описал общее положение в письме Смиту Эли Джеллиффу, нью-йоркскому психоаналитику:

> У нас тут лихорадочное время с политическими беженцами. Около семидесяти тысяч успели выбраться из Германии, когда обрушился удар. Среди них бóльшая часть Германского психоаналитического общества… Преследования куда хуже, чем вам, по-видимому, кажется, и вполне оправдывают свою репутацию Средневековья.

Нацистская пропагандистская машина целилась не только в немецких психоаналитиков, но и в движение в целом - и в его основателя. «Психоанализ - внушительный пример того, что ничего хорошего для нас, немцев, никогда не может исходить от еврея, даже когда он [Фрейд] производит „научные достижения“, - писал в номере за август–сентябрь 1933 года журнал *Deutsche Volksgesundheit aus Blut und Boden* [«Немецкое народное здоровье из крови и почвы»]. - Даже если он дал нам 5% нового и, по видимости, хорошего, 95% его учения для нас разрушительны и губительны».

Вечером 10 мая тысячи студентов приняли участие в факельном шествии, завершившемся на площади напротив Берлинского университета. Там они подожгли огромную груду книг и всё подбрасывали новые тома. Это были книги авторов, которых нацисты ненавидели, - от Томаса Манна, Эриха Марии Ремарка и Лиона Фейхтвангера до Герберта Уэллса, Джека Лондона и Хелен Келлер. И, разумеется, в этом списке значился и Фрейд. Прежде чем его книги отправились в костёр, глашатай произнёс специально составленное пояснение: «Против разлагающего душу переоценивания половой жизни - во имя благородства человеческой души - предаю огню сочинения некоего Зигмунда Фрейда!»

Обращаясь к студентам, министр пропаганды Йозеф Геббельс заявил: «Душа немецкого народа снова может выразить себя. Это пламя не только освещает окончательный конец старой эпохи; оно озаряет и новую». Подобные сожжения книг прошли и в других немецких городах.

Первым побуждением Фрейда было обратить эти леденящие кровь зрелища в шутку. «Какой прогресс! - сказал он Джонсу. - В Средние века сожгли бы меня; ныне довольствуются сожжением моих книг». Как заметил его биограф Питер Гэй, «это, должно быть, наименее прозорливое из всех его острот».

Но хотя бы некоторые последствия Фрейд понимал - особенно для близких, всё ещё живших в Германии. Он одобрял решение Эйтингона и других коллег уехать, пока нацистский режим не начал ограничивать эмиграцию, особенно для евреев. И полностью поддержал решение обоих своих сыновей, живших в Германии, тоже бежать. В письме племяннику Сэмюэлу в Манчестер он сообщал, что для них «жизнь в Германии стала невозможной». Эрнст, архитектор и дизайнер интерьеров, переехал в Лондон, а Оливер, инженер-строитель, - во Францию.

* * *

Встревоженные событиями в Германии, некоторые друзья и коллеги Фрейда стали уговаривать эмигрировать и его. «В наших кругах уже немалый трепет, - сообщал он Мари Бонапарт в письме от 16 марта 1933 года. - Люди чувствуют, что националистические крайности Германии могут перекинуться и на нашу маленькую страну. Мне даже советовали уже бежать в Швейцарию или во Францию». Но все эти советы были «вздором», настаивал он. «Я не думаю, что здесь есть какая-то опасность, а если она придёт, я твёрдо решил дожидаться её здесь. Если меня убьют - что ж. Это один род смерти, как и другой. Но, вероятно, это лишь дешёвое бахвальство».

Через десять дней, отвечая на последовавшее приглашение Бонапарт поселиться в её доме в парижском пригороде Сен-Клу, он поблагодарил её, но написал: «Я решил им не пользоваться; вряд ли это понадобится. Жестокости в Германии, кажется, идут на убыль», - ещё один пример того, как он выдавал желаемое за действительное. Однако в том же письме он был достаточно трезв, чтобы признать, что «систематическое подавление евреев, лишение их всех должностей ещё едва началось». Он доказывал также, что «преследование евреев и ограничение интеллектуальной свободы - единственные пункты программы Гитлера, которые можно осуществить. Остальное - слабость и утопия».

Из Будапешта Шандор Ференци в последнем обмене письмами с Фрейдом перед своей смертью в мае особенно настаивал, что Фрейду нужно как можно скорее бежать из Вены. Но Фрейд в ответе был столь же непреклонен, отвергнув то, что назвал «мотивом бегства», как прежде и в письме к Бонапарт. «Рад сообщить вам, что я не думаю покидать Вену», - писал он 2 апреля. Он перечислил несколько практических причин своего решения: «Я недостаточно подвижен и слишком завишу от своего лечения, от разных облегчений и удобств; к тому же я не хочу оставлять здесь своё имущество. Впрочем, я, вероятно, остался бы, даже будь я совершенно здоров и молод».

Суть была в том, что Фрейду хотелось верить, будто он сможет прожить в Вене отпущенный ему срок, что бы ни происходило в Германии. «Лично мне никакая опасность не грозит, - уверял он Ференци, - а если вы представляете себе жизнь при подавлении нас, евреев, крайне неприятной, не забывайте, какую неуютную жизнь сулит беженцам обустройство за границей, будь то в Швейцарии или в Англии. По-моему, бегство было бы оправдано лишь прямой угрозой жизни».

Через четыре дня после сожжения его книг в Берлине Фрейд написал Лу Андреас-Саломе в более раздумчивом тоне, намекнув, что не так спокоен насчёт якобы отсутствующей непосредственной опасности, как обычно казалось: «У нас всё так, как и следует ожидать в эти безумные времена. Даже Анна порой впадает в уныние».

Популярный австрийско-еврейский писатель Стефан Цвейг, чьи книги тоже полетели в берлинский костёр, не раз обсуждал с Фрейдом «ужасы гитлеровского мира». «Как гуманный человек, он был глубоко удручён этой страшной вспышкой зверства, но как мыслитель ничуть не удивлён», - вспоминал Цвейг. Поскольку Фрейд «отрицал главенство культуры над нашими инстинктивными влечениями», добавлял он, подъём нацистов «самым ужасным образом подтвердил - хотя он этим отнюдь не гордился - его мнение, что искоренить из человеческой психики первобытное, варварское разрушительное влечение невозможно».

Фрейд мог анализировать события столь отстранённо - и всё же не делать логических выводов для своего положения. В этом он был далеко не одинок, особенно в Австрии, где упорно держалась иллюзия, будто опасности варварского, разрушительного влечения можно не подпустить. «Никто из нас не гордится своей тогдашней политической слепотой, и мы с ужасом видим, куда она нас привела, - писал позднее Цвейг. - Кто попытается её объяснить, будет вынужден обвинять, а у кого из нас есть на это право?»

Хотя некоторые немецкие евреи - например, Эйнштейн, уехавший в Соединённые Штаты в декабре 1932 года, накануне

прихода Гитлера к власти, - рано распознали масштаб опасности, они были скорее исключением, чем правилом. Оглядываясь назад, Цвейг писал: «Должен признать, что в 1933 и 1934 годах никто из нас в Германии и Австрии не допускал возможности и сотой, и тысячной доли того, что вскоре на нас обрушилось».

Но Цвейг мог бы указать и на то, что его политическая слепота длилась далеко не так долго, как у Фрейда. В отличие от Фрейда, он вскоре пришёл к выводу, что Австрию не минуют гитлеровские ужасы, и в 1934 году эмигрировал в Англию. В 1940 году он с второй женой ненадолго переехал в Соединённые Штаты, а затем обосновался в бразильском Петрополисе. Там он чувствовал себя одиноким и оторванным, был подавлен первыми победами Германии в войне и слишком живо представлял себе, что творится в оккупированной нацистами Европе. В итоге 22 февраля 1942 года они с женой приняли смертельную дозу барбитуратов. В предсмертной записке Цвейг объяснял, что теперь, когда «моя духовная родина, Европа, уничтожила себя» - а вместе с ней и его немецкоязычный мир, - у него больше нет сил жить дальше.

Глава 10

«Австрийская камера»

Убеждённость Фрейда в том, что он сможет и дальше жить и работать в Вене, основывалась на одной предпосылке: руководители Австрии твёрдо намерены идти своим путём, а значит, будут оберегать независимость страны, что бы ни творилось по соседству. Гитлер с головокружительной быстротой укрепил свою власть, превратив Германию в тоталитарное государство, посвятившее себя проведению в жизнь его доктрины расовой чистоты, а его сочинения и речи не оставляли сомнений, что он намерен воплотить грандиозный замысел новой германской империи. И всё же Фрейд предпочитал верить, что Австрия не утонет в набухающем нацистском приливе.

«Несмотря на все газетные сообщения о толпах, демонстрациях и т. д., в Вене спокойно, жизнь течёт невозмутимо, - сообщал он Джонсу 7 апреля 1933 года. - Можно с уверенностью ожидать, что гитлеровское движение распространится на Австрию, - собственно, оно уже здесь, - но весьма маловероятно, чтобы оно представляло такую же опасность, как в Германии».

Он доказывал, что нацисты, скорее всего, станут лишь частью союза правых партий, подталкивающих страну к «правой диктатуре», которая будет означать смерть «социал-демократии». Но, хотя такое развитие событий «не сделает жизнь приятной для нас, евреев», продолжал он, всякое «узаконенное преследование» евреев вызовет вмешательство Лиги Наций. К тому же, как он уже объяснял Мари Бонапарт, «наши люди не настолько жестоки». Лишь аннексия Австрии Германией могла бы всерьёз угрожать австрийским евреям, утверждал он, но Франция и её союзники такого шага не допустят.

В письме Джонсу от 23 июля Фрейд писал: «Будет и у нас свой фашизм, партийная диктатура, устранение оппозиции, прикладной антисемитизм. Но мы должны сохранить независимость, а мирный договор делает юридически невозможным лишение меньшинств их прав». Этого, настаивал он, достаточно, чтобы спокойно оставаться в Австрии. Его вера в силу договоров задним числом выглядит поразительно наивной, но тогда он был далеко не одинок в убеждении, что «ведьмин котёл в Германии» - и прежде всего его предводителя - можно удержать от того, чтобы он не выкипел через край.

И всё же порой у Фрейда вырывались слова, показывавшие, что он допускает иные, более мрачные возможности. «Мир превращается в огромную тюрьму, - писал он Бонапарт тем же летом. - Германия - худшая камера. Что будет в австрийской камере, совершенно неясно».

* * *

Австрийская камера, как называл её Фрейд, повсеместно считалась государством-обрубком: это было всё, что осталось от старой, раскинувшейся Австро-Венгерской империи, которую победители разобрали по окончании Первой мировой войны. С населением в 6,5 миллиона человек против 50 миллионов, живших под властью Габсбургов, Австрия проиграла даже больше своей германской союзницы - страны, куда громче протестовавшей против мирных условий, навязанных Версальским договором. Несмотря на потерю 13 процентов европейской территории и около 10 процентов населения, Германия в основном сохранила целостность.

В начале межвоенного периода обе бывшие союзницы испытывали во многом одни и те же беды: гиперинфляцию, повсеместные социальные волнения, подъём радикальных правых и левых партий, опиравшихся на военизированные формирования, которые воевали друг с другом и подрывали хрупкие коалиционные

правительства, пытавшиеся поддерживать хоть какой-то порядок. Политики и в Берлине, и в Вене то и дело сменяли друг друга у руля; новые канцлеры возносились и падали с ошеломляющей быстротой, едва успевая примелькаться.

Но у Австрии были свои явные особенности и политическая динамика, не обязательно повторявшая германскую траекторию. Прежде всего австрийцы всё ещё умели посмеиваться над своим положением, каким бы отчаянным оно ни выглядело. Как говорили тогда в Вене, «положение в Германии серьёзное, но не безнадёжное; положение в Австрии безнадёжное, но не серьёзное». Живучесть такого лукавого юмора вкупе с ощущением, что повседневная жизнь столицы во многом остаётся учтивой и очаровательной, подпитывала у Фрейда веру в то, что он сумеет переждать любые надвигающиеся бури.

Даже расколы в австрийском обществе не вполне повторяли германские. Столицу называли «Красной Веной», потому что она была оплотом социалистов, располагавших военизированным формированием - Шуцбундом. Бóльшая часть 175 тысяч евреев города, примерно 10 процентов его населения, принадлежала к их самым надёжным сторонникам. Небольшие города и сельская местность были твердыней консервативных католиков, чьё военизированное формирование называлось хаймвером. Временами эти две фактические армии сталкивались напрямую; временами в конфликты вмешивалась и небольшая федеральная армия, раздираемая противоречивыми привязанностями. После того как в июле 1927 года суд оправдал троих правых, стрелявших в демонстрантов-социалистов и убивших рабочего и его семилетнего сына, протестующие подожгли Дворец юстиции и пытались не дать пожарным его потушить. Полиция ответила многочисленными залпами, убив восемьдесят четыре человека и ранив ещё около пятисот.

Но чего добивалась каждая сторона, было далеко не ясно, особенно в коренном вопросе о самом существовании Австрии. Социалисты были больше привержены идее общей немецкой

идентичности, чем консервативные партии. Карл Реннер, первый канцлер Австрии после Первой мировой войны, был одновременно вождём социал-демократов и страстным поборником объединения с Германией. «Австрийцы никогда не были отдельной нацией и никогда не могли ею быть», - утверждал он в 1928 году. В 1931 году Германия и Австрия выдвинули идею таможенного союза, что привело к отзыву французских кредитов австрийским банкам и углубило экономический кризис. Тогда Париж ещё был полон решимости не допустить сближения двух немецкоязычных стран.

Австрия брела от кризиса к кризису, и к февралю 1933 года безработица выросла до 27 процентов. Вместе с тем приход Гитлера к власти в Германии ничего хорошего не сулил стране, где он родился. В «Майн кампф» нацистский вождь заявлял, что его «пылкая любовь к моей немецко-австрийской родине» сочетается с «глубокой ненавистью к австрийскому государству» и пониманием того, «что германство можно уберечь лишь уничтожением Австрии». Иными словами, единственным приемлемым исходом был аншлюс - присоединение Австрии к Германии в единое германское государство. Небольшой австрийской нацистской партии предназначалось стать его орудием в достижении этой цели.

Теоретически большинство австрийцев были восприимчивы к идее аншлюса. Американский корреспондент Джон Гюнтер, работавший тогда в Вене, считал, что в 1932 году таких было 80 процентов, - но это быстро изменилось. «К концу 1933 года против было по меньшей мере 60 процентов, - писал он. - Причина: гитлеровский террор». Вместо того чтобы дожидаться, пока удастся завоевать общественное мнение Австрии, нацисты развернули кампанию террора со взрывами, стрельбой и прочим насилием. Это встревожило самые разные группы, в том числе и правых, и вызвало сильную обратную реакцию.

Важнее всего, что в Вене появился новый политический лидер, способный возглавить растущее сопротивление нацистам. В мае 1932 года Христианско-социальная партия выдвинула на пост канцлера министра сельского и лесного хозяйства Энгельберта

Дольфуса. Выбрали его во многом потому, что многие более опытные политики не хотели браться за, казалось бы, безнадёжное дело - вести страну сквозь бесчисленные кризисы. Сорокалетний Дольфус вовсе не производил внушительного впечатления. Внебрачный сын крестьянской католической семьи, он неуклюже спотыкался в речах, а ростом был всего четыре фута одиннадцать дюймов, что делало его мишенью бесчисленных анекдотов. Пример: полиция сорвала попытку переворота против него, обнаружив и изъяв мышеловку, тайком пронесённую в его кабинет. И всё же, по словам Гюнтера, «он стал Давидом против нацистского Голиафа».

Гитлер всё сильнее давил на Австрию, подрывая туризм новым сбором с немцев, желавших туда поехать, и продолжая кампанию террора руками как нацистов внутри Австрии, так и «Австрийского легиона» - военизированных отрядов австрийских нацистов в Баварии, совершавших нападения через границу. 19 июня 1933 года при нападении с гранатами в Кремсе, в винодельческой долине Вахау на Дунае, один человек был убит и двадцать девять ранены. Дольфус ответил запретом нацистской партии в Австрии, призвав соотечественников, в том числе социалистов, дать отпор Гитлеру и прекратить разговоры об аншлюсе.

Это был поступок, рождённый убеждением. «Дольфус по-настоящему верил в Австрию, - писал еврейский писатель Джордж Клэр, выросший в Вене до аншлюса и во время войны служивший в британской армии. - Он не видел в своей стране просто ещё одну германскую провинцию».

Миниатюрный канцлер решился на столь решительные меры по двум причинам. Во-первых, воспользовавшись в марте того года отставкой трёх руководителей парламента, он распустил этот орган и принял на себя всю полноту диктаторской власти. Он запретил все политические партии и создал «Отечественный фронт», преподносившийся как широкое патриотическое движение. Во-вторых, он заключил союз со своим итальянским коллегой Бенито Муссолини, который тогда был полон решимости сохранить

Австрию как буферное государство между своей страной и гитлеровской Германией.

Всех троих можно было бы назвать фашистами, но интересы их тогда не совпадали. Опасаясь за верность своих немецкоязычных подданных в Южном Тироле, Муссолини не хотел делать ничего, что могло бы подтолкнуть их искать поддержки Гитлера. Как выразился Гюнтер, итальянский диктатор поэтому «стал по всем статьям верховным лордом-протектором Австрии».

Не один Дольфус хотел поощрить Муссолини в этой роли. Многие австрийцы приветствовали поддержку любого, кто мог бы помочь расстроить замыслы Гитлера относительно их страны. Один любопытный случай позволяет предположить, что, быть может, среди них был и Фрейд. В 1933 году итальянский психоаналитик Эдоардо Вейс привёз к Фрейду на консультацию одного из своих пациентов. Отец пациента, сопровождавший его и близкий друг Муссолини, попросил Фрейда дать ему подарок для итальянского диктатора с дарственной надписью. Фрейд согласился и вручил ему экземпляр «Почему война?» - своей переписки с Эйнштейном, что уже само по себе было многозначительным комментарием. Надпись гласила: «С преданным приветом от старика, который узнаёт в правителе героя культуры».

Вейс полагал, что Фрейд намекал на поддержку Муссолини амбициозных археологических раскопок в Италии, что давало ему дипломатическую возможность не говорить ничего, отдающего политическим одобрением. Но, хотя Фрейд не питал никакой симпатии к фашистским диктаторам, возможно и другое толкование: подобно Дольфусу, Фрейд считал, что Муссолини в тот период на стороне Австрии, - а это было задолго до того, как итальянский диктатор и Гитлер оформили союз, связавший их во Второй мировой войне. Фрейд также понимал, что в самой Австрии отбиваться от Гитлера пытаются именно правые католические политики. Как он позднее писал Лу Андреас-Саломе, «только этот католицизм и защищает нас от нацистов».

* * *

Дольфусу по-прежнему противостояли на двух фронтах - социалисты и нацисты. И Муссолини, и вожди хаймвера, который канцлер использовал как вспомогательную армию, жаждали в первую очередь расправиться с социалистами. В феврале 1934 года в Вене и провинциях вспыхнули новые бои: хаймвер, федеральная армия и полиция выступили против военизированных отрядов социалистов, Шуцбунда. Огромные рабочие жилые комплексы столицы - Карл-Маркс-Хоф и Гётехоф - подверглись обстрелу; после сдачи защитников девять вождей социалистов были повешены, многие другие брошены в тюрьмы. В этих и других боях по всей стране погибло около тысячи человек.

После разгрома социалистов нацисты усилили кампанию террора. Гитлера разгневали так называемые Римские протоколы - соглашение между Италией, Австрией и Венгрией, тоже страной с авторитарным режимом, о согласовании внешней политики. Германскому вождю это показалось очередной попыткой Дольфуса сберечь независимость Австрии. 25 июля австрийские нацисты попытались его свергнуть - по меньшей мере с молчаливого благословения Гитлера, если не при прямой его поддержке.

Предупреждённый об опасности, грозящей правительству, Дольфус в полдень прервал заседание кабинета в федеральной канцелярии. Меньше чем через час, во время смены военного караула, внутрь ворвались 144 нациста, хватая всех чиновников, каких могли найти. Дольфус, находившийся в личном кабинете, успел приказать армии сохранять верность, а затем попытался скрыться от нападавших. Но группа путчистов заметила его, и их главарь, Отто Планетта, дважды выстрелил в него в упор, попав в подмышку и в шею. В течение следующих двух с половиной мучительных часов Дольфус истекал кровью, а убийцы отказывались позвать врача или хотя бы священника. Наконец на помощь пришли хаймвер и полиция, но снаружи канцелярии царила

неразбериха: они спорили, что делать, не зная, что происходит внутри.

По иронии судьбы смерть Дольфуса не принесла победы нацистским путчистам. Значительно уступая в численности и не получив от Гитлера никакого знака, что он придёт им на выручку, они попросили безопасного пропуска в Германию. Полагая, что обещание получено, вечером они сдались. Но у министра просвещения Курта фон Шушнига, угрюмого сподвижника Дольфуса, занимавшего прежде и пост министра юстиции и на следующий день назначенного его преемником, были иные намерения. Тринадцать путчистов, включая Планетту, были повешены, остальные брошены в тюрьмы.

Возвышение Шушнига означало, что правительство осталось верно политике убитого предшественника: правая диктатура внутри страны, но такая, что продолжает сопротивляться нацистскому захвату. Новый канцлер, начинавший карьеру адвокатом в Инсбруке, относился к идее австрийской - в отличие от немецкой - идентичности неоднозначнее и надеялся достичь с Гитлером какого-то соглашения. Тем не менее он продолжал рассчитывать на помощь Муссолини в предотвращении аншлюса и включил хаймвер в «Отечественный фронт», чтобы покончить с расколом в своих вооружённых силах.

Фрейду и другим австрийским евреям положение по-прежнему казалось хаотичным и непредсказуемым - но не обязательно тревожным. Во время февральских боёв 1934 года Фрейд писал сыну Эрнсту в Лондон, что «из газет, вероятно, нелегко понять, что на самом деле происходит в городе, где идёт стрельба». И добавлял: «Будущее неясно: либо австрийский фашизм, либо свастика. В последнем случае нам придётся уехать; доморощенный фашизм мы готовы до известной степени принять спокойно; вряд ли он обойдётся с нами так же скверно, как его германский кузен». Упоминание о «последнем случае» показывает, что он сознавал: германский захват исключить нельзя, - но всё ещё цеплялся за веру, что этого не случится.

Говоря о судьбе Дольфуса, Клэр - еврейский писатель, бывший тогда подростком в Вене, - заявлял: «Убийство маленького канцлера было предупреждением, но для нас это предупреждение оставалось невидимым. Мы ничуть не лучше евреев Германии умели читать первые знаки, указывавшие на их участь».

* * *

Непосредственной заботой Джонса, Фрейда и других было шаткое положение их движения в Германии. Хотя бóльшая часть еврейских психоаналитиков бежала из страны, некоторые остались. В первые дни правления Гитлера они всё ещё состояли в Германском психоаналитическом обществе, но продолжать заниматься своей профессией им становилось всё труднее. Вместо того чтобы бороться с этой тенденцией, Джонс как президент Международной психоаналитической ассоциации считал, что надо спасать от психоанализа в Германии всё, что можно. Он прилетел в Берлин, чтобы председательствовать на заседании общества 1 декабря 1933 года, где, по его словам, «немногие оставшиеся члены-евреи добровольно вызвались выйти из общества, чтобы спасти его от роспуска».

Оказалось, что некоторые из них могли продержаться чуть дольше. Но 15 сентября 1935 года нацисты объявили всеобъемлющие Нюрнбергские расовые законы, лишавшие евреев всех прав и закреплявшие их расистскую доктрину. В следующем месяце они арестовали Эдит Якобсон, еврейского аналитика Берлинского института, за то, что она лечила пациентов-коммунистов вместо того, чтобы доносить на них в гестапо. Джонс снова поехал в Берлин, где обсуждал не только её дело, но и то, как следует поступить остальным еврейским психоаналитикам. Они, как и Джонс, всё ещё не решили, выходить ли им из общества. Но, вернувшись в Лондон, он телеграфировал одному из них: «Настоятельно советую добровольный выход». Он пришёл к выводу, что такой шаг может спасти германское общество.

Последние оставшиеся члены-евреи вышли из общества 1 декабря. Якобсон оставалась в тюрьме, но в 1938 году, заболев и попав в больницу, сумела бежать и позднее эмигрировала в Соединённые Штаты.

Хотя нацисты презирали Фрейда и его теории, интерес к тому, что они называли психотерапией, у них сохранялся. В частности, Маттиас Геринг, двоюродный брат правой руки Гитлера Германа Геринга, основал в Берлине Германский институт психологических исследований и психотерапии. Встретившись в 1936 году с менее известным Герингом, Джонс нашёл его «довольно любезным и сговорчивым человеком», хотя вскоре понял, что Маттиас Геринг не в состоянии выполнить обещания уважать тех, кто не подчинился полностью нацистским доктринам.

Карл Бём, президент Германского психоаналитического общества, в январе 1937 года навестил Фрейда, пытаясь объяснить ему, как ему и другим арийским психоаналитикам приходится действовать в новой обстановке. Им пришлось заменить такие термины, как «Эдипов комплекс», сообщал он, чтобы не напоминать нацистским властям, что их профессия основана на теориях её основателя-еврея.

После того как Бём витийствовал три часа, Фрейд оборвал его резким заявлением. «Хватит! - сказал он. - Евреи веками страдали за свои убеждения. Теперь пришло время нашим христианским коллегам пострадать в свою очередь за свои. Я не придаю значения тому, упоминается ли моё имя в Германии, лишь бы там правильно излагали мою работу».

В действительности, однако, институт Геринга вскоре поглотил жалкие остатки Германского психоаналитического общества и его института. Подконтрольная нацистам организация вовсе не стремилась правильно излагать идеи Фрейда или хотя бы какое-то их приближение под новыми названиями. Ей полагалось насаждать арийскую разновидность психиатрии для лечения немцев, отвергая фрейдовские теории, хотя подспудно его влияние сохранялось.

Книги, изданные некогда свободным германским обществом и хранившиеся в Лейпциге, включая издания Венского общества, были конфискованы. Пятнадцать еврейских психоаналитиков, не успевших последовать за многочисленными коллегами, бежавшими из Германии, пока это было ещё возможно, вскоре погибли в концентрационных лагерях.

* * *

Несмотря на все тревожные события начала и середины 1930-х годов, Фрейд не позволял им нарушать свой распорядок и умственные занятия. Он продолжал принимать пациентов и, как всегда, тщательно отвечал почти каждому, кто ему писал. В 1935 году, например, он получил анонимное письмо от американской матери, искавшей совета насчёт сына, которого она считала глубоко несчастным. Отвечая по-английски 9 апреля, Фрейд писал: «Из вашего письма я заключаю, что ваш сын гомосексуалист», - добавляя, что его поразило, как она сама избегала этого слова.

Спрашивая, почему она так не решалась его произнести, он повторил то, что прежде говорил своему американскому анализанту Джозефу Уортису. «Гомосексуальность, несомненно, не преимущество, но в ней нет ничего постыдного, это не порок, не деградация», - утверждал он. Вместо того чтобы считать её болезнью, «мы считаем её вариантом половой функции, вызванным определённой задержкой полового развития». Как и прежде, он сослался на некоторых знаменитых гомосексуалистов прежних эпох - Платона, Микеланджело, Леонардо да Винчи. «Преследовать гомосексуальность как преступление - большая несправедливость, а также жестокость».

Женщина просила его о помощи, что Фрейд понял как надежду на то, что он сможет «упразднить гомосексуальность и поставить на её место нормальную гетеросексуальность». Хотя каждый случай особый, объяснял он, «в большинстве случаев это уже невозможно». Но анализ может дать её сыну «гармонию, душевный

покой, полную работоспособность - останется ли он гомосексуалистом или изменится». Он даже предложил взять её сына в анализ к себе - но лишь если она привезёт его в Вену, что, как он знал, маловероятно. «Я не собираюсь отсюда уезжать», - подчёркивал он. В подобных обменах письмами он был в своей стихии: ему нравилось делиться мнениями и наблюдениями, особенно когда он думал, что они могут помочь кому-то вроде этой американской матери.

Получал Фрейд и больше удовлетворения, чем показывал, от признания, приходившего со многих сторон. 26 мая 1935 года он сообщил Джонсу, что Королевское медицинское общество единогласно избрало его почётным членом. «Поскольку это не могло случиться „за мои красивые глаза“, это, должно быть, доказывает, что уважение к нашему психоанализу в официальных кругах Англии сильно возросло», - писал он. Шутливый тон подчёркивал его радость, тем более сильную, что он был давним англофилом.

Но как ни хотелось ему, он не мог целиком погрузиться в свой мир, не замечая зловещих сил, действовавших почти повсюду вокруг. «Времена мрачные», - признавался он немецкому писателю Арнольду Цвейгу (не родственнику Стефана Цвейга) 2 мая. Но добавлял: «К счастью, не моё дело их озарять».

Порой он давал и советы, показывавшие, что его особенно тревожит, как быстро немцы, в том числе многие интеллектуалы, смиряются с нацистским правлением. Писатель Томас Манн впервые навестил Фрейда в Вене в 1932 году, а на следующий год, когда Гитлер пришёл к власти, покинул Германию. Они поддерживали связь, и в июне 1935 года Фрейд написал ему по случаю шестидесятилетия. «Хочу выразить уверенность, что вы никогда не сделаете и не скажете ничего - ведь слова писателя суть дела, - что было бы трусливо или низко, и что даже во времена, затуманивающие суждение, вы изберёте верный путь и укажете его другим», - заявлял он.

Жизнь Фрейда, каковы бы ни были его телесные недуги и общие политические тревоги, скрашивала и облегчала неизменная преданность дочери Анны его нуждам. «Я, разумеется, всё больше полагаюсь на заботу Анны», - писал он Лу Андреас-Саломе две недели спустя. Процитировав Мефистофеля («В конце концов мы зависим / От созданий, которых сотворили»), он заметил, что «было очень мудро её сотворить».

Джонс прекрасно понимал, насколько Фрейд зависит от Анны, и счёл добрым знаком то, что тем летом она присоединилась к нему и Максу Эйтингону на встрече в Париже для обсуждения методов подготовки. «Фрейд, очевидно, чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы пару дней обойтись без её забот, - редкая возможность», - замечал Джонс.

С приближением восьмидесятилетия 6 мая 1936 года Фрейд отговаривал других от каких-либо пышных торжеств. «Нет, времена не подходят для праздника», - писал он Джонсу. А Мари Бонапарт добавлял: «Слухи о приготовлениях к моему дню рождения, доходящие до меня, раздражают меня не меньше, чем газетные сплетни о Нобелевской премии». Он утверждал также, будто знает, что «отношение ко мне и к моей работе на самом деле ничуть не дружелюбнее, чем двадцать лет назад».

Это было далеко не так: к тому времени слава и влияние Фрейда воспринимались как нечто само собой разумеющееся, как бы он ни жаловался, что его недооценивают. И такой повод, как круглая юбилейная дата, не мог пройти незамеченным. Пришёл поток поздравлений и подарков - в первую очередь адрес, подписанный 197 писателями и художниками, среди которых были Томас Манн, Ромен Роллан, Вирджиния Вулф, Герберт Уэллс и Стефан Цвейг. Джонс был убеждён, что по стилю в нём «безошибочно» узнаётся рука Манна.

Этот откровенный панегирик Фрейду называл его «отважным провидцем и целителем… проводником в доселе неведомые области человеческой души». Дальше похвалы лишь нарастали, достигая крещендо в заключительных абзацах:

Во всех областях гуманитарной науки, в изучении литературы и искусства, в истории религии и в доисторической эпохе, в мифологии, фольклоре и педагогике, и не в последнюю очередь в самой поэзии его свершения оставили глубокий след; и мы уверены, что если какое-либо деяние нашего племени останется незабвенным, то это будет его деяние - проникновение в глубины человеческого духа.

Мы, нижеподписавшиеся, не мыслящие своего духовного мира без смелого труда всей жизни Фрейда, счастливы знать, что этот великий человек с его неутомимой энергией всё ещё среди нас и всё ещё трудится с неослабевающей силой. Да сопровождают наши благодарные чувства ещё долго человека, которого мы чтим.

* * *

Фрейд часто указывал, что его силы отнюдь не «неослабевающие», но в отношении его решимости это определение было всё же точным. Он был полон решимости оставаться умственно деятельным и продуктивным, пока мог справляться со своими физическими ограничениями и немощами. Когда же это станет слишком трудно и мучительно, как он ясно дал понять Максу Шуру, у него не будет никакого желания продлевать своё существование. В письме Томасу Манну в июне 1935 года он писал: «Мой самый личный опыт… склоняет меня считать благом, когда милосердная судьба своевременно кладёт конец нашему земному сроку».

Но у Фрейда оставался по меньшей мере один крупный замысел, который ему не терпелось завершить, прежде чем встретить свою судьбу. С тех пор как в 1901 году он впервые увидел статую Моисея работы Микеланджело в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, его завораживала центральная фигура рассказа об исходе еврейского народа. В 1914 году он анонимно опубликовал исследование об этой статуе, отвергнув расхожее толкование, будто художник изобразил Моисея, «взволнованного зрелищем своего народа, павшего в грех и пляшущего вокруг идола [золотого тельца]», и готового разбить скрижали с десятью заповедями,

которые он принёс с горы. Напротив, «огромная физическая мощь» статуи «становится лишь зримым выражением высшего духовного подвига, на какой способен человек, - успешной борьбы с внутренней страстью ради дела, которому он себя посвятил». Иными словами, Моисей обуздал свой гнев, чтобы спасти свой народ.

Неудивительно, что это было во многом психологическое толкование и Моисея, и Микеланджело. «Художник ощущал в себе ту же неистовую силу воли [что изобразил в своём герое]», - писал Фрейд. Уверяя, что в технических вопросах искусства он лишь «профан», Фрейд вместе с тем объяснял, что произведения искусства «оказывают на меня сильное действие», - и было очевидно, что понимал он их куда тоньше, чем показывал.

Было очевидно и то, что поглощённость Фрейда Моисеем - а точнее, одержимость им - питалась далеко не только интересом к искусству. Он часто подумывал написать о нём подробнее, но лишь в 1930-е годы начал понимать, как подступиться к этой теме. В письме Арнольду Цвейгу от 30 сентября 1934 года он описал то, что счёл своим озарением, связанным с нарастающим антисемитизмом эпохи. «Перед лицом новых преследований снова спрашиваешь себя, как еврей стал тем, что он есть, и почему он навлёк на себя эту неумирающую ненависть, - писал он. - Вскоре я нашёл формулу: Моисей создал еврея». В итоге должно было получиться то, что он поначалу называл «историческим романом», переосмысливающим библейский рассказ и проливающим свет на его более широкий религиозный и исторический контекст.

Фрейд понимал, что задуманные им три очерка о Моисее - особенно третий, где он собирался изложить свои взгляды не только на иудаизм, но и на другие монотеистические религии, христианство и ислам, - покажутся непосвящённым «чем-то принципиально новым и потрясающим». Живя, как он пояснял далее Цвейгу, «в атмосфере католической ортодоксии», он рисковал тем, что подобный текст вызовет запрет психоанализа в Вене и всех его изданий. Чтобы этого избежать, он решил написать

очерки, но третий, самый спорный, в обозримом будущем не публиковать.

Первые два очерка, опубликованные по-немецки в психоаналитическом журнале *Imago* в 1937 году, были и без того достаточно спорными. Именно в них Фрейд изложил тезис, что Моисей не был еврейским ребёнком, усыновлённым египетским царским домом, как говорит Библия, а был египтянином, ставшим вождём еврейского народа. Его привлекала и обычно отвергаемая теория, будто евреи не только восстали против Моисея, но, возможно, и убили его, - что прекрасно укладывалось в его представление об отцеубийстве и последующем наследии вины. Фрейд прекрасно знал, какая отповедь может его ждать. Об этом говорит уже первая фраза: «Отнять у народа человека, которого тот прославляет как величайшего из своих сынов, - дело, за которое не следует браться с лёгким сердцем, особенно тому, кто сам принадлежит к этому народу».

Фрейд готов был признать Моисея историческим, а не мифическим лицом. Но заключил, что Моисей опирался на верования Эхнатона - египетского фараона, насаждавшего «строгий монотеизм, первую попытку такого рода в истории мира». Это резко отличало его от всех других фараонов, требовавших поклонения множеству божеств. Иными словами, Моисей был не только египтянином: египетским было и его учение, пусть и отражавшее верования, нетипичные для египтян той эпохи. Это противоречило и иудейским, и христианским представлениям о происхождении их веры в единого Бога.

Заглавие второго очерка - «Если Моисей был египтянином…» - показывает, что Фрейд сознавал шаткость некоторых своих допущений. Его привлекали, как он выражался, «психологические вероятности», хотя он признавал, что им «недостаёт объективных доказательств». Из-за этого они могли выглядеть «железным памятником на глиняных ногах», признавал он. «Даже если все части задачи как будто складываются, как кусочки мозаики, надо помнить, что вероятное не обязательно истинно, а истинное не

всегда вероятно». В оставшееся время в Вене он бился над замыслом третьего очерка, где собирался изложить свои более широкие теории о религии, но написал его лишь тогда, когда добрался до Лондона.

Каковы бы ни были сильные и слабые стороны этих решительно идущих наперекор, своеобразных, а порой и запутанных, как лабиринт, очерков Фрейда, сам факт, что в последние годы жизни он был так поглощён этой темой, многое говорит о его душевном состоянии. Дело было не только в том, чтобы завершить исследование и размышления о Моисее; это был и способ уйти от необходимости смотреть в лицо множащимся свидетельствам того, что современный ему мир погружается в кошмар.

* * *

В письме Арнольду Цвейгу от 14 октября 1935 года Фрейд описал Макса Шура как «весьма способного врача, [который] так глубоко возмущён происходящим в Германии, что не выписывает никаких немецких лекарств». Вместе с другим врачом-евреем из больницы, где он работал, Шур призвал ко всеобщему бойкоту германских медикаментов, и они составили список швейцарских, австрийских и французских препаратов, которыми их можно заменить. Это, вспоминал Шур, привело к тому, что нацистская ячейка в их больнице внесла их в чёрный список. В случае нацистского захвата Австрии это означало также, по его словам, что они «предназначены для концлагеря».

Поразительно, что политическая позиция Шура, судя по всему, Фрейда почти забавляла. Шура, в свою очередь, забавляло убеждение Фрейда, что его соотечественники-австрийцы никогда не опустятся до таких зверств, как немцы. «Он забыл, что Гитлер был австрийцем», - язвительно замечал он. И уже серьёзнее заключал: «Похоже, Фрейд, открывший силу агрессивного

влечения в отдельном человеке, не мог поверить, что эта сила может вырваться на волю в целой нации».

В отличие от своего пациента, Шур был по-настоящему встревожен и не желал ждать, пока события пойдут своим чередом, прежде чем действовать самому. Он начал изучать возможности эмиграции и подавал заявления на места за границей, в том числе в Каире. В 1937 году он подал прошение о визах в Соединённые Штаты для своей семьи. Благодаря тому, что Шур родился в той части Австро-Венгерской империи, которая между войнами вошла в состав Польши, он имел право претендовать на польскую квоту - и визы были получены. Но поскольку Фрейд настаивал на том, чтобы остаться в Вене, Шур остался там с ним, откладывая любое решение о бегстве и продолжая уговаривать пациента задуматься о том же.

Шур был далеко не единственным, кого всё сильнее тревожило, что его знаменитейшему пациенту может грозить опасность. Уильям Буллит, соавтор так и не изданной книги о Вудро Вильсоне, разделял опасения Шура и жаждал помочь защитить Фрейда чем только мог. Служа в Москве первым послом США в Советском Союзе - с 1933 по 1936 год, - он быстро лишился иллюзий насчёт неприкрытой жестокости этого тоталитарного государства. Когда затем он занял пост посла США во Франции, его не нужно было долго убеждать, что и другая набирающая силу тоталитарная держава Европы, нацистская Германия, представляет грозную опасность.

Летом 1937 года по настоятельной рекомендации Буллита генеральным консулом США в Вене был назначен Джон Уайли, его бывший заместитель по посольству в Москве. По крайней мере задним числом это выглядит тщательно продуманным ходом на европейской шахматной доске, позволившим Буллиту переставить коня на позицию, откуда тот мог бы прийти в действие, если соавтор Фрейд окажется в опасности. Много лет спустя Буллит объяснил свою роль Шуру. По словам врача, Буллит сказал ему, что устроил назначение Уайли в Вену «с особым „заданием“ - зорко

присматривать за Фрейдом и его семьёй и, в пределах дипломатических возможностей, держать над ними защищающую руку».

В письме Фрейду из Парижа от 7 сентября Буллит известил о скором прибытии в Вену «моего близкого друга, мистера Джона К. Уайли». «Мистер Уайли служил со мной советником американского посольства в Москве, и вы найдёте его незаурядным человеком, - писал он. - Я попросил мистера Уайли побеседовать с вами, как только он приедет в Вену».

Упомянул Буллит и другого парижанина, близкого Фрейду. «Время от времени я получаю известия о вас от Мари Бонапарт, и она говорит мне, что вы в превосходной форме», - писал он. Несмотря на лёгкий, бодрый тон Буллита, вряд ли можно сомневаться, что письмо было больше чем формальной рекомендацией. Это был сигнал, что с помощью Уайли он готов действовать, если опасный каскад событий, вызванный Гитлером, потребует спасать Фрейда.

* * *

В отличие от предшественника, заплатившего жизнью за вызов нацистам, канцлер Шушниг стремился ослабить давление на свою страну, заключив сделку с Германией. Франц фон Папен, германский политик, чьи гибельные манёвры облегчили Гитлеру приход к власти, пережил первый последовавший за этим раунд кровопролития, служа послом нацистского режима в Вене. На этом посту он усердно готовил почву для германского захвата, не вызывая того сопротивления, которое погубило попытку путча в 1934 году. Замысел состоял в том, чтобы убаюкать австрийцев и склонить их к уступкам - якобы во имя мира и компромисса, - а потом поймать в ловушку.

К июню 1936 года Фрейд, похоже, понимал надвигающуюся опасность. «Сближение Австрии с национал-социализмом, по-видимому, неудержимо, - писал он Арнольду Цвейгу. - Все судьбы

в сговоре с чернью. Я жду, со всё меньшим сожалением, когда для меня опустится занавес». И всё же он продолжал цепляться за надежду, что Шушниг сумеет остановить сползание к нацистскому господству.

Австрийский канцлер полагал, что именно этого и добивается, когда 11 июля подписал австро-германское соглашение, выработанное им вместе с фон Папеном. Теоретически оно что-то давало обеим сторонам и нормализовало отношения двух стран, но намеренно двусмысленные формулировки и конкретные условия не оставляли сомнений, что фон Папен вышел из переговоров почти со всем, чего хотел.

Одна часть соглашения звучала успокаивающе. «Германия не имеет ни намерения, ни желания вмешиваться во внутренние дела Австрии, аннексировать Австрию или включать её в состав Германского рейха», - беспечно провозглашалось в нём. Другая часть должна была бы глубоко встревожить. «Австрийское федеральное правительство будет строить свою политику в целом и в отношении Германии в частности на основополагающем факте, что Австрия признаёт себя германским государством». В очередной раз казалось, что австрийцы сами не могут решить, кем же они хотят быть. Шушниг также согласился освободить бóльшую часть заключённых в Австрии нацистов - около 17 тысяч человек - и дать отдельным нацистам возможность вступать в «Отечественный фронт», фактически позволив им проникать в государственные органы. Как писал Джон Гюнтер, это стало триумфом подхода фон Папена - «замшевой перчатки»: «Его политика основывалась на том, что нет смысла насиловать девушку, на которой собираешься жениться на следующей неделе».

Одной из причин, по которой Шушниг счёл себя вынужденным принять условия фон Папена, было то, что он знал: Муссолини его не защитит. Итальянский диктатор был горячим сторонником его предшественника, но убийство Дольфуса нанесло удар по его престижу и, что важнее, по его стремлению сохранить Австрию как буферное государство. Растущее могущество Гитлера означало, что

Муссолини теперь выглядел рядом с ним диктатором помельче и послабее. Последняя надежда Шушнига состояла в том, что этот раунд уступок ещё позволит сохранить Австрию как отдельное германское государство, как обещало его соглашение с фон Папеном, - как бы внутренне противоречиво и всё более наивно всё это ни звучало.

* * *

Даже когда Фрейд ближе всего подходил к признанию опасности своего времени - а может быть, особенно в такие минуты, - ему не терпелось перевести взгляд на что-то другое. В конце 1936 года Мари Бонапарт предоставила ему такую возможность, прислав рукопись книги, которая позднее выйдет по-английски под названием «Топси: история златошёрстной чау-чау». Будучи сам привязан к своей чау-чау Йофи, Фрейд сразу был очарован рассказом Бонапарт о её привязанности к Топси и о её отчаянных стараниях спасти собаку от рака.

«Я её люблю; она так трогательно подлинна и правдива, - писал он ей 6 декабря. - Это, конечно, не аналитическая работа, но и за этим произведением ощущается жажда истины и знания, присущая аналитику». Его восхищали её размышления о том, почему она - или он - может любить своих собак «с такой необыкновенной силой». Как подытожил её тезис Фрейд, собаки дарят «простоту жизни, свободной от почти невыносимых конфликтов цивилизации». И, несмотря на различия в «органическом развитии», они порождают «то чувство интимного родства, неоспоримой солидарности».

Фрейд был так увлечён рукописью, что они с Анной предложили перевести её на немецкий. Как объясняла Анна, ему хотелось сделать это «в знак благодарности за её [Бонапарт] неустанную помощь». Французское издание вышло в 1937 году, а Фрейды закончили перевод в апреле 1938-го.

Но Фрейдом двигало далеко не только желание отплатить Бонапарт за верность и поддержку. Её книга была в той же мере о

жизни и смерти, к какому бы виду ни принадлежало живое существо, что и собственно о собаках. Для Фрейда это была знакомая территория. Его первая чау-чау, подарок Дороти Берлингем в 1928 году, прожила у него всего пятнадцать месяцев: она потерялась на вокзале в Зальцбурге, и потом её нашли мёртвой на путях. Следующей его чау-чау, Йофи, в январе 1937 года сделали операцию по удалению двух кист яичника, а неделю спустя она внезапно умерла от сердечного приступа. Эти потери были особенно мучительны, поскольку, как указывал Джонс, любовь Фрейда к собакам была «сублимацией его огромной нежности к маленьким детям, которую больше нельзя было удовлетворить». И, как писала Бонапарт, «собаки - это дети, которые не вырастают, которые не уходят».

По крайней мере, таков безмятежный образ, который дарят собаки, - пока они не заболеют или не умрут. Когда у Топси под губой появилась опухоль, которая через несколько месяцев, вероятно, обрекла бы её на «самую ужасную смерть», Бонапарт сразу приняла решение: «Топси, если её можно вылечить, имеет такое же право на жизнь, как я». Она стала водить её на рентгенотерапию в Институт Кюри в Париже - место, слишком знакомое Бонапарт. «Двенадцать лет назад под лучами лежало и другое тело - мой отец, которого разрушал похожий недуг, только в другом месте, - писала она. - Но тогда я знала, что лучи день за днём проникают в него напрасно».

Топси же рентгеновские лучи вылечили, подарив хозяйке новую надежду. «От Топси словно исходит сила, как от талисмана жизни», - заявляла Бонапарт. Но вся эта история заставила её задуматься о собственной смертности. «Моя жизнь, как и твоя, Топси, клонится к закату, и когда ты больше не будешь стеречь дверь моей комнаты, это будет Смерть…»

Откликаясь на такие места, Фрейд писал: «Если вы в юном возрасте пятидесяти четырёх лет не можете не думать так часто о смерти, удивляетесь ли вы, что я в 80½ всё размышляю, доживу ли до возраста отца и брата…» В письме от 13 августа 1937 года он

просил её «позволить мне жить в вашей дружеской памяти - единственной форме ограниченного бессмертия, какую я признаю». Но, словно желая разбавить эти мысли о смерти, добавлял: «Понимает ли Топси, что её переводят?»

* * *

Десятилетия спустя после смерти отца, обсуждая этот период с американским детским психиатром Робертом Коулзом, Анна Фрейд изложила свой взгляд на события тех решающих лет. «К 1936 году было ясно, что ничто не помешает Гитлеру захватить Австрию - или, следует добавить, Австрии присоединиться к Германии», - говорила она, подчёркивая, что так семья воспринимала положение тогда, а не задним числом. «Мы не отрицали вероятного, но и не поддавались страху и опасениям».

Почему же тогда они не уехали из Вены? «Ответ был совсем прост: отец был очень болен, ему часто бывало больно; он приближался к концу жизни - за восемьдесят, с раком; и он не мог представить себе никакой „новой жизни“ в другом месте. Он знал, что в часах осталось лишь несколько песчинок - и на этом всё». И несколько оправдываясь, добавляла: «Задним числом всегда легко знать, что было правильно, что следовало сделать и когда».

Анна вполне справедливо указывала на опасность судить задним числом. Права она была и в том, что главной заботой семьи были возраст и здоровье отца. Но она, возможно, преувеличивала - или по меньшей мере пользовалась знанием задним числом больше, чем готова была признать, - утверждая, будто к 1936 году Фрейду было ясно, что нацистская Германия поглотит Австрию. Это, несомненно, должно было быть ясно, но он всё ещё неохотно признавал неизбежность такого исхода.

Или, точнее говоря, Фрейд мог порой ставить трезвый политический диагноз - и всё же продолжал следить за всё более призрачными лучами надежды, которые искажали его зрение.

В письме Джонсу от 2 марта 1937 года Фрейд признавал, что «вторжение нацистов, вероятно, не остановить», и что надеется лишь «не дожить до этого самому». Он сравнивал положение с 1683 годом, когда Вену осадили войска османских турок. Город спасли крылатые гусары польского короля Яна Собеского, разбившие захватчиков. На такое чудо на сей раз рассчитывать не приходилось, продолжал Фрейд, никто не примчится на выручку. «Если наш город падёт, прусские варвары затопят Европу, - заключал он. - К несчастью, сила, до сих пор нас защищавшая, - Муссолини, - теперь, похоже, развязывает Германии руки».

Но ещё 6 февраля 1938 года, когда Гитлер уже подбирался к Австрии, Фрейду всё ещё хотелось верить, что у канцлера Шушнига есть шанс отвратить мрачную картину, нарисованную им Джонсу. В письме Эйтингону он заявлял: «Наше храброе и по-своему порядочное правительство теперь энергичнее прежнего держит нацистов на расстоянии, хотя ввиду последних событий в Германии никто не может быть уверен, что произойдёт».

Шушнигу и его соотечественникам, в том числе Фрейду, вот-вот предстояло это узнать.

Глава 11

«Операция „Фрейд“»

10 марта 1938 года, примерно через месяц после того, как Фрейд похвалил «порядочное правительство» Австрии и его старания держать нацистов «на расстоянии», в его квартире на Берггассе, 19 зазвонил телефон. Экономка Паула Фихтль, взявшая трубку, не узнала голоса звонившего, а тот не представился. «Передайте герру профессору, что завтра придёт Гитлер!» - сказал он и повесил трубку. Фихтль передала это краткое сообщение Фрейду, и тот лишь ответил: «Это будет плохо, Паула».

На самом деле усилия Шушнига сохранить независимость Австрии фактически начали рушиться ещё месяцем раньше - точнее, 12 февраля, хотя большинство его соотечественников, включая Фрейда, тогда об этом не знали. В тот день австрийский канцлер встретился с Гитлером в Берхтесгадене, альпийской резиденции германского диктатора. Но едва гость отпустил несколько обычных комплиментов живописной местности и прекрасной погоде, Гитлер оборвал его. «Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о красивом виде или о погоде», - заявил он.

Вместо этого Гитлер обрушился на гостя с яростными обвинениями, утверждая, что тот делает «всё, чтобы избежать дружественной политики». Ясно давая понять, что его бесит не только Шушниг, но и само существование австрийского государства, он заклеймил «всю историю Австрии» как «один непрерывный акт государственной измены». И зловеще добавил: «Я твёрдо решил покончить со всем этим. Германский рейх - одна из великих держав, и никто не возвысит голос, если он уладит свои пограничные проблемы».

Ошеломлённый этой лобовой атакой, Шушниг попытался напомнить Гитлеру о вкладе Австрии в германскую историю, но

Гитлер отмахнулся от него как от «абсолютного нуля». Он не обратил внимания и на попытки гостя разрядить ощутимое напряжение, заверив, что Австрия будет стремиться «устранить препятствия к лучшему взаимопониманию» между двумя странами. Распекая гостя за то, что тот будто бы приказал укрепить границу с Германией, Гитлер перешёл к прямой угрозе: «Мне достаточно отдать приказ, и за одну-единственную ночь все ваши смехотворные оборонительные сооружения разлетятся в клочья. Вы же не думаете всерьёз, что сможете задержать меня хоть на полчаса?»

Если Шушниг надеялся на помощь извне, Гитлер был полон решимости разубедить его и в этом. «Не думайте ни на минуту, что кто-нибудь на свете помешает моим решениям. Италия? Мы с Муссолини смотрим на вещи одинаково… Англия? Англия пальцем не шевельнёт ради Австрии». Что до Франции, указывал он, то она не помешала его войскам двумя годами раньше войти в Рейнскую область, нарушив положение Версальского договора, объявлявшее эту территорию демилитаризованной зоной. Тогда французские силы были достаточно сильны, чтобы вынудить немцев отступить, признавал Гитлер, но теперь это не так. «Теперь для Франции слишком поздно», - сказал он.

Переданный министру иностранных дел Иоахиму фон Риббентропу и Францу фон Папену, которого только что отозвали с поста германского посланника в Австрии, но который по-прежнему жаждал участвовать в силовой игре Гитлера, Шушниг получил список требований, которые должен был принять в рамках «соглашения» между двумя правительствами. Они включали многочисленные меры, обеспечивавшие нацистам мёртвую хватку на горле австрийского государства: назначение пронацистского юриста Артура Зейсс-Инкварта министром внутренних дел с передачей ему контроля над полицией; отмену запрета австрийской нацистской партии; «ассимиляцию» австрийской экономики Германией. Чувствуя, что выбора у него нет, Шушниг принял откровенно ложные заверения фон Папена, что это соглашение

предотвратит «дальнейшие трудности для Австрии», и подписал его.

Но у австрийского канцлера оставалась одна карта. Как он сказал Гитлеру, соглашение не вступит в силу, пока его не одобрит и президент Вильгельм Миклас. Последовавшая задержка, вызванная возражениями Микласа против некоторых положений, позволила Шушнигу попытаться дать арьергардный бой, чтобы остановить или хотя бы отсрочить германский захват. Взбешённый Гитлер приказал генералам провести войсковые манёвры у границы и ужесточил угрожающую риторику. Выступая 20 февраля в рейхстаге, он заявил, что не потерпит посягательства на «всеобщее право на самоопределение» немцев, живущих волею судеб за пределами нацистской Германии и якобы преследуемых за стремление к «единству со всей нацией». Это заявление было направлено и против Австрии, и против чехословацкой Судетской области с её по преимуществу немецким населением.

Собрав остатки решимости, Шушниг ответил, что Австрия готова к уступкам, но лишь «до сих пор и не дальше». 9 марта он также объявил, что 13 марта в стране пройдёт плебисцит. Австрийцам предстояло ответить на вопрос: «Высказываетесь ли вы за свободную и германскую, независимую и социальную, христианскую и единую Австрию?» Эта формулировка признавала германское наследие австрийского народа, но имела целью дать австрийцам возможность поддержать дальнейшее существование собственного государства.

Зная, что большинство австрийцев, скорее всего, ответят утвердительно, Гитлер не собирался ждать, пока они это сделают. Он приказал войскам готовиться к вступлению в страну. Тогда-то анонимный звонивший и передал предупреждение Фрейду. 10 марта, в день того самого звонка, Фрейд записал в дневнике: «Уайли из американского посольства». Речь шла о Джоне Уайли, дипломате, чьё назначение в Вену устроил Буллит. Визит Уайли на Берггассе, 19 стал первым сигналом того, что члены

зарождающейся спасательной команды Фрейда готовятся ответить на надвигающуюся опасность.

На следующий день германские войска закрыли границу с Австрией, и под сильнейшим давлением гитлеровских приспешников Шушниг отменил плебисцит и решил уйти в отставку. В прощальном радиообращении в тот вечер он назвал ложью сообщения о повсеместных беспорядках и «потоках проливаемой крови» - предлоги, которые нацисты уже готовили, чтобы оправдать предстоящее вторжение. «Мы не готовы даже в этот страшный час проливать кровь, - сказал он. - Мы решили приказать войскам не оказывать сопротивления». Короткую речь он закончил мольбой: «Боже, храни Австрию!»

Ранним утром 12 марта германские войска хлынули через границу. После капитуляции австрийского правительства неудивительно, что иные австрийские таможенники сами помогали разбирать пограничные заграждения перед самым появлением гитлеровских солдат. В 4 часа утра Уильям Ширер, корреспондент CBS в Вене, записал в дневнике: «Случилось худшее! Шушниг ушёл. Нацисты пришли. Гитлер нарушил дюжину торжественных обещаний, клятв, договоров. И Австрии конец. Прекрасной, трагической, цивилизованной Австрии! Нет её».

Ширера потрясли сцены, свидетелем которых он стал в Вене ещё до того, как туда дошли гитлеровские войска. Выйдя из метро на Карлсплац, он оказался «подхвачен вопящей, истеричной нацистской толпой… Эти лица! Я видел их прежде в Нюрнберге - фанатичные глаза, разинутые рты, истерия». Следуя за толпами, распевавшими нацистские песни, он заметил группу полицейских, наблюдавших за происходящим уже с красно-чёрно-белыми повязками со свастикой. «Значит, и они переметнулись», - отметил он. И тут же начались нападения на евреев: «Молодые громилы швыряли булыжники в витрины еврейских магазинов. Толпа ревела от восторга».

Ширер с коллегой отправились к Уайли в американскую миссию. Ширер заметил, что дипломат «стоял перед письменным

столом, сжимая свой неизменный длинный мундштук, со странной улыбкой на лице - улыбкой человека, который только что потерпел поражение и знает это». Уайли тихо произнёс очевидное: «Всё кончено».

Когда германские войска вступали в Австрию, не встретив ни единого выстрела, Фрейд вторил этим словам знаменитой дневниковой записью: *«Finis Austriae»*. В тот же день обитатели Берггассе, 19 слышали снизу, с улицы, возбуждённые крики газетчиков. «Скорее, Паула, принесите мне „Абенд“», - велел Фрейд экономке, имея в виду вечернюю газету, неизменно поддерживавшую независимость Австрии. Когда Фихтль вернулась, Мартин видел, как отец взял газету, пробежал глазами заголовки, скомкал её и, не говоря ни слова, швырнул в угол комнаты. Это редкое проявление чувств, отмечал Мартин, лишь подчёркивало его «отвращение и разочарование».

Когда младший Фрейд поднял брошенную газету и разгладил её, он сразу понял, что эта трагедия страны прежде всего ударит по одной группе людей. «Мы, евреи, станем первыми жертвами», - заключил Мартин. Газета уже была полна визгливой антисемитской пропаганды.

На следующий вечер - в воскресенье, 13 марта - Германия объявила об аншлюсе, превращении Австрии, как гласил новый закон, в «провинцию Германского рейха». В тот же день члены правления Венского психоаналитического общества собрались на Берггассе, 19, чтобы решить, что делать. Они пришли к выводу, что все они должны бежать из Вены от её новых нацистских хозяев, а общество потом следует перенести туда, где окажется его основатель.

Фрейд откликнулся на это, напомнив о разрушении Иерусалимского храма римским императором Титом и о том, как рабби Йоханан бен Заккай разошёлся с еврейскими зелотами, предпочитавшими погибнуть в бою, лишь бы не покориться римской власти. Рабби не только выжил, но и убедил римлян позволить ему открыть в Явне новую школу, где евреи могли

изучать Тору. «Мы поступим так же, - пообещал Фрейд. - В конце концов, к преследованиям мы привыкли - по нашей истории, традиции, а некоторые и по личному опыту». Он не проводил точной аналогии, понимая, что нацисты не потерпят нового центра его психоанализа, но подчёркивал необходимость спасаться, а не жертвовать собой.

Если всё это, казалось бы, говорило о готовности Фрейда признать необходимость покинуть свой давний дом, чтобы продолжать психоанализ в другом месте, то Эрнест Джонс, президент Международной психоаналитической ассоциации, и другие его зарубежные коллеги отнюдь не были убеждены, что он действительно передумал, - или что его удастся уговорить. «Зная, сколь сильно было это нежелание и как часто в последние годы он выражал решимость остаться в Вене до конца, я не очень надеялся на успех», - вспоминал Джонс.

Его пессимизм был понятен. Как отмечал Мартин Фрейд, отец «мог уехать из Вены в любой момент на протяжении многих спокойных лет, пока гитлеровская тень не начала затемнять весёлое небо города; но так и не уехал и, насколько я знаю, никогда всерьёз не помышлял об эмиграции». После аншлюса задача вызволить Фрейда стала куда более трудной. Убедить его согласиться на любой подобный план было бы лишь первым шагом - но и этот шаг был непрост. Джонс понимал, что для преодоления первого препятствия ему нужна вся помощь, какую только можно получить. Ему нужно было мобилизовать свои войска.

* * *

Пока Гитлер совершал триумфальное шествие к Вене под ликующие крики восторженных толп, Джонс из Лондона лихорадочно обзванивал коллег, которые могли бы помочь. Он говорил с Дороти Берлингем, которая, как он отмечал, «к тому времени стала почти членом семьи Фрейдов». Американская наследница состояния Тиффани жила двумя этажами выше

квартиры Фрейдов на Берггассе, 19, рядом с Анной Фрейд, своей спутницей до конца жизни. Берлингем была на связи не только с Джонсом, но и с Мари Бонапарт в Париже - и, что важнее всего, с Джоном Уайли, человеком Буллита в Вене.

То, что творилось на улицах 14 марта, в день прибытия Гитлера в Вену, подчёркивало необходимость готовиться к худшему. Георг Клаар, еврейский юноша семнадцати лет, вскоре ставший известным как Джордж Клэр, позднее описывал свои впечатления от приёма, оказанного германскому диктатору. «Город вёл себя как возбуждённая женщина: трепетал, извивался, стонал и сладострастно вздыхал в ожидании оргазма и разрядки», - писал он.

Берлингем была тогда больна и почти не вставала с постели, но идеально подходила для роли посредника и системы раннего оповещения в том, что можно было бы назвать операцией «Фрейд». Поскольку она провела прямую телефонную линию между своей спальней и спальней Анны этажами ниже, Анна - или экономка Паула - могли связаться с ней или с кем-то из её детей в любую минуту. Дороти, в свою очередь, могла передать сведения остальным, как только сочтёт, что Фрейду грозит опасность.

15 марта, в день, когда Гитлер обратился к огромному собранию сторонников с балкона Хофбурга, императорского дворца Вены, а нацистские банды грабили еврейские магазины и устраивали облавы на евреев прямо на улицах, Джонс помчался в Вену, чтобы, как он объяснял, «сделать последнюю попытку убедить Фрейда передумать». Берлингем сказала ему, что Фрейд всё ещё не соглашается уезжать, и валлиец был убеждён, что должен уговаривать его лично. Мари Бонапарт обещала вскоре последовать за ним в Вену.

Поскольку прямых рейсов из Лондона в Вену в тот день не было, Джонс полетел в Прагу, а оттуда нанял маленький моноплан, доставивший его в город, который больше не был столицей независимой Австрии. Согласно речи Гитлера в Хофбурге, теперь это был «самый молодой оплот германской нации». Первые впечатления Джонса подтверждали масштабы нацистского захвата.

«Аэродром был забит германскими военными самолётами, а небо полно ими - они усердно запугивали венцев», - вспоминал он. По улицам грохотали германские танки, то и дело раздавались выкрики «Хайль Гитлер!»

Получив весть от Анны Фрейд, Джонс последовал её совету и направился прямо в «Ферлаг» - Международное психоаналитическое издательство, располагавшееся на Берггассе, 7 и уже ставшее мишенью новых властей. Мартин Фрейд, управлявший издательством, пришёл туда утром, полный решимости уничтожить то, что, как он понимал, сочтут уликами против его отца и других клиентов, пользовавшихся его услугами как юриста. В частности, он держал для них банковские счета за границей, вкладывая средства в иностранные валюты, более устойчивые, чем австрийская. До аншлюса это было совершенно законно, отмечал он, «но я знал, что в глазах алчущих долларов нацистов это будет преступлением».

В то утро один из клиентов лично пришёл забрать свои документы и задержал Мартина, не дав ему добраться до остальных бумаг. Прежде чем младший Фрейд успел многое сделать, в помещение ворвалась группа из дюжины вооружённых громил. Это была «странная, оборванная компания», большинство с винтовками, и явного вожака у них не было. Самым агрессивным был маленький измождённый человечек, вооружённый одним лишь пистолетом. Всякий раз, как Мартин медлил с выполнением их приказов, вспоминал он, этот человек «проявлял кровожадность: выхватывал пистолет, с шумом вынимал и вставлял обойму и кричал: „Почему бы не пристрелить его и не покончить с ним? Надо расстрелять его на месте“».

Двое из них держали винтовки упёртыми Мартину в живот, пока другие выгребали деньги из сейфа и денежных ящиков. Вскоре стол был завален купюрами и монетами в разных валютах. Нетронутыми, однако, остались бумаги, которые Мартин успел схватить перед самым приходом банды и которые теперь незамеченными лежали на полке. Ему не терпелось улучить момент

и вовсе от них избавиться, но его тревожил размахивавший пистолетом член отряда, которым, по его словам, «могло овладеть истерическое побуждение, если обращаться с ним неосторожно».

Когда Джонс появился в «Ферлаге», он застал вооружённых захватчиков «злодейского вида», которые пересчитывали деньги из ящика, а Мартин сидел рядом под охраной. Новоприбывший надеялся произвести на громил впечатление, объяснив, что издательство - международное предприятие, но вместо этого задержали и его. Его просьбу позволить связаться с британским посольством презрительно отвергли, что заставило его задуматься о том, «как низко пал престиж моей страны после успехов Гитлера». Но примерно через час его отпустили, и Джонс поспешил по улице в дом 19, чтобы узнать, как Фрейд и остальная семья.

В «Ферлаге» Мартин оставался пленником, хотя по мере того, как новых тайников с деньгами не обнаруживалось, к вечеру число его охранников неуклонно уменьшалось. Когда остался лишь один страж, походивший, по словам Мартина, на потрёпанного безработного метрдотеля, угрожающая атмосфера начала рассеиваться. Охранник перестал целиться в него из винтовки и позволил встать и размяться. Затем он заговорил о своём трудном материальном положении - и Мартин тут же понял не слишком тонкий намёк. Сунув руку в карманы, которые остальные не удосужились проверить, он протянул ему несколько золотых монет и банкнот.

Заслужив благодарность своего тюремщика, Мартин попросился в уборную. Тот согласился и повёл его по коридору, где были свалены документы, которые Мартин хотел уничтожить. Проходя мимо, Мартин украдкой схватил что мог, а в уборной разорвал бумаги и спустил их в унитаз. Ссылаясь на необходимость новых посещений, он сумел проделать это несколько раз.

Во время этих прогулок по коридору другие громилы время от времени возвращались и тайком прихватывали часть денег, сваленных ранее на стол. Оказалось, что сосед-нацист наблюдал за происходящим в окно и известил находившийся поблизости штаб

СА - военизированных штурмовиков-коричневорубашечников. Прибежал районный командир и проследил, чтобы тюремщик Мартина вернул взятые у него деньги - правда, не Мартину. В тот хаотичный первый день налётов было больше импровизации, чем плана, больше запугивания и хватания ценностей, чем организованного вымогательства. Для тех, на кого шли эти налёты, это означало, что импровизировать приходится и им.

* * *

Пока Мартина ещё держали в «Ферлаге», группа вооружённых коричневорубашечников явилась в квартиру Фрейдов неподалёку. Пытаясь оградить отдыхавшего мужа, Марта Фрейд решила обращаться с непрошеными гостями как с обычными визитёрами: пригласила их сесть и поставить винтовки в прихожей в подставку, обычно служившую для зонтов. От этих предложений они отказались, но её учтивость выбила их из колеи - а последовавший манёвр ещё больше. Она принесла бывшие в доме деньги, положила их на стол и вежливо спросила: «Не угодно ли господам угоститься?» Затем Анна провела их к сейфу в другой комнате и открыла его, вынув 6000 шиллингов, что равнялось 840 долларам. Налётчики были в восторге от добычи.

Посреди всего этого в дверях появился Фрейд - хрупкий на вид, но пригвоздивший их одним из своих испепеляющих взглядов. Джонс, ещё остававшийся в квартире, расставшись с Мартином в «Ферлаге», отмечал: «Он умел хмуриться, сверкая глазами так, что позавидовал бы любой ветхозаветный пророк». Эта группа налётчиков была дисциплинированнее, чем та, что орудовала в «Ферлаге», но при виде внушительного старика они смешались. Их главарь обратился к Фрейду «герр профессор», и вскоре они ретировались из квартиры - но не прежде, чем пообещали: «Мы вернёмся».

Когда они ушли и Фрейд узнал, сколько денег они забрали, он вновь проявил язвительное чувство юмора. «Ну и ну, - сказал он, - я никогда не брал столько за один визит».

Тем временем Мартина отпустили из «Ферлага», и он сразу пошёл узнать, как родители. Он с облегчением увидел, что коричневорубашечники там «вели себя вовсе не скверно», если не считать изъятия наличных денег семьи и конфискации паспортов; они даже оставили расписку в получении денег. Но было ясно, что оба налёта знаменуют лишь начало действий новых властей.

Джонс это прекрасно понимал и тут же завёл с Фрейдом «разговор по душам». Несмотря на все драматические события того дня, вспоминал Джонс, «как я и опасался, он был твёрдо намерен остаться в Вене». Когда валлиец указал, что Фрейд не один на свете и что столько людей о нём тревожатся, Фрейд ответил: «Один. Ах, будь я один, я бы давно покончил с жизнью».

Но, признав правоту Джонса в том, что думать ему нужно не только о себе, он выдвинул другие доводы в пользу того, чтобы остаться. Он слишком слаб для путешествия, сказал он, и, что показательнее, при сильном противодействии приёму иммигрантов почти повсюду в Европе никто его не примет. Как отмечал Джонс, из-за повсеместной безработицы каждая страна была «свирепо негостеприимна» к желающим переселиться; невысказанным оставалось то, что бóльшая часть этой агрессивной негостеприимности была направлена против евреев, искавших спасения. Но он сказал Фрейду, что вернётся в Англию и посмотрит, нельзя ли убедить тамошних чиновников сделать для него исключение.

Хотя Фрейд прямо не возражал, он привёл ещё одно оправдание своего нежелания эмигрировать: он не может покинуть Австрию, как солдат не может покинуть свой пост. Джонс в ответ сослался на случай Чарльза Лайтоллера, второго помощника капитана «Титаника». Когда корабль шёл ко дну, взорвался котёл, и поток горячего воздуха из вентиляционной шахты вынес его на поверхность, спасши от гибели. Как он объяснил на последовавшем

расследовании, «я не покидал корабль, сэр; это он покинул меня». Джонс полагал, что этот довод оказался решающим и убедил Фрейда признать необходимость эмиграции, если её удастся устроить.

В тот момент «если» было очень большим. Но в срочности задачи сомнений уже не было. Ранее в тот же день, 15 марта, Джон Уайли, быстро узнавший о налётах на «Ферлаг» и дом Фрейда, отправил Буллиту в Париж короткую телеграмму: «Опасаюсь, Фрейд, несмотря на возраст и болезнь, в опасности».

Буллит немедленно взялся за дело. Он позвонил президенту Рузвельту в Вашингтон, и на следующий день государственный секретарь Корделл Хэлл отправил Уайли телеграмму. «В соответствии с указанием президента», писал он, он попросил Хью Уилсона, американского посла в Берлине, «поднять этот вопрос перед соответствующими германскими властями и выразить надежду, что соответствующие власти в Австрии примут меры, позволяющие доктору Фрейду и его семье выехать в Париж, где, как известно президенту, друзья жаждут его принять». Хэлл добавлял, что понимает: Уайли, «вероятно, невозможно» предпринять подобные шаги в Вене, - но настоятельно просил его сообщать о положении Фрейда и докладывать, «какие меры, если таковые имеются, принимаются или могут быть приняты для их выезда из Австрии».

Одновременно Буллит послал личную телеграмму Уилсону в Берлин: «Если Уайли позвонит или телеграфирует вам относительно помощи профессору Фрейду и его ближайшей семье, которые могут искать убежища в Париже, прошу оказать всяческое возможное содействие, в том числе финансовое, за которое я отвечаю». Последняя часть послания показывала, что Буллит прекрасно понимал: нацисты, скорее всего, потребуют фактически выкупа, - и был готов заплатить сколько понадобится.

Ввиду возросшей опасности для Фрейда Буллит и Уайли хотели, чтобы нацисты поняли: любой открытый шаг против него может обернуться против них самих, поскольку его делом

занимаются на самом высоком уровне. Буллит посетил германского посла в Париже графа Иоганнеса фон Вельчека, чтобы предупредить его, что всякое дурное обращение с Фрейдом может вызвать международный скандал. По словам Джонса, Вельчек, «человек культурный и гуманный», передал это предупреждение начальству.

С благословения Буллита Уайли и его дипломаты в Вене демонстративно показывали флаг возле квартиры Фрейда - в буквальном смысле. Всякий раз, когда Берлингем сигнализировала о возможной опасности, Уайли, его жена Ирена или другие сотрудники миссии навещали семью Фрейда, и у дома часто стоял один из их служебных автомобилей, бросавшийся в глаза американским флажком. Они знали, что гестапо следит, и верно рассчитывали, что на этой ранней стадии своего имперского натиска Гитлер хочет избегать прямых столкновений с американскими посланниками.

17 марта в Вену прибыла ещё одна видная гостья, чтобы поддержать усилия по защите Фрейда и его семьи. Как принцесса Греческая и Датская, Мари Бонапарт олицетворяла королевскую власть и носила фамилию, отзывавшуюся повсюду; к тому же она могла задействовать широчайший круг личных связей и немалое личное состояние ради общего дела. Она остановилась в греческой миссии и связалась с дипломатами других иностранных представительств в Вене, прося сообщать ей любые полезные сведения, какие им удастся добыть. Но главное - её частые визиты на Берггассе, 19 давали Фрейду, Анне и остальной семье сильную моральную поддержку и гарантию финансовой помощи - и вновь сигнализировали властям, что Фрейд далеко не одинок.

Чтобы подчеркнуть это, Бонапарт порой буквально вставала между Фрейдами и всяким, кто снова попытался бы к ним ворваться, - садилась на холодную лестницу, ведущую к квартире. Экономка Фихтль вспоминала, как она сидела там в чёрной норковой шубе, плотно запахнутой на плечах, со светлыми замшевыми перчатками в руках, в изящной шляпке и с сумочкой из

крокодиловой кожи рядом, окутанная сильным ароматом своих духов. Время от времени Фихтль приносила ей чай или горячий шоколад, пока та несла там свою вахту. Экономка полагала, что Фрейд не знал об этом проявлении преданности, поскольку тогда не выходил из дома, но он, конечно, знал, что она делает всё возможное, чтобы защитить его и семью. Как он выразился, «принцесса для нас бесценна».

Джонс объяснял, что приезд Бонапарт позволил ему с более спокойной совестью оставить Вену в столь опасный момент и вернуться в Лондон «ради неотложной задачи - добиваться разрешений в Англии». Важность его миссии трудно было преувеличить: если Фрейда и его семью предстояло спасти, она должна была увенчаться успехом. Едва вернувшись 22 марта в Лондон, Джонс перешёл в наступление. Ключевой фигурой, к которой он хотел подступиться, был министр внутренних дел сэр Сэмюэл Хор. По случайности оба состояли в одном клубе фигурного катания, так что прежде встречались, но близкими знакомыми отнюдь не были. Помня о протоколе, Джонс решил не обращаться к нему напрямую. Сначала он попросил своего шурина Уилфреда Троттера, хирурга и члена Королевского медицинского общества, избравшего Фрейда почётным членом в 1935 году, написать рекомендательное письмо сэру Уильяму Брэггу, физику и президенту престижного Королевского общества. Брэгга Джонс, в свою очередь, собирался попросить о рекомендательном письме к Хору, во власти которого было решать, кого впустить в Британию.

Подход казался безупречно выстроенным, но Джонс опешил, когда Брэгг проявил поразительную наивность, спросив его: «Вы действительно думаете, что немцы недобры к евреям?» Тем не менее физик дал Джонсу рекомендательное письмо к Хору. Явившись к Хору, Джонс с облегчением обнаружил, что министр внутренних дел «без малейших колебаний проявил свойственное ему человеколюбие и дал мне карт-бланш на заполнение разрешений, включая разрешение на работу, для Фрейда, его семьи,

прислуги, личных врачей и известного числа его учеников с семьями».

Как выразилась Анна Фрейд, Джонс «сделал почти невозможное», добившись разрешений на въезд в Британию в общей сложности для восемнадцати взрослых и шестерых детей. Этот результат превзошёл даже ожидания самого Джонса. 25 марта, повидавшись с секретарём Хора и уточнив подробности, он ликующе записал в дневнике: «Успех!»

Джонс добился согласия на въезд группы Фрейда в Британию гораздо быстрее, чем ожидалось, но это была лишь частичная победа. Куда более трудной задачей было убедить нацистов выпустить их из Вены - а признаки были неутешительными.

После первых налётов на «Ферлаг» и квартиру нацисты развернули более систематическую кампанию запугивания и вымогательства. Они стремились выжать как можно больше денег из каждой еврейской семьи, добивавшейся разрешения на выезд, но не было никакой гарантии, что, даже пройдя лабиринт постоянно меняющихся требований и уплатив все требуемые суммы, семья получит разрешение эмигрировать.

22 марта, в тот самый день, когда Джонс вернулся в Лондон, Анну вызвали в гестапо, а Мартин ожидал подобного вызова в любую минуту. Брат и сестра пошли к Максу Шуру просить средство, которое оборвёт их жизнь, если положение станет отчаянным. «Они боялись пыток, и не без оснований», - вспоминал врач. Он снабдил их «достаточным количеством веронала, сильного барбитурата», о чём ни Шур, ни они сами не сказали отцу.

На Берггассе, 19 Мартин смотрел в окно, как четверо до зубов вооружённых эсэсовцев увозят Анну в открытой машине. «Положение её было опасным; но, не выказывая ни страха, ни даже особого интереса, она сидела в машине, как женщина сидит в такси по пути за покупками», - писал он позднее. На самом же деле, как видно из их с Мартином просьбы к Шуру, она боялась за себя - и ещё больше опасалась ненароком сказать на допросе что-нибудь,

что можно будет обратить против отца. И всё же она твёрдо решила не показывать страха ни нацистам, ни встревоженной семье.

В дневнике Фрейда за тот день значится просто: «Анна в гестапо». Шур пришёл на Берггассе, 19, чтобы побыть с ним и заверить, что любимая дочь вернётся. «Это был худший день, - вспоминал он. - Часы тянулись бесконечно. Это был единственный раз, когда я видел Фрейда глубоко встревоженным. Он ходил взад и вперёд, беспрерывно куря». Со своего одра двумя этажами выше столь же потрясённая Берлингем то и дело звонила узнать новости. Неусыпно бдительный Уайли отправил Буллиту через Государственный департамент телеграмму с известием об аресте Анны.

Анну и Мартина ещё не раз допрашивали, но этот допрос был самым долгим. Анну подробно расспрашивали о её роли в Международной психоаналитической ассоциации и отпустили домой лишь поздно вечером. С огромной сдержанностью Шур писал: «Фрейд, редко выказывавший свою привязанность, в тот вечер до некоторой степени проявил свои чувства». По меньшей мере по одному свидетельству, он так обрадовался её возвращению, что заплакал. Почти наверняка именно в тот момент Фрейд отбросил последние сомнения в необходимости эмигрировать. Он понял, что должен бежать, если это вообще возможно, - прежде всего ради Анны, которой предстояло прожить ещё так долго и которая ни при каких обстоятельствах его не оставила бы.

* * *

Драма на Берггассе, 19 была лишь частью большей трагедии. Как и Фрейд, многие австрийские евреи верили, что их соотечественники никогда не станут проявлять антисемитизм с такой жестокостью, как немцы с самого начала правления Гитлера. Но сцены, которые после аншлюса видели на улицах Ширер и другие корреспонденты, повторялись в самых разных местах, мгновенно лишая евреев этих иллюзий.

Эдит Лауб, которой тогда было шестнадцать, вспоминала, как некоторые одноклассницы, даже те, кого она считала подругами, кричали: «Откройте окна, тут воняет евреями». Вскоре вместе с другими еврейскими женщинами её и мать заставили мыть полы в одном из нацистских штабов - ещё одно намеренное унижение.

Из окна семейной квартиры еврейский подросток Георг Клаар стал свидетелем насилия, особенно его ужаснувшего. Квартальный полицейский, всегда учтивый с ним и его отцом, избивал дубинкой «какую-то несчастную душу», осмелившуюся выкрикнуть протест при виде толп, встречавших гитлеровские войска. «За считаные минуты… этот полицейский, вчерашний защитник, превратился в завтрашнего гонителя и мучителя», - писал он.

Эти двое подростков были в числе счастливцев, сумевших бежать из Австрии. Лауб оказалась в Соединённых Штатах, где в 1970-е годы под фамилией мужа - Иди Локк - стала главным редактором журнала *Mademoiselle*. Клаар обосновался в Англии, стал Джорджем Клэром и написал получившую широкое признание автобиографию «Последний вальс в Вене».

Многим другим евреям повезло куда меньше. Когда 16 марта Эгон Фриделль, шестидесятилетний историк культуры и эссеист, выступавший и на сцене кабаре, услышал, как штурмовики поднимаются к его квартире, он выбросился из окна. Около пятисот австрийских евреев той весной предпочли самоубийство аресту, билету в один конец до концлагеря или тому, что ещё могли уготовить им новые власти, - обычно начиная с конфискации имущества. Нацистов настолько встревожили быстро распространявшиеся слухи о ещё большем числе самоубийств, что они выпустили красноречивое опровержение: «С 12 по 22 марта в Вене покончили с собой девяносто шесть человек, из которых лишь [курсив мой] пятьдесят были непосредственно связаны с переменой политического положения в Австрии».

Чтобы придать происходящему видимость законности, 10 апреля нацисты провели плебисцит об одобрении аншлюса, якобы возмещая вынужденную отмену плебисцита Шушнига. Теперь,

когда власть была целиком в их руках, отказа избирателей можно было не опасаться. На одном из венских избирательных участков, где побывал Ширер, как он сообщал, «широкие щели в углу кабинок позволяли нацистской избирательной комиссии, сидевшей в нескольких шагах, прекрасно видеть, кто как голосует». В сельских округах, добавлял он, большинство людей даже не утруждали себя заходить в кабинку, предпочитая голосовать открыто, у всех на виду. Неудивительно, что власти объявили: за аншлюс проголосовали 99,75 процента австрийцев.

Уверившись в своей окрепшей власти, нацисты усилили натиск на евреев Вены, особенно на богатых. «Обращение с евреями превзошло всё, что происходило в Германии, - телеграфировал Уайли Буллиту. - Это был экономический погром; грабёж в мундирах».

Обыски и допросы Фрейдов показывали, что нацисты видели в них одну из самых важных своих мишеней.

* * *

После аншлюса нацисты назначили людей, которым поручалось надзирать за тем разграблением еврейского имущества, о котором писал Уайли. Их называли попечителями, или комиссарами; их прикрепляли к еврейским семьям, и им полагалось исходить из того, что все богатства и предприятия евреев «приобретены ненадлежащим образом», как разъясняла нацистская газета *Der Angriff*, когда Гитлер пришёл к власти в Германии.

Но если имущество евреев было законной добычей, то что станет с самими богатыми евреями, было ещё неясно. В тот период, до того как машина Холокоста заработала на полную мощность, их судьбу могли решать именно попечители. Они могли сравнительно облегчить евреям возможность, по сути, откупиться и выехать из страны - или усеять их путь столькими новыми препятствиями, что те были бы обречены на неудачу, а в долгосрочной перспективе это, скорее всего, означало потерю не только имущества, но и жизни.

Выбор попечителя мог оказаться выбором между жизнью и смертью.

15 марта к обязанностям попечителя семьи Фрейд, то есть управляющего её имуществом, включая «Ферлаг», приступил Антон Зауэрвальд. Первое впечатление, которое он произвёл, было самым леденящим: по воспоминаниям Шура, врача Фрейда, он показался «грубой скотиной».

На первой встрече с правлением «Ферлага» Зауэрвальд вёл себя как типичный нацист, изрыгающий антисемитскую брань. Выделив двух психоаналитиков-неевреев, он потребовал объяснить, почему они водятся с «еврейскими свиньями». Он объявил, что берёт управление в свои руки, и приказал показать ему всю финансовую отчётность. Ожидать снисхождения от нового повелителя оснований было мало.

Но Зауэрвальд, которому тогда было тридцать пять, вскоре стал показывать, что он не рядовой представитель нацистского режима. Сын аптекаря, он изучал химию в Венском университете у Йозефа Херцига, друга Фрейда. Несмотря на, казалось бы, безоговорочное принятие гитлеровского антисемитизма, Зауэрвальд восхищался своим пожилым профессором-евреем, умершим в 1924 году. Как предполагал Джонс, часть этих чувств он, возможно, перенёс на Фрейда, который был всего на три года моложе Херцига. После одного из визитов гестапо на Берггассе, 19 Зауэрвальд прямо-таки извинялся за их, на его взгляд, грубое поведение. «Чего вы хотите? - говорил он Анне. - Эти пруссаки не знают, кто такой Фрейд».

На самом деле Зауэрвальд хотел сказать, что сам он, в отличие от них, понимает значение Фрейда; в конце концов, он был немцем-австрийцем, а не пруссаком, и к тому же весьма образованным. Но на него по-прежнему давили, требуя выжать из издательства и дома Фрейда сколько можно денег. В апреле, например, Маттиас Геринг, кузен Германа, стремившийся насаждать собственную разновидность «психотерапии», объяснял в письме Зауэрвальду, что им нужны деньги для переподготовки тех венских психологов, которых он считал испорченными средой. «Полагаю, в Вене и в

арийских кругах ещё ощущается еврейское влияние, хотя люди этого не сознают», - писал он, явно имея в виду учение Фрейда.

Однако за долгие часы, проведённые в «Ферлаге» и в квартире, Зауэрвальд методично прочёл многие труды Фрейда и всё больше проникался уважением к его эрудиции и теориям о психоанализе. По словам Шура, «в результате он стал чрезвычайно полезен и использовал всё своё немалое влияние у нацистов, чтобы облегчить эмиграцию Фрейда, его семьи и ближайшего окружения».

Как объяснял Зауэрвальд своё противоречивое поведение - с одной стороны, исповедование нацистских расовых доктрин, с другой - уважительное отношение к Фрейду? Шура особенно занимало, как его понять, и в 1939 году в Лондоне он обсуждал этот вопрос с Александром, младшим братом Фрейда. Зауэрвальд побывал в Лондоне, когда Фрейды и Шур там уже обосновались, и встречался с Александром. Как резюмировал Шур услышанный им рассказ об их разговоре, Зауэрвальд по-прежнему утверждал, что евреи - «ненадёжный элемент населения» и потому должны быть «устранены»; он добавлял, что «это, быть может, прискорбно, но цель оправдывает средства». Тем не менее отдельный нацист может «облегчить тяготы в отдельных случаях», говорил он. Под этим Зауэрвальд явно подразумевал собственное обращение с Фрейдом.

Это был не единственный сюрприз того разговора. Зауэрвальд, руководивший в начале десятилетия химической лабораторией в Вене, будто бы рассказал Александру, что в период до аншлюса, когда нацистские теракты были обычным делом, городская полиция привлекала его как эксперта по взрывчатке. Он также сделал поразительное заявление, будто сам и снабжал нацистов бомбами для этих терактов. Поэтому он легко определял тип использованной в них взрывчатки, втираясь в доверие и к нацистам, и к полиции. Это указывало бы на то, что Зауэрвальд упивался двурушничеством, и это продолжилось, когда нацисты поручили ему дело Фрейда. Но недавнее исследование австрийского историка Кристианы Ротлендер показало, что не существует никаких документальных подтверждений этой версии событий, изложенной

Шуром и после войны появлявшейся и в австрийской печати. Городской и земельный архив Вены подтверждает, что таких документов у него нет.

Что бы ни совершил Зауэрвальд до того времени, после аншлюса, когда судьба Фрейда висела на волоске, он оказался в решающей роли. Вскоре он наткнулся на улики, которые могли помешать Фрейду эмигрировать, а это почти неминуемо означало бы, что впоследствии тот погиб бы в Холокосте. Всё зависело от того, что Зауэрвальд сделает или не сделает, - от его готовности позволить Фрейду ускользнуть из Третьего рейха.

* * *

Во время первого нацистского налёта на «Ферлаг» 15 марта нацисты изъяли несколько документов, которые, как знал Мартин Фрейд, сочтут уликами и которые делали его, по его словам, «верным кандидатом в концлагерь». Но часть из них он сумел выкупить у бывшего уголовника, назначенного заместителем начальника полиции: в хаотичные первые дни после аншлюса богатые евреи ещё могли откупаться от многих опасных ситуаций. Тот же продажный новоиспечённый полицейский чин обещал предупредить Мартина, если его соберутся арестовать.

Не все проблемы удавалось решить таким способом. Мартин и Мари Бонапарт пытались договориться о спасении бóльшей части книг «Ферлага», зная, что у новых властей противоположные намерения. Но потерпели неудачу. «Нацисты не удовлетворились уничтожением книг, остававшихся в Вене, - вспоминал Мартин. - Они устроили так, чтобы вернули гораздо большее количество, которое я отправил на хранение в Швейцарию». Особенно унизительно было то, что чиновник, отдавший этот приказ, проявил «странное чувство юмора, списав со счёта отца весьма значительную стоимость перевозки книг на их погребальный костёр в Вене».

Всякий еврей, желавший тогда покинуть Австрию, должен был заплатить «налог на бегство» и выполнить длинный перечень других требований, часть которых налагалась произвольно. Решающее значение имело то, сколько у человека денег и есть ли свидетельства того, что он нарушает новые правила. Просматривая отчётность «Ферлага» и дома Фрейдов, Зауэрвальд наткнулся на сведения, которые были бы более чем достаточным доказательством такого нарушения.

По словам Джонса, в завещании Фрейда, которое Мартин не успел уничтожить, упоминались средства, хранившиеся им за границей. В послевоенном письме двоюродному брату Гарри, сыну дяди Александра, Анна писала, что Зауэрвальд завладел и документами о «наших делах в Швейцарии». Это указывало на то, что помимо книг там были спрятаны и другие средства. Зауэрвальд держал эти документы «надёжно под замком, пока мы не уехали», сообщала она, добавляя, что «он не злоупотребил своей властью, а очень немногие способны устоять перед таким искушением». Она имела в виду, что Зауэрвальд мог бы попытаться выслужиться перед нацистским начальством, разоблачив подобную деятельность, но не сделал этого.

Тогда, однако, Фрейды не могли быть уверены, что Зауэрвальд будет и дальше молчать. С помощью своего адвоката им приходилось также проходить сложные процедуры, обязательные для всякого, кто пытался эмигрировать. В этих боях с нацистскими бюрократами и всегда готовыми пустить в ход кулаки громилами вела Анна, всячески ограждая отца от прямого участия под предлогом, что он слишком стар и болен; она пыталась помочь и знакомым, оказавшимся в таком же положении. Как писал её отец Джонсу, «Анна неутомимо хлопочет не только за нас, но и за бесчисленное множество других».

Адольф Эйхман, уже набиравший силу как мнимый специалист по «еврейскому вопросу», признавал, что положение в Вене тогда было особенно запутанным. «Из-за сложной системы получение необходимых для паспорта бумаг может занять до двух-трёх

месяцев, - докладывал он. - Например, справку об отсутствии судимости можно получить через 6–8 недель. Поэтому богатые евреи нанимают арийских адвокатов, чтобы добыть бумаги». Он добавлял, что срок действия некоторых требуемых документов истекал прежде, чем евреи успевали получить другие необходимые бумаги. «Этим евреям приходилось проходить одну и ту же процедуру по нескольку раз, пока они не могли эмигрировать», - писал он, создав тем летом в Вене Центральное бюро еврейской эмиграции. «Это создавало большую нагрузку на ведомства», - добавлял он, не оставляя сомнений, что это беспокоит его куда больше, чем мытарства самих евреев.

Пытаясь продвинуться в отношениях с этими властями, Анна и Мари Бонапарт перебирали огромное собрание бумаг и переписки Фрейда, сжигая документы, которые считали ненужными, чтобы сократить объём до приемлемого к отъезду, на скорый срок которого они надеялись. Бонапарт также регулярно проверяла корзину для бумаг Фрейда, нередко извлекая из неё выброшенные им листы. Она была полна решимости спасти не только Фрейда, но и как можно больше его наследия. По словам Фихтль, Бонапарт не раз тайком выносила вещи из квартиры. «Она прятала всё под юбкой и каждый день носила это в своё [греческое] посольство», - вспоминала экономка. Затем эти документы отправляли в Париж дипломатической почтой, ограждая их от досмотра и вероятной конфискации.

Участвовал в этом даже Зауэрвальд. Вместе с Бонапарт он упаковал часть книг по психоанализу, ускользнувших от прежних облав, и отвёз их в Австрийскую национальную библиотеку, директор которой согласился их хранить, а не уничтожать. Каким-то чудом они пережили там войну.

* * *

12 мая Фрейд написал сыну Эрнсту, жившему в Лондоне с женой и детьми с тех пор, как они бежали из Берлина в 1933 году.

«Пишу тебе без особой причины, потому что сижу здесь бездеятельный и беспомощный, пока Анна бегает туда и сюда, справляется с властями, занимается всеми деловыми подробностями», - сообщал он. Семья надеялась получить «добро» по налоговым вопросам и другим делам, добавлял он, не оставляя сомнений, что неопределённость долгого ожидания даёт о себе знать. «В эти мрачные времена меня держат две перспективы: вновь соединиться со всеми вами и - умереть на свободе».

Фрейд философски смотрел на то, что ждёт его в новой стране, если им удастся покинуть Вену. «По сравнению с освобождением ничто не имеет значения, - писал он. - Анне, несомненно, будет легко справиться, а это главное, потому что для нас, стариков от семидесяти трёх до восьмидесяти двух, всё это предприятие не имело бы смысла». Под стариками он подразумевал свояченицу Минну, жену Марту и себя.

И Бонапарт, и Буллит были готовы помочь с платежами, которых требовали нацисты, прежде чем Зауэрвальд подпишет выездные визы; Буллит готов был выложить 10 тысяч долларов - огромную по тем временам сумму. Но поскольку американец оставался на своём посольском посту в Париже, проводить необходимые операции оказалось удобнее Бонапарт. Собственные местные средства Фрейда к тому времени были либо конфискованы, либо заморожены, а Зауэрвальд продолжал хранить молчание о его заграничных активах. Как вспоминала Фихтль, «за всё платила принцесса [Бонапарт]», - хотя Фрейд настоял на том, чтобы вернуть ей деньги, как только они окажутся на свободе.

Даже без учёта заграничных счетов имущество Фрейда - от денег и мебели до произведений искусства и книг - было оценено в 125 318 рейхсмарок, примерно в 50 тысяч долларов; с поправкой на инфляцию это составило бы сегодня около 950 тысяч долларов. Отсюда «налог на бегство» в 25 процентов - 31 329 рейхсмарок. Бонапарт была их спасительницей - и не только потому, что предоставила бóльшую часть нужных денег: она ещё и поддерживала в них бодрость духа. Как отмечал Мартин Фрейд,

«думаю, наши последние печальные недели в Вене… были бы совершенно невыносимы без присутствия принцессы».

Некоторые члены семьи уехали из Вены раньше Фрейда, воспользовавшись тем, что им выдали новые германские паспорта взамен конфискованных австрийских. 4 мая выездную визу первой получила Минна, и, поскольку она была больна, Дороти Берлингем отвезла её в Швейцарию; позднее обе отправились дальше, в Лондон. Предупреждённый своим знакомым в полиции о готовящемся аресте, Мартин 14 мая уехал поездом в Париж, где его уже ждали жена и двое детей, которых он отправил туда несколькими днями раньше. Его сестра Матильда с мужем Робертом последовали за ним 24 мая. Но Фрейд всё ещё был заперт в Вене в ожидании справки, удостоверяющей, что у властей нет к нему больше претензий.

Оставался ещё вопрос о четырёх пожилых сёстрах Фрейда в Вене (ещё одна сестра, Анна, эмигрировала в Соединённые Штаты ещё в молодости). По словам Мартина, Фрейд и его брат Александр «обеспечили их достаточными средствами, чтобы жить в достатке до конца дней», - по всей вероятности, с помощью Бонапарт. Это наводит на мысль, что сёстры готовы были остаться - возможно, по ошибочному убеждению, что им грозит меньшая опасность, чем их знаменитому брату. Возможно и более простое объяснение: не хватило времени, чтобы выдержать бюрократические бои и договориться об отдельном выкупе, который потребовался бы, чтобы выпустили и их. Так или иначе, они остались, - хотя вскоре Бонапарт встревожилась настолько, что попыталась их вызволить. Трагическим образом эта попытка провалилась.

* * *

Когда стало ясно, что Зауэрвальд намерен разрешить отъезд группы Фрейда, Бонапарт вернулась в Париж, и все занялись последними приготовлениями. Марта, как всегда, была образцом деловитости и вникала во все подробности хозяйства. Она даже

помогла Фихтль, экономке, уезжавшей вместе с ними, спрятать серебряные и золотые монеты, полученные ею за годы службы в подарок от семьи, зашив их в пальто, поскольку та не хотела расставаться со своими «сокровищами».

2 июня Фрейд наконец получил *Unbedenklichkeitserklärung* - «справку об отсутствии препятствий», подтверждавшую, что он выполнил все обязательства перед налоговыми органами. Но нацисты потребовали, чтобы он ещё и засвидетельствовал, что с ним хорошо обращались. Для этого ему дали подписать заявление:

> «Я, проф. Фрейд, настоящим подтверждаю, что после присоединения к Германскому рейху германские власти, и в особенности гестапо, обращались со мной со всем уважением и вниманием, подобающими моей научной репутации, что я мог жить и работать в полной свободе, мог продолжать свою деятельность так, как желал, что встречал в этом отношении полную поддержку со стороны всех причастных и что у меня нет ни малейших оснований для каких-либо жалоб».

Фрейд знал, что выбора у него нет, но не удержался и спросил нацистского чиновника, ожидавшего его подписи, нельзя ли добавить одну фразу: «Могу от всей души рекомендовать гестапо кому угодно».

Фихтль слышала этот обмен репликами и затаила дыхание. Но, как она вспоминала, «полицейский лишь сердито посмотрел на профессора и, не говоря ни слова, выскочил за дверь».

4 июня Фихтль подала Фрейду, Марте и Анне последний завтрак на Берггассе, 19. У них были билеты на «Восточный экспресс», отправлявшийся в тот день в Париж. Последней просьбой Анны за завтраком было подать отцу бокал вермута, чтобы подкрепить его перед дорогой. В последнюю минуту Макс Шур, который должен был ехать тем же поездом с семьёй, чтобы наблюдать за пациентом, не смог к ним присоединиться: ему потребовалась экстренная операция по удалению аппендикса. Анна сказала ему, что отцу ждать слишком опасно, и они договорились, что в поезде его заменит другой врач, Жозефина Штросс. Ещё не

оправившись от операции, Шур сумел выбраться с семьёй 10 июня - как он писал, «вероятно, в самый последний момент».

В поезде в распоряжении Фрейдов было два купе: одно для Зигмунда, Марты и Анны вместе с их любимой чау-чау Люн, другое - для Фихтль и доктора Штросс. Когда поезд тронулся, к Фихтль, к её испугу, подошёл мужчина и спросил, не из группы ли она Фрейда; она сразу решила, что это нацист. Но оказалось, что он сотрудник американской миссии, которому поручено присматривать за Фрейдами, пока они благополучно не доберутся до Франции; всю дорогу он держался от них на почтительном расстоянии, а потом исчез. Это явно была работа Уайли, вновь исполнявшего желание Буллита защитить Фрейдов.

Пока поезд катил по Германии через Мюнхен и Дахау, напряжение в обоих купе было почти осязаемым. «Это были худшие часы поездки», - вспоминала Фихтль. Доктор Штросс особенно тревожилась за вверенного ей пожилого пациента и за то, выдержит ли его сердце такое напряжение. Как писал Фрейд другу Максу Эйтингону два дня спустя, «она хорошо за мной ухаживала, ибо на самом деле тяготы путешествия вызвали у меня мучительную сердечную усталость, против которой я принимал изрядные дозы нитроглицерина и стрихнина».

Когда в половине четвёртого утра поезд приблизился к французской границе, Марта попросила Штросс и Фихтль перейти к ней, Зигмунду и Анне в купе. «Фрау профессор хотела, чтобы в ту минуту мы все были вместе», - отмечала Фихтль. Внушавшего страх таможенного досмотра так и не случилось - быть может, потому, что германские власти знали: в поезде едет американский представитель. Пограничники тоже лишь мельком взглянули на паспорта и другие документы, которые вручили им Фрейды.

Затем поезд пересёк Рейн и въехал во Францию. С видимым облегчением Фрейд откинулся на спинку сиденья. «Теперь мы свободны», - сказал он.

Глава 12

«Эта Англия»

Когда ранним утром 5 июня 1938 года «Восточный экспресс» прибыл на Восточный вокзал Парижа, на перроне прибывших из Вены встречали Мари Бонапарт, Уильям Буллит и приехавший из Лондона Эрнст Фрейд. Как вспоминала Фихтль, Бонапарт была в струящемся платье от кутюрье с наброшенной на плечи собольей накидкой, а Буллит щеголял элегантным галстуком и платочком в нагрудном кармане однобортного серого костюма; лихо заломленный хомбург довершал образ безупречного дипломата.

Встречающих сопровождал рой репортёров и фотографов, которые лихорадочно защёлкали затворами, как только Фрейды, слегка ошеломлённые, вышли из вагона. При помощи Буллита и прокладывавшего дорогу Эрнста Фрейда Бонапарт взяла дело в свои руки и провела их сквозь толпу журналистов и всё прибывавших зевак, останавливавшихся посмотреть, что за суматоха. У вокзала их ждали два автомобиля Бонапарт с шофёрами - «Бентли» и «Роллс-Ройс», - чтобы умчать на её виллу в Сен-Клу, на западной окраине города.

Фрейды провели день в её доме - отдыхали, беседовали, играли с собаками и принимали гостей, в основном на террасе или в саду, где для почётного гостя была приготовлена кушетка с шерстяными пледами, чтобы ему было тепло. По обе стороны от него в удобных креслах сидели Марта и Анна. Как писал Фрейд Эйтингону на следующий день, Бонапарт «превзошла себя в нежной заботе и внимании, вернула нам часть наших денег и не позволила мне продолжить путь без нескольких новых греческих терракотовых фигурок». Она ещё и снимала этот день на киноплёнку, запечатлев памятные кадры Фрейдов, впервые после месяцев напряжения

позволивших себе расслабиться. (Фильмы Бонапарт ныне хранятся в Библиотеке Конгресса.)

Задолго до аншлюса Фрейд, чьи сбережения уничтожила гиперинфляция после Первой мировой войны, откладывал золотые монеты на случай, если подобное повторится. Вместе с документами и другими личными вещами, тайком вынесенными с Берггассе, 19, принцесса вывезла и часть этих денег, переправив их из страны в дипломатической почте греческой миссии. В Париже она сообщила Фрейду, что его финансовое положение лучше, чем он полагал, - отсюда и его слова о том, что она вернула им «часть наших денег». Терракотовые фигурки, о которых он также упоминал, - это статуэтки и древности, которыми Фрейд любил себя окружать. Бонапарт удивила его ещё больше, преподнеся ему бронзовую римскую статуэтку Афины, стоявшую на его письменном столе в Вене; её она тоже ухитрилась тайком вывезти с Берггассе, 19.

«Один день в вашем парижском доме вернул нам хорошее настроение и чувство собственного достоинства, - писал потом Фрейд Бонапарт. - Двенадцать часов окружённые любовью, мы уехали гордыми и богатыми, под защитой Афины».

В тот же вечер группа Фрейда отправилась в последний отрезок пути, переправившись через Ла-Манш ночным паромом. В те времена железнодорожные вагоны грузили прямо на паром, так что Фрейд мог не покидать своего места на протяжении всей переправы. Море он впервые увидел, когда они причаливали в Дувре, где ему пришлось расстаться с чау-чау Люн: Британия требовала шестимесячного карантина для всех ввозимых в страну собак. Но заранее было устроено так, что Люн будет содержать «дружелюбный ветеринар», а Фрейду разрешено навещать её, когда он только сможет.

Чтобы избежать новой суматохи на лондонском вокзале Виктория, поезд Фрейда направили не на обычную платформу, где его поджидала большая группа журналистов. Лорд-хранитель печати лорд Де Ла Уорр к тому же устроил так, чтобы Фрейдам

предоставили дипломатические привилегии, избавлявшие их от таможенного досмотра. Вместо этого их встретили Эрнест Джонс с женой Кэтрин, сын Фрейда Мартин и дочь Матильда, и Джонс повёл Зигмунда и Марту к ожидавшей их машине, «чтобы быстро скрыться». Анна, Эрнст и Паула Фихтль со всем багажом последовали за ними на двух такси.

Джонс провёз Фрейдов через весь город к меблированному дому, который Эрнст снял на Элсуорти-роуд, 39, у подножия Примроуз-Хилл; ему предстояло служить им временным пристанищем, пока не прибудет их мебель и не найдётся что-нибудь постоянное. Когда они проезжали мимо Букингемского дворца, Пикадилли-серкус и Риджент-стрит, Фрейд оживлённо показывал их Марте. Но волнение, которое он испытывал, возвращаясь в город, впервые увиденный им и полюбившийся ещё в юности, омрачалось обстоятельствами его отъезда из Вены. Об этих противоречивых чувствах он откровенно писал Эйтингону. «К чувству торжества от освобождения слишком сильно примешивается печаль, ибо, несмотря ни на что, я всё ещё очень любил тюрьму, из которой меня выпустили», - писал он.

И всё же настроение его поднималось. Из окна своей комнаты, продолжал он в письме Эйтингону, «я не вижу ничего, кроме зелени, начинающейся с прелестного маленького садика, окружённого деревьями». Имея в виду свой любимый сельский уголок на окраине Вены, он добавлял: «Так что мы словно живём в Гринцинге». Его не смущало даже то, что, поскольку спальни располагались наверху, Анне, Пауле и жившему неподалёку сыну Эрнсту приходилось каждый день сносить его вниз, а вечером поднимать обратно: сам он был слишком слаб для этих путешествий.

Лучшим свидетельством того, насколько улучшилось его настроение, было вернувшееся чувство юмора. Первую прогулку по саду он совершил с Джонсом, ставшим частым гостем. «Меня так и подмывает воскликнуть „Хайль Гитлер!“», - сказал он. Экономка Фихтль слышала, как в один из первых дней Фрейд продолжал в

том же духе в разговоре с Джонсом: «Благодарим нашего фюрера за то, что он вынудил нас эмигрировать сюда».

Эти чувства лишь подкреплял энтузиазм хозяев. Британская пресса широко освещала его приезд, а медицинские журналы приветствовали его особенно восторженно. *The Lancet* указывал, что его учение всегда вызывало ожесточённые споры, нередко пробуждая враждебные чувства, как в своё время учение Дарвина. «Теперь, на склоне его лет, мало найдётся психологов любой школы, которые не признали бы своего долга перед ним, - утверждал журнал. - Медицинское сообщество Великобритании будет гордиться тем, что его страна предоставила убежище профессору Фрейду и что он избрал её своим новым домом». Фрейд писал Бонапарт в Париж, что в результате всех этих публикаций на них обрушилась лавина цветов и писем. Некоторые авторы писем просили автограф, объяснял он, но большинство писали «незнакомые люди, которые хотят лишь сказать, как они счастливы, что мы приехали в Англию и находимся в безопасности и покое».

В письме от 22 июня брату Александру, всё ещё находившемуся в Швейцарии, он, казалось, был несколько ошеломлён изъявлениями восторга: «Нас приняли сердечно сверх всякой меры. Нас вознесло на крыльях массового психоза». Многочисленные научные и еврейские общества предлагали ему почётное членство, но он отмечал и то, что его осаждают «полчища охотников за автографами, чудаков, сумасшедших и благочестивцев, присылающих трактаты и тексты из Евангелий, сулящие спасение». Скорее позабавленный, чем раздражённый, он писал: «Словом, впервые и на склоне жизни я узнал, что значит быть знаменитым». Это было не совсем точно, поскольку знаменит он был уже давно; однако большинство венцев воспринимали его славу как нечто само собой разумеющееся, без тех фанфар, что встретили его в Лондоне.

В том же письме Александру он размышлял шире - и серьёзнее - о новом положении и новой обстановке семьи. «Дело в том, что у нас всё идёт очень хорошо, я сказал бы - слишком хорошо, если бы

не больное сердце и раздражённый мочевой пузырь, напоминающие о непрочности человеческого счастья», - писал он. Анна «как обычно, трудится для себя и для других», добавлял он, а Марта «по-настоящему радуется жизни». Джонс подтверждал наблюдение Фрейда о Марте. «Миссис Фрейд никогда не оглядывалась на Вену, а смотрела лишь вперёд, на новый образ жизни, словно ей было двадцать семь лет, а не семьдесят семь», - писал он. Как и на Берггассе, 19, она настаивала на том, чтобы самой ходить за покупками, и быстро подружилась со многими лавочниками. По словам Джонса, «она была одновременно умелой и милостивой хозяйкой дома, очаровательной собеседницей и любезнейшей хозяйкой для гостей».

Главное же - Фрейд считал, что оказался прав в убеждении, что попал в единственное место за пределами Вены, где может чувствовать себя почти как дома. «Эта Англия… несмотря на всё, что поражает своей чуждостью, своеобразием и трудностью… благословенная, счастливая страна, населённая доброжелательными, гостеприимными людьми», - утверждал он.

* * *

Обосновавшись, Фрейд неизменно отклонял почти все приглашения выйти из дома. Но 10 июня, вскоре после приезда в Лондон, он появился в собачьем питомнике, где на карантине находилась Люн. Поддерживаемый Анной, заметно утомлённый Фрейд с огромным трудом добрался до входной двери. По словам Кевина Ф. Куина, заведующего питомником, Люн вознаградила его за усилия, запрыгав от радости при его появлении. «Трудно сказать, кто из них был счастливее, - рассказывал Куин австралийскому репортёру. - Я никогда не видел в глазах животного такого счастья и понимания». Фрейд целый час играл и разговаривал с собакой, добавлял он, и обещал приходить как можно чаще. Впоследствии он сдержал обещание.

Подобные исключения Фрейд делал нечасто - даже для Королевского медицинского общества, избравшего его почётным членом двумя годами раньше. 23 июня трое представителей общества пришли к Фрейду домой, чтобы он расписался в их уставной книге. Как сообщала *The Times* в заметке под заголовком «ЧЕСТЬ ПРОФЕССОРУ ФРЕЙДУ», это был «редкий случай», когда эту книгу выносили из помещения Королевского общества, поскольку Фрейд был слишком нездоров, чтобы прийти туда сам. Обычно такое исключение делалось лишь для короля, покровителя общества, расписывавшегося в книге в Букингемском дворце.

При этом присутствовали гостившая в Лондоне Мари Бонапарт и Анна Фрейд. Анна показала отцу другую подпись на странице, где ему предстояло расписаться: она принадлежала Чарльзу Дарвину, которого он почитал своим интеллектуальным героем. Среди подписавших был и Исаак Ньютон. «Хорошая компания!» - заметил он потом. Как писали «Записки и отчёты» Королевского общества, «простая, домашняя церемония обрела достоинство и пафос благодаря сердечной признательности изгнанника-психолога обществу, оказавшему ему честь».

Видные гости всё шли и шли. С некоторыми он встречался и прежде - например, с британским писателем Гербертом Уэллсом, навещавшим его в Вене. Не терпелось возобновить дружбу с ним и австрийскому писателю Стефану Цвейгу, эмигрировавшему в Англию четырьмя годами раньше. «Все эти годы беседа с Фрейдом всегда была для меня одним из величайших умственных наслаждений», - отмечал он. Вместе с тем он знал, что Фрейд стар и болен, и не вполне представлял, чего ожидать. «Втайне я немного боялся, что после всех ужасных испытаний, которые ему, должно быть, пришлось перенести в Вене, найду Фрейда озлобленным или с помутившимся рассудком, но нашёл его спокойнее и счастливее, чем когда-либо, - вспоминал он. - Стоило войти в его комнату, как безумие внешнего мира словно исчезало».

19 июля Цвейг привёл с собой Сальвадора Дали - художника-сюрреалиста, благоговевшего перед Фрейдом. Пока Дали делал

набросок, Фрейд заметил: «В классической живописи я ищу подсознательное, в сюрреалистической - сознательное». Когда набросок был готов, Цвейг понял, что тот обнажает суровую правду, которую сам он поначалу не заметил. «Я так и не решился показать его Фрейду, потому что Дали пророчески изобразил на его лице смерть».

Но Фрейд был очень благодарен за визит. «Я и правда обязан вам благодарностью за то, что вы привели вчерашнего гостя, - писал он потом Цвейгу. - Ибо до сих пор я был склонен считать сюрреалистов, которые, видимо, избрали меня своим святым покровителем, полными глупцами (скажем, на 95%, как спирт). Этот молодой испанец с его искренними фанатичными глазами и несомненным техническим мастерством изменил моё мнение».

Фрейд всё ещё мог быть живым, задиристым хозяином. Когда в октябре 1938 года к нему пришёл философ Исайя Берлин, Фрейд сам открыл дверь и провёл его в кабинет. Родившийся в 1909 году в Риге в еврейской семье, эмигрировавшей в Британию после большевистской революции, Берлин был первым евреем, избранным членом колледжа Всех Душ в Оксфорде, и быстро стал интеллектуальной звездой. Ему, естественно, было любопытно взглянуть на новоприбывшего из Вены.

То ли притворяясь несведущим, то ли и впрямь из любопытства, Фрейд спросил молодого гостя, чем тот занимается. Берлин объяснил, что пытается преподавать философию. «Тогда вы, должно быть, считаете меня шарлатаном», - заявил Фрейд, и Берлину пришлось уверять, что ничего подобного он не думает. Когда Фрейд рассказал, как бежал из Вены благодаря помощи принцессы Мари Бонапарт, Берлин признался, что ничего не знает о греческой королевской семье. «Вижу, вы не сноб», - с явным одобрением заметил Фрейд. Беседа продолжилась за чаем в саду, куда вышли Марта и их внук-подросток Люсьен. Берлин сразу почувствовал себя непринуждённо.

Во время таких визитов Фрейд старался не привлекать внимания к своему телесному упадку, хотя это давалось всё

труднее. И всё же он по-прежнему производил внушительное впечатление. Легендарная литературная чета Вирджиния и Леонард Вулф встретилась с ним лишь однажды - 28 января 1939 года, - предварительно осведомившись, согласится ли он их принять. Они входили в кружок писателей и художников, известный как группа Блумсбери. Вирджиния прославилась как писательница больше, но издательство «Хогарт-пресс», выпускавшее труды Фрейда и другие книги по психоанализу на английском, вёл в основном Леонард. Когда Фрейд пригласил их к себе, как они и надеялись, Леонард, по его признанию, шёл туда не без трепета.

«Почти все знаменитые люди разочаровывают или наводят скуку, или то и другое, - писал позднее Леонард. - Фрейд не был ни тем, ни другим; от него исходило сияние не славы, а величия». Рак челюсти брал своё, и «разговор был нелёгким», продолжал Леонард. Но Фрейд был «необыкновенно учтив, на официальный старомодный лад - например, почти церемонно преподнёс Вирджинии цветок». Он напомнил Леонарду «полупотухший вулкан, нечто мрачное, сдержанное, затаённое».

И всё же, как ни страдал Фрейд телесно, умственно он оставался деятелен. Когда разговор неизбежно зашёл о Гитлере и нацистах, Вирджиния сказала, что они с Леонардом испытывают некоторую вину за то, что британская сторона победила в Первой мировой войне. Быть может, рискнула она, иной исход предотвратил бы возвышение Гитлера. Фрейд решительно не согласился, утверждая, что Гитлер и нацисты всё равно пришли бы к власти, а победа Германии лишь сделала бы общее положение гораздо хуже.

Всё это произвело на гостей сильное впечатление. «Он вызвал во мне чувство, которое вызывали лишь очень немногие из встреченных мною людей, - чувство огромной мягкости, а за мягкостью - огромной силы», - писал Леонард. Когда Леонард заговорил о популярности его книг, Фрейд сказал, что они принесли ему не славу, а дурную славу. «Грозный человек», - заключил Леонард.

* * *

Эрнст, архитектор в семье, обосновавшийся в Лондоне раньше, был полон решимости помочь родителям найти постоянный дом, который он мог бы переделать сообразно их нуждам - и так, чтобы воспроизвести дух и главные черты Берггассе, 19, где они прожили бóльшую часть жизни. 28 июля 1938 года семья купила дом на Мэрсфилд-гарденс, 20 в Хэмпстеде - районе Лондона, излюбленном психоаналитиками. Взяв в банке «Барклайс» ипотечный кредит в 4000 фунтов, они смогли покрыть общую стоимость в 6500 фунтов. «Можете себе представить, каких жертв потребовала эта покупка от наших съёжившихся сбережений», - писал Фрейд голландской коллеге Жанне Лампль-де Гроот.

Но Фрейд, впервые увидевший дом две недели спустя и переехавший в него лишь в конце сентября, был в восторге от того, что называл «нашим собственным домом!». Построенный около 1920 года в стиле неоклассицизма эпохи королевы Анны, этот дом из красного кирпича был просторнее, чем на Берггассе, 19, с большими комнатами - «слишком красивый для нас», как объяснял Фрейд в письме Лампль-де Гроот. Он добавлял, что Эрнст «превратил этот дом в руины, чтобы заново восстановить его в виде, более подходящем для нас». Одним из добавлений младшего Фрейда был лифт, позволявший отцу спускаться из спален наверху на нижний этаж, где располагались кабинет и библиотека. Не менее важным он оказался и для тёти Минны, здоровье которой неуклонно ухудшалось.

Фрейд называл восстановление, а местами и перепланировку дома, произведённые сыном, «чистым колдовством, переведённым на язык архитектуры». В письме Эйтингону он тоже хвалил Эрнста за то, как «великолепно» тот обо всём позаботился. «Нам несравнимо лучше, чем на Берггассе, и даже лучше, чем в Гринцинге, - писал он. - „Из нищеты - к белому хлебу“, как говорит пословица». Одним из примеров работы Эрнста был книжный шкаф от пола до потолка, сконструированный им для бóльшей части

отцовского собрания книг, прибывшего из Вены вместе с прочим домашним скарбом. В книжные полки были встроены два бидермейеровских шкафа, служивших витринами для многих древностей Фрейда.

Другие части его немалой коллекции статуэток, включая новые, полученные в подарок, были расставлены на столе или размещены в дополнительных витринах. Паула Фихтль тщательно расставила привезённые из Вены так, как они стояли на Берггассе, 19. Всё это побудило Леонарда Вулфа заметить, что кабинет Фрейда - «почти музей», хотя всё «казалось очень светлым, сияющим, чистым, с приятным открытым видом из окон в сад».

Впервые осмотрев новое жилище и кабинет после того, как там расставили его вещи, Фрейд заявил: «Всё снова здесь, кроме меня». В этих словах была свойственная ему смесь иронии и самоиронии, отражавшая понимание, что стареющее тело не обновишь так легко, как новое жилище. И, несмотря на огромные усилия Эрнста, Паулы и других воспроизвести подобие венской обстановки, Фрейд остро сознавал себя чужаком, сколько бы почестей ему ни оказывали.

Он высоко ценил Англию и её народ, но теперь был эмигрантом, больше не живущим в стране, которую всегда называл домом. «Всё здесь довольно странно, трудно и часто сбивает с толку, но всё же это единственная страна, где мы можем жить», - писал он Мари Бонапарт 4 октября. У немолодых эмигрантов такие противоречивые чувства были обычным делом, и Фрейд в этом отношении не был исключением.

К тому же события в Германии тревожили Фрейда больше, чем он обычно показывал. В сентябре воинственная риторика Гитлера в адрес Чехословакии, казалось, вот-вот развяжет новую войну. Как вспоминала Дороти Берлингем, тоже переехавшая в Лондон, чтобы быть рядом с Анной, «вы бы видели парки - внезапно в них повсюду появились зенитки, нацеленные в небо… Можете представить себе наших друзей-иммигрантов: все такие несчастные, что выбрали Англию, все так напуганы тем, что с ними будет».

30 сентября премьер-министр Невилл Чемберлен вернулся со встречи с Гитлером в Мюнхене, похваляясь, что добился «мира для нашего поколения», уступив Германии Судетскую область, - что вызвало ликование у большинства соотечественников. Но в письме Бонапарт Фрейд мрачно замечал, что «теперь, когда угар мира прошёл, и народ, и парламент приходят в себя и смотрят в лицо мучительной правде. Мы, конечно, тоже благодарны за толику мира, но радоваться ему не можем».

Вести из Германии становились всё хуже. 10 ноября в его дневнике значилось просто: «Погромы в Германии». Речь шла о «Хрустальной ночи», когда нападения на евреев, их лавки, предприятия, синагоги и дома по всей стране ознаменовали резкую эскалацию всё более жестокой антисемитской кампании Гитлера.

Как и других эмигрантов, Фрейда особенно тревожили оставшиеся позади родные - четыре его сестры. «Последние ужасающие события в Германии обостряют вопрос о том, что делать с четырьмя старухами от семидесяти пяти до восьмидесяти», - писал он Бонапарт 12 ноября. Он напоминал ей, что дал им значительную сумму денег, но тревожился, не конфисковали ли её. Он прикидывал также, нельзя ли переправить их на юг Франции. «Но возможно ли это?» - спрашивал он. Надежды в его голосе не слышалось.

Фрейд не дожил до того, чтобы узнать, что стало с сёстрами. Летом 1942 года все четыре были депортированы из Вены в Терезиенштадт, который выдавался за образцовое гетто, а на деле служил главным образом пересыльным лагерем для узников, которых обычно убивали в других местах. Трёх сестёр - Розу, Марию и Паулину - 23 сентября отправили эшелоном в лагерь смерти Треблинка II, где они погибли в газовых камерах. Адольфина, которую звали Дольфи, оставалась в Терезиенштадте ещё несколько дней, но умерла там 29 сентября. Мартин Фрейд писал, что она умерла от голода.

* * *

Как всегда, Фрейд был поглощён и работой - и удручён тем, что считал резко упавшей продуктивностью из-за слабеющего здоровья. Но он продолжал принимать пациентов, которые ложились на его знаменитую кушетку, последовавшую за ним из Вены. Обосновавшись в новом доме, он мог принимать до четырёх пациентов в день, когда чувствовал себя достаточно хорошо. Продолжали приходить и гости, и, как сообщал Шур, он по-прежнему жадно читал.

Анна по-прежнему оставалась главной сиделкой отца, но летом 1938 года побывала и на пятнадцатом Международном психоаналитическом конгрессе в Париже - последнем перед окончанием Второй мировой войны. Председательствовал на нём Джонс, а прочитанный там отрывок из незавершённой работы Фрейда «Моисей и монотеизм» позволил основателю присутствовать на конгрессе духом.

Зная, что время его на исходе, Фрейд хотел довести до конца незавершённые замыслы. Когда вскоре после его переезда в Лондон к нему приехал Уильям Буллит, американец привёз с собой рукопись их биографии Вудро Вильсона, надеясь уладить оставшиеся разногласия. В частности, Буллит хотел, чтобы соавтор согласился убрать добавленные им прежде пассажи. К его облегчению, Фрейд принял его совет и одобрил текст без них. Поскольку они также условились не публиковать книгу, пока жива Эдит Вильсон, вдова президента, Фрейд знал, что не доживёт до её выхода, но по крайней мере мог быть уверен, что когда-нибудь она будет издана.

Иные чувства вызывала у него книга о Моисее. Первые две части этого труда, основанного на спорном тезисе, что Моисей был египтянином, появились в немецком психоаналитическом журнале *Imago* в 1937 году и уже привлекали критическое внимание. Но, чтобы подготовить книгу к изданию, ему нужно было написать третью часть. Однако всего через несколько дней после приезда Фрейда в Лондон к нему явился видный библеист Авраам Шалом Яхуда, чтобы убедить его вовсе её не публиковать.

Яхуда был в своём противодействии далеко не одинок. В письме немецко-еврейскому писателю Арнольду Цвейгу Фрейд упоминал полученное им письмо от молодого американского еврея, «в котором меня просят не отнимать у его бедного несчастного народа единственное утешение, оставшееся ему в его беде». Он объяснял, что это «благонамеренное» письмо переоценивает его влияние. «Неужели я должен поверить, что мой сухой очерк поколеблет веру хотя бы одного… человека…» - спрашивал он. Учитывая его известность не только как основателя психоанализа, но и как одного из ведущих мыслителей, это был, мягко говоря, не самый убедительный довод.

Хотя Фрейд не желал склоняться перед подобными попытками заткнуть ему рот, они, возможно, усугубили трудности, с которыми он столкнулся, берясь за заключительную часть о монотеистических религиях. Ещё до отъезда из Вены он признавался в письме Джонсу, что книга «мучит меня, как неупокоенный призрак». Последние три слова были написаны по-английски; видимо, он хотел сказать нечто вроде «призрака, которого невозможно изгнать». В самом тексте он писал о «внутренних сомнениях, а также внешних препятствиях», преследовавших его на протяжении всей работы над книгой о Моисее.

И всё же он был полон решимости закончить рукопись как можно скорее после приезда в Лондон. 15 июля в его дневнике значится: «Моисей продан в Америку», что очень его ободрило по двум причинам: американские продажи были жизненно важны для успеха английского издания, и он надеялся, что это принесёт деньги на покрытие расходов семьи. Два дня спустя он записал в дневнике: «Моисей закончен».

Последнюю часть Фрейд начал писать ещё в Вене, не будучи уверен, выпустит ли её когда-нибудь в свет. В той части, что он написал в Лондоне, он счёл нужным объяснить, почему его взгляд переменился. «Прежде я жил под защитой католической церкви и опасался, что, опубликовав очерк, лишусь этой защиты и что

практикам и изучающим психоанализ в Австрии запретят их работу, - писал он. - Затем внезапно на нас обрушилось германское вторжение, и католицизм оказался, как сказано в Библии, „лишь тростью надломленной“». Поскольку он знал, что преследовать его будут «теперь не только за мою работу, но и за мою „расу“», ему пришлось искать убежища в Англии.

В стране, оказавшей ему «самый радушный приём», он почувствовал себя избавленным от угрозы преследований и свободным опубликовать труд, который, как он знал, вряд ли встретит всеобщие рукоплескания. «Теперь я осмеливаюсь обнародовать последнюю часть моего очерка», - объявлял он. Он знал, что она оскорбит многих его собратьев-евреев, но старался объяснить, что не отвергает иудаизм в целом. Отвечая на письмо Комитета Еврейского научного института (ИВО), он писал: «Вы, несомненно, знаете, что я с радостью и гордостью признаю своё еврейство, хотя моё отношение к любой религии, включая нашу, критически отрицательное». В другом письме он добавлял: «Мы, евреи, всегда умели уважать духовные ценности. Мы сохранили единство благодаря идеям, и благодаря им дожили до сего дня».

Признавая в «Моисее и монотеизме», что вера в единого Бога была средоточием ценностей и выживания еврейского народа, Фрейд противопоставлял этой вере - не только евреев, но и других - то, что считал реальностью: никакого такого Бога нет. «Религиозный довод основан на оптимистической и идеалистической предпосылке, - писал он. - Человеческий интеллект нигде не проявил себя наделённым особенно хорошим чутьём на истину, а человеческий ум - особой готовностью принимать истину».

Стефан Цвейг навестил Фрейда вскоре после выхода книги о Моисее. По его рассказу, он застал Фрейда сокрушающимся, что книга вышла «в самый страшный час еврейской истории». Цвейг приводил слова Фрейда: «Теперь, когда у евреев всё отнимают, являюсь я и отнимаю у них ещё и их великого человека», - имея в виду его довод, что Моисей был египтянином. Однако поступки и

слова Фрейда наводят на мысль, что, став наконец свободным человеком, он вовсе не сожалел о том, что поставил других перед лицом того, что считал истиной, пока у него ещё были на это силы.

«Моисей и монотеизм» окажется последним завершённым трудом Фрейда, но он начал и небольшую новую книгу «Очерк психоанализа», призванную подытожить его взгляды на избранную им область. Она вышла посмертно, хотя закончить её он так и не смог. Болезни начали брать своё прежде, чем он это сделал.

* * *

Через шесть дней после того, как группа Фрейда покинула Вену, на венском вокзале появился Макс Шур с женой и двумя детьми. Врач Фрейда ещё был в инвалидном кресле, весь в бинтах после экстренной операции аппендицита, и в парижский поезд его пришлось вносить на руках - его тогда пятилетний сын Питер помнит это до сих пор. Во французской столице их тоже встретила Мари Бонапарт, и три дня Шур поправлялся у неё в доме. «Поправляться, конечно, значило больше, чем залечивать рану на животе, - вспоминал Макс Шур. - Какой невероятный контраст - оказаться вне мира безумцев».

Догнав Фрейда в Лондоне, Шур вернулся к привычной роли его главного врача. Министерство внутренних дел позволило ему делать это даже прежде, чем он сдал обязательные британские медицинские экзамены. Поначалу его ободряло, как «поразительно» Фрейд перенёс путешествие из Вены в Лондон, и радовала его преданность работе тем летом. Но Шур знал и то, что у пациента могут появиться новые очаги поражения во рту. Прежде они большей частью были предраковыми, но, как он отмечал, «тенденция последних двух лет была к полной злокачественности».

К августу появление новых очагов встревожило Шура настолько, что он связался с Гансом Пихлером, челюстным хирургом, оперировавшим Фрейда в Вене, и попросил его приехать в Лондон, чтобы снова лечить своего знаменитого пациента. Анна

Фрейд полностью поддержала эту просьбу, хотя отец поначалу считал, что они понапрасну бьют тревогу.

7 сентября Пихлер прибыл и на следующий день прооперировал Фрейда. «Иссечение больших кусков очень твёрдой, плотной ткани», - записал он. Операция прошла успешно, но выздоровление шло медленно и мучительно. В письме Мари Бонапарт от 4 октября он писал: «Эта операция была худшей с 1923 года и отняла у меня очень много сил. Я страшно устал и чувствую слабость при каждом движении». Выздоровление, добавлял он, должно было занять шесть недель, так что оставалось ещё две. Тем не менее он снова начал принимать пациентов.

Шур считал, что этот период ознаменовал «конец творческой деятельности Фрейда», как он называл его писательство. В другом письме Бонапарт от 12 ноября Фрейд, похоже, был с этим согласен. «Я всё ещё совершенно непродуктивен. Могу писать письма, но не более того», - заявлял он. Даже голос выдавал его слабеющие силы. 7 декабря Би-би-си записала у него дома его обращение. Надеялись, что он прочтёт введение к одной из своих книг, но он лишь кратко сказал несколько слов глухим голосом. Его последние слова: «В возрасте 82 лет в результате германского вторжения я покинул свой дом в Вене и приехал в Англию, где надеюсь окончить жизнь на свободе».

После того как в феврале 1939 года у него обнаружили неоперабельный очаг во рту, Фрейду начали лучевую терапию, ещё больше его ослабившую. 28 апреля он сообщил Бонапарт, что Анна больше не может ездить в Париж на собрания. «Я всё меньше способен заботиться о себе и всё больше завишу от неё. Какое-нибудь вмешательство, которое сократило бы этот жестокий процесс, было бы очень кстати». И всё же он сумел порадоваться своему восемьдесят третьему дню рождения 6 мая, прогуливаясь по саду, где собрались родные и гости. Неизменно преданная экономка Фихтль привязала поздравления к шеям собак, и те доставили их Фрейду.

Если Фрейд и смирился с тем, что жить ему осталось недолго, одно стремление у него ещё оставалось: он хотел стать британским подданным. Как отмечал его сын Мартин, «отец любил Англию». В письме Герберту Уэллсу от 16 июля 1939 года Фрейд объяснял, что «с тех пор как я приехал в Англию восемнадцатилетним юношей, моей заветной мечтой-фантазией было поселиться в этой стране и стать англичанином».

Уэллс добивался парламентского акта, который исполнил бы желание Фрейда, но парламентарии не пожелали отменить пятилетний ценз оседлости для всякого, кто хотел натурализоваться. Им казалось, что дело в том, чтобы не создавать прецедента. Но и Уэллс, и Фрейд знали, что у того нет никаких шансов прожить достаточно долго, чтобы получить на это право.

* * *

Как ни был Шур предан своему знаменитому пациенту, у него были и собственные устремления. Не воспользовавшись сразу визами в Соединённые Штаты, выданными ему и семье в 1937 году, и затем раз за разом откладывая отъезд, он рисковал лишиться возможности поселиться в этой стране. В отличие от Фрейда, он не собирался провести остаток жизни в Англии - и не разделял презрения Фрейда к Соединённым Штатам. После Мюнхенского кризиса он снова подал прошение об американских визах и узнал, что прежние заявления всё ещё считаются действительными. Была, однако, одна загвоздка: воспользоваться ими нужно было до конца апреля, иначе они пропадут.

Когда показалось, что лучевая терапия улучшает состояние Фрейда, Шур решил поехать с семьёй в Соединённые Штаты и 21 апреля 1939 года отплыл туда. Он рассчитывал получить «первые бумаги» для натурализации, сдать экзамены штата Нью-Йорк на медицинскую лицензию и затем как можно скорее вернуться в Лондон, чтобы снова заботиться о Фрейде до, казалось бы, неминуемого конца его дней.

Шур договорился с другим врачом, чтобы тот заменял его на время отсутствия, но знал, что Фрейд «не вполне одобрял» эту поездку. «Он привык ко мне и в известном смысле от меня зависел, и, вероятно, чувствовал, что я его бросаю или, хуже того, ставлю на нём крест», - писал позднее Шур. Тем не менее Фрейд помог ему с некоторыми формальностями и пожелал успеха. Из Нью-Йорка Шур регулярно связывался с замещавшим его врачом и с Анной, и поначалу его ободряли их сообщения, что лучевая терапия по-прежнему помогает Фрейду.

Но в письме Бонапарт от 28 апреля Фрейд отвергал этот взгляд. «Меня пытаются убаюкать атмосферой оптимизма, уверяя, что опухоль уменьшается, а реакция на лечение временна, - писал он. - Я этому не верю и не люблю, когда меня обманывают».

Полный решимости сдержать обещание как можно скорее вернуться к Фрейду в Лондон, Шур пустил в ход все связи, чтобы ускорить бюрократические процедуры в Соединённых Штатах. Благодаря вмешательству федерального судьи Джулиана Мака, отца Рут Мак-Брансвик, американского психиатра, учившейся и работавшей у Фрейда в Вене, 15 июня он получил «первые бумаги». В конце месяца Шур сдал медицинские экзамены и вместе с семьёй отплыл обратно в Англию на «Иль-де-Франс», прибыв 8 июля.

Поспешив на Мэрсфилд-гарденс, Шур был поражён видом пациента. «Я нашёл, что Фрейд выглядит гораздо хуже, - вспоминал он. - Он похудел и был несколько апатичен, по крайней мере по сравнению с обычной своей умственной бодростью». Кожа над правой скулой изменила цвет, а за время облучения он лишился части бороды. Осмотрев его рот, Шур поразился болезненности кости в поражённой области и исходившему оттуда зловонию. Они слишком хорошо знали друг друга, чтобы делать вид, будто положение не крайне серьёзно. «Он знал, что я думаю; я знал, что знает он», - отмечал Шур.

Сделать можно было немногое - разве что попытаться облегчить боль. Поскольку Фрейд «ненавидел барбитураты и опиаты» и думал о морфии лишь «как о крайнем средстве», писал

Шур, они с Анной применяли ортоформ - порошок, служивший местным анестетиком, но никак не восстанавливавший разрушенную кость во рту. Анне, которая одновременно вела практику и пыталась спасать аналитиков, ещё остававшихся на континенте, приходилось ухаживать за ним по ночам. Она всё подсыпала ортоформ, поскольку боль не давала ему спать.

К августу Фрейд больше не мог принимать пациентов, и ему пришлось оставить дело всей жизни. Ему требовалось всё больше отдыха; он спал в кабинете, больше не поднимаясь по вечерам наверх. Оттуда ему был виден сад с цветами, что было слабым утешением, но даже любимая чау-чау больше не хотела быть рядом с ним. Как вспоминал Шур, собака «не выносила запаха», исходившего от ран во рту, и, если её приносили в комнату, забивалась в дальний угол. Фрейд понимал почему и «смотрел на своего любимца с трагической, понимающей печалью», писал Джонс.

Мари Бонапарт в последний раз навестила Фрейда в начале августа, а позже в том же месяце из Франции приехала и его пятнадцатилетняя внучка Ева, единственный ребёнок его сына Оливера. Как писал Шур, «он проявлял особую нежность к этой очаровательной девочке», прекрасно зная, что больше её не увидит. Джонс и другие тоже приходили прощаться.

1 сентября Германия напала на Польшу, развязав Вторую мировую войну. Шур в это же время переехал в дом Фрейдов, а семью отправил в безопасное место за пределами Лондона. 3 сентября, когда Британия и Франция объявили войну Германии, Марта, Минна и Анна пришли к Шуру в кабинет Фрейда, превращённый в нечто вроде больничной палаты. В те первые дни войны, отмечала Фихтль, старшие Фрейды сохраняли стоическое спокойствие, тогда как младшие члены семьи нередко бывали близки к панике, когда начинали выть первые сирены воздушной тревоги.

Патриарх соблюдал меры предосторожности, которые принимали все при тревогах, - особенно те, что призваны были

уберечь его рукописи и коллекцию произведений искусства. Но, как выразился Шур, он был уже «далеко», всё более отрешаясь от круговерти событий вокруг. Когда Шур спросил, что он думает о старом утверждении времён Первой мировой войны, повторённом в радиопередаче о новом конфликте, будто это будет «последняя война», тот ответил: «Во всяком случае, для меня она последняя».

В личной войне с хронической болью, вспоминал Джонс, Фрейд ни разу не выказал нетерпения. «Философия смирения и принятия неизменной реальности торжествовала до конца». Когда 19 сентября Джонс навестил его в последний раз, Фрейд дремал, но потом открыл глаза и помахал рукой, что валлиец принял за знак приветствия и прощания.

Два дня спустя Фрейд взял врача за руку и сказал ему по-немецки: «Дорогой Шур, вы, конечно, помните наш первый разговор. Вы обещали мне тогда не оставить меня, когда придёт моё время. Теперь это лишь мука и больше не имеет смысла».

Шур заверил его, что не забыл своего обещания, и Фрейд поблагодарил его. И сказал: «Скажите об этом Анне». Шур так и сделал и с её согласия на следующее утро ввёл Фрейду два сантиграмма морфия, погрузившие его, как вспоминал Шур, в «мирный сон». Через двенадцать часов последовала вторая доза, от которой он впал в кому. В три часа утра 23 сентября 1939 года Фрейд умер.

Семья в основном примирилась с таким исходом. Как объясняла позднее Анна подруге, «я думаю, нет ничего хуже, чем видеть, как самые близкие люди утрачивают те самые качества, за которые их любишь. От этого с отцом я была избавлена: он оставался самим собой до последней минуты».

В письме Паулю Федерну, давнему коллеге Фрейда, бывшему вице-президенту Венского психоаналитического общества, тоже бежавшему в 1938 году, Марта говорила столь же философски. «Я не могу даже жаловаться, ибо мне было даровано больше, чем целая жизнь, в течение которой мне позволено было заботиться о нём,

ограждать его от тягот повседневности, - писала она. - То, что моя жизнь теперь утратила смысл и содержание, вполне естественно».

Утром 26 сентября родные и друзья, которые смогли добраться до Лондона, собрались в Голдерс-Грин, где тело Фрейда было кремировано. Его прах поместили в греческую вазу - ещё один подарок Мари Бонапарт, вернувшейся ради церемонии из Парижа.

Надгробное слово произнёс Эрнест Джонс. Он говорил о свершениях Фрейда и о том, что его наследие надолго переживёт его. «Его творческий дух был так силён, что он вдохнул себя в других, - сказал он. - Если о каком-либо человеке можно сказать, что он победил саму смерть, что он живёт вопреки Царю Ужасов, который для него никаких ужасов не таил, то этот человек - Фрейд».

Спокойствие Фрейда перед лицом смерти объяснялось не только его выверенным реализмом. Другим решающим фактором была преданность всех его спасителей - мужчин и женщин, благодаря которым он смог умереть на свободе.

Послесловие

После смерти Фрейда У. Х. Оден написал стихотворение, в котором попытался уловить смысл его жизни - и то, как его присутствие по-прежнему даёт о себе знать. Ключевые строки из «Памяти Зигмунда Фрейда»:

для нас он больше не человек,

а целый климат мнений.

Особенно верно это было для членов спасательной команды Фрейда, чья жизнь и дальше складывалась под влиянием оставленного им «климата мнений». Его идеи, изложенные в сочинениях, лекциях, переписке и бесчисленных сеансах терапии и беседах, продолжали витать вокруг них, всё глубже проникая в их мышление. Его смерть дала им новый стимул продолжать его дело.

Взглянем, что стало с главными героями этой истории.

* * *

Анна Фрейд до конца жизни прожила в доме на Мэрсфилд-гарденс, 20, где умер её отец. Сначала она жила там с матерью Мартой и больной тётей Минной, без своей спутницы Дороти Берлингем, уехавшей в августе 1939 года в Нью-Йорк к рождению первого внука. Из-за начала Второй мировой войны та смогла вернуться в Лондон лишь в апреле 1940 года.

Пока Минна была жива, Дороти жила на той же улице, что и Анна, но в другом доме - на Мэрсфилд-гарденс, 2. Когда в 1941 году Минна умерла, Дороти переехала к Анне. Марта Фрейд умерла в 1951 году в возрасте девяноста лет, оставив двух женщин - которые, как писал биограф и внук Дороти Майкл Берлингем, выглядели «совсем как супружеская пара», - провести вместе следующие двадцать восемь лет, до смерти Дороти в 1979 году.

В 1941 году Анна и Дороти открыли Хэмпстедские военные ясли, чтобы заботиться о детях, оставшихся из-за войны без крова, и наблюдать за ними. На основе этого опыта Анна написала «Маленьких детей в военное время» и другие исследования, ещё больше упрочившие её репутацию одного из лидеров в своей области. После войны они с Дороти основали Хэмпстедский курс и клинику детской терапии, после её смерти переименованные в Национальный центр Анны Фрейд для детей и семей. Она также часто ездила читать лекции в Йель и другие университеты Соединённых Штатов.

Её клиника привлекала студентов со всего света, которые видели в ней и крупную самостоятельную фигуру, и дочь основателя психоанализа. Джонатан Тобис, студент-медик из Соединённых Штатов, вспоминал о своей стажировке в клинике в начале 1970-х годов - особенно об общих собраниях, на которых Анна Фрейд обсуждала свою работу. «Это было всё равно что сидеть у ног Будды, - говорил он. - Человек шестьдесят в комнате, с затаённым вниманием и благоговением слушающих, как она разбирает тонкие различия между „стыдом“ и „виной“».

Анна умерла в 1982 году в возрасте восьмидесяти шести лет; её прах покоится в так называемом Уголке Фрейда в крематории Голдерс-Грин, рядом с греческой вазой, где хранится прах её отца и матери. Дом на Мэрсфилд-гарденс, 20 ныне занимает Музей Фрейда в Лондоне. Подобным же образом в доме на Берггассе, 19, где семья Фрейда жила в Вене, ныне располагается венский Музей Зигмунда Фрейда.

* * *

Эрнест Джонс оставался президентом Международной психоаналитической ассоциации до 1949 года - с 1932 года (а прежде - с 1920 по 1924-й). В послевоенные годы он продолжал принимать пациентов, но главным его стремлением было написать

полную биографию Фрейда, исследующую не только его профессиональную, но и личную жизнь.

«Это не та книга, которую одобрил бы сам Фрейд», - писал Джонс в предисловии к первому из трёх томов, выпущенных им в 1950-е годы. В своих сочинениях Фрейд, по его ощущению, «раскрыл о своей личной жизни достаточно» и хотел «сохранить в тайне остальное», пояснял Джонс. Чтобы написать по-настоящему авторитетную биографию, Джонсу нужно было убедить семью Фрейда оказать ему полную поддержку, сознавая при этом, что сам герой ничего подобного не желал.

Джонсу удалось завоевать доверие семьи по двум главным причинам. Во-первых, его красноречивое надгробное слово на похоронах Фрейда произвело сильное впечатление, особенно на Анну и Марту. Во-вторых, биографии и статьи, публиковавшиеся в первое десятилетие после смерти Фрейда, обычно раздражали родных, считавших, что в них он представлен ложно, его идеи искажены, а сведения неточны. Анна, Эрнст, Матильда и Мартин - дети Фрейда, жившие ещё в Англии, - решили, что Джонс, так долго знавший их отца и работавший с ним, - единственный человек, способный попытаться восстановить истину.

Хотя в 1949 году Джонсу исполнилось семьдесят, он взялся за новый замысел со свойственными ему поразительной энергией и воодушевлением. Он первым делом подробно расспросил Марту, давшую ему бóльшую часть сведений о ранних годах супругов, ещё до её смерти в ноябре 1951 года. Он собрал также всю переписку Фрейда, какую только мог, и обратился к Анне с просьбой дать ему копии глубоко личных писем, которыми её родители обменивались во время долгой помолвки на расстоянии.

Чтобы убедить её согласиться, Джонс вскоре после смерти Марты показал ей черновик первой главы. «Я просто поражена объективным, фактическим и научным подходом ко всему предмету», - писала она одному из друзей отца. После этого она помогала ему чем только могла. Когда Джонс издал свой труд,

посвящение гласило: «Анне Фрейд, истинной дочери бессмертного отца».

Джонс завершил все три тома, прежде чем у него обнаружили рак печени. Лёжа в больнице и страдая от боли, он прекрасно понимал, что происходит. 11 февраля 1958 года он попросил врача помочь ему уйти из жизни. Как и Фрейд, он настоял на том, чтобы это последнее решение принять самому. Когда его желание исполнили, рядом с ним была жена Китти.

* * *

Мари Бонапарт не сумела спасти четырёх сестёр Фрейда, но деятельно помогала другим евреям бежать из-под германской власти. Она направляла деньги еврейским организациям, устраивавшим бегство учёных и врачей, и добивалась у французских политиков транзитных виз и видов на жительство для них. Её биограф Селия Бертен подсчитала, что она помогла спасти почти двести евреев, хотя никогда не афишировала своего участия в таких делах. Выдвигала она и куда менее практичные идеи - например, предлагала Уильяму Буллиту, послу США в Париже, чтобы его страна купила землю в Мексике и основала там еврейское государство.

В послевоенную эпоху Бонапарт продолжала двойную жизнь практикующего психоаналитика и члена высшего общества. Как принцессе Греческой и Датской, ей естественно было присутствовать на коронации королевы Елизаветы II в 1953 году. В том же году вышло английское издание её книги на тему, всегда занимавшую её больше всего. Название - «Женская сексуальность».

Она возвращалась в Лондон по таким поводам, как открытие клиники, основанной Анной Фрейд и Дороти Берлингем, и торжественное открытие Эрнестом Джонсом мемориальной доски в честь Зигмунда Фрейда на Мэрсфилд-гарденс, 20. Участвовала она и в крупных собраниях коллег. В 1957 году на двадцатом Международном психоаналитическом конгрессе в Париже она

выступила с чем-то вроде прощального слова обо всём, что привёл в движение Фрейд. Психоанализ, заявила она, привёл к «освобождению неудержимых половых инстинктов; к большей откровенности с нашими детьми, к большей половой свободе для женщин». В результате «человечество… стало чуть менее лицемерным и, быть может, чуть более счастливым».

В том же докладе на конгрессе она доказывала, что психоанализ побуждает каждого смотреть в лицо реальности, включая высшую реальность человеческого существования. Вместо того чтобы искать прибежища в религиях, отрицающих реальность смерти, людям лучше учиться у Фрейда, который проявил «большее приятие, а значит, и мужество перед лицом смерти - того неотвратимого врага, которому лучше смотреть в глаза, чем отрицать его».

Но к смертной казни она отнюдь не относилась философски, неистово хлопоча за Кэрила Чессмена - осуждённого насильника, похитителя и грабителя, двенадцать лет просидевшего в камере смертников Сан-Квентина, прежде чем его казнили в 1960 году.

Узнав в восемьдесят лет, что у неё лейкемия, Бонапарт поделилась диагнозом с дочерью. Мари выразила надежду, что, может быть, проживёт дольше, но, похоже, готова была принять исход. Она умерла 21 сентября 1962 года.

* * *

Уильям Буллит всегда был чрезвычайно честолюбив и после падения Франции в 1940 году вернулся со своего посольского поста в Париже, надеясь получить ведущую роль в администрации Рузвельта. У него были сторонники - например, помощник президента Гарольд Икес, уговаривавший начальника назначить его государственным секретарём, - но безуспешно. «Он слишком много говорит и слишком скор на спуск», - отвечал Рузвельт. Эффектная отставка Буллита из американской делегации на мирных переговорах в Париже в конце Первой мировой войны и

последовавшие за ней резкие обличения Вудро Вильсона и Версальского договора и создали ему такую репутацию.

Отказываясь назначать Буллита на высшие посты, Рузвельт всё же обращался к нему за советом по самым разным международным вопросам, и Буллит мог бы и дальше играть в Вашингтоне заметную роль. Однако после того как заместитель государственного секретаря Самнер Уэллес во время поездки поездом в столицу сделал непристойное предложение двум проводникам-мужчинам, Буллит совершил роковую ошибку: 23 апреля 1941 года он предупредил президента, что замятый инцидент может вызвать «ужасный общественный скандал», и призвал уволить Уэллеса. Делу Буллита не помогало и то, что его считали завидующим высокому положению Уэллеса. Рузвельта больше возмутила то, что он счёл мстительностью Буллита, чем поведение Уэллеса, которому удалось удержаться на посту ещё два года.

Вскоре Буллит был полностью отодвинут в сторону. В 1943 году он баллотировался от демократов в мэры Филадельфии, но проиграл выборы. Не сумев из-за возраста получить офицерское звание в армии США, он вступил в Свободные французские силы генерала Шарля де Голля. Он служил одним из ближайших помощников командующего Первой французской армией и пострадал, попав под машину, во время боёв за Эльзас. В Париже он вернулся в посольство США, где прежде был послом, и отпер ворота, четыре года стоявшие запертыми.

Но никакой героизм не мог спасти его дипломатическую карьеру на родине. Выступая против уступок Рузвельта Сталину на Ялтинской конференции, позволивших Кремлю установить контроль над Восточной Европой, он стал таким же резким критиком президента - даже после его смерти 12 апреля 1945 года, - каким они с Фрейдом были по отношению к Вильсону. Буллит считал, что оба американских президента уступили иностранному давлению, подготовив почву для новой нестабильности и, возможно, нового пожара. В книге 1946 года «Сам великий шар земной» он предупреждал об опасности новейшего оружия -

атомной бомбы. «После следующей мировой войны… никакого „после“ может и не быть», - писал он.

Книга Буллита и Фрейда о Вильсоне наконец вышла в декабре 1966 года, и отзывы были сплошь отрицательными. Буллит их не увидел: он был тогда снова в Париже, проигрывая борьбу с хроническим лимфолейкозом. Он умер 15 февраля 1967 года в возрасте семидесяти шести лет, глубоко озлобленным человеком. В отличие от Фрейда и большинства других членов его спасательной команды, он так и не примирился со своей судьбой.

* * *

Антон Зауэрвальд, нацистский попечитель, ведавший делами Фрейда в Вене после аншлюса, остался в этой драме фигурой несколько загадочной. После отъезда Фрейда в Лондон он навещал оставшихся сестёр Фрейда, по всей вероятности пытаясь оградить их от своих хозяев. Но когда во время войны его призвали техническим специалистом в люфтваффе, помогать им он больше не мог.

Взятый в плен американцами в марте 1945 года и содержавшийся в лагере для военнопленных, он был освобождён в июне, через месяц после окончания войны в Европе. Но, вернувшись в Вену, обнаружил, что его беды далеко не кончились. Отчасти по настоянию Гарри Фрейда, офицера армии США, винившего Зауэрвальда в преследовании своего знаменитого дяди, его дело взял в производство недавно созданный Народный суд. Обвинение вменяло Зауэрвальду членство в нацистской партии до аншлюса, когда партия была запрещена; его обвиняли также в финансовых махинациях в период экспроприации еврейского имущества.

В письме Гарри Фрейду в октябре 1945 года Анна Фрейд опровергала его версию событий, утверждая, «что мы поистине обязаны Зауэрвальду жизнью и свободой». 22 июля 1947 года она написала Марианне Зауэрвальд, отчаянно искавшей помощи для

мужа, заверив её, что они с матерью «никоим образом не забыли», что он сделал для защиты её отца «в весьма опасном положении».

Письмо помогло освободить Зауэрвальда из тюрьмы, но дело тянулось до 1949 года, когда суд наконец его оправдал. Он умер в 1970 году в Инсбруке.

* * *

Макс Шур почти сразу после смерти Фрейда увёз семью в Соединённые Штаты, осуществив давний замысел поселиться там. Но в октябре 1939 года плавание через Атлантику было крайне опасным. «Помню, как мы подбирали из шлюпок уцелевших после того, как подлодка потопила судно, а потом видели, как британские военные корабли кружат вокруг горящего судна», - рассказывал в 1994 году в речи об отце в Венском психоаналитическом объединении Питер Шур, которому тогда было всего шесть лет. Потом их судно попало в ураган, и его мать-врач делала одному из членов экипажа экстренную операцию аппендицита, а отец давал наркоз.

В Нью-Йорке Шур возобновил частную врачебную практику и поначалу работал в отделении сифилидологии и дерматологии больницы Бельвю. Он стал также членом Нью-Йоркского психоаналитического общества, преподавал и практиковал психоанализ в медицинском центре «Даунстейт» Университета штата Нью-Йорк.

Шур поддерживал связь с другими членами спасательной команды Фрейда - Анной Фрейд, Мари Бонапарт и Эрнестом Джонсом, который помог спасти не только Фрейда, но и его самого. В 1964 году он прочёл в Нью-Йоркском психоаналитическом обществе лекцию «Проблема смерти в сочинениях и жизни Фрейда». По совету Анны Фрейд он написал более полный рассказ о своих отношениях с Фрейдом и закончил рукопись перед смертью в 1969 году, в возрасте семидесяти двух лет.

Книга «Фрейд: жизнь и умирание» вышла в 1972 году. Помимо множества новых подробностей о Фрейде, в ней отразилось почти благоговейное преклонение Шура перед своим пациентом. «Он всегда был глубоко человечным и благородным человеком в полнейшем смысле этого слова, - писал он. - И я видел, как он встретил умирание и смерть так же благородно, как встречал жизнь».

Благодарности

Один собрат по перу как-то сказал мне, что самое трудное в писании книг - время между ними. Если вы не из тех, кто всегда думает на несколько шагов вперёд, вы вдруг оказываетесь без руля и без ветрил, сбитым с толку, в поисках следующего замысла и без всякой уверенности, что найдёте что-то столь же увлекательное, как прежний. Но когда кто-то или что-то подсказывает идею, которая кажется не просто правдоподобной, а по-настоящему захватывающей, вы тут же чувствуете прилив сил и обновлённое ощущение цели. И безмерно благодарны тому, кто или что вернуло вас на верный путь.

Я точно помню, что подсказало мне замысел «Спасения Фрейда». Говард Эстрин, тогда ещё недавний знакомый, прислал мне «Вчерашний мир» Стефана Цвейга - прекрасно написанные воспоминания о юности в Вене на рубеже прошлого века. Меня заинтересовало, как Цвейг воссоздаёт интеллектуальную атмосферу преимущественно еврейских кругов, в которых вращался, и особенно поразили его описания встреч с Фрейдом в Вене и позднее в Лондоне. Я попался на крючок; если у этой книги и был момент озарения, то именно этот.

Фрейд - фигура, быть может, и знакомая, но многие, включая меня самого, очень мало знали о круге друзей, в конце концов вызволивших его из Вены, или о его любопытном сочетании революционных теорий и консервативных взглядов. Рассказывая эту историю, я опирался прежде всего на обширные сочинения и переписку Фрейда и его современников, записавших столь многое из пережитого, а также на труды их биографов.

Особенно я благодарен Рэндольфу Бернайсу Рэндольфу, правнуку сестры Фрейда Анны (не путать с дочерью Фрейда, носившей то же имя), который предоставил мне неопубликованный английский перевод её воспоминаний. Познакомила нас Тереза

Радзински, моя приятельница из Сент-Огастина, где мы оба живём. Я с радостью обнаружил также, что Питер Шур, сын врача Фрейда Макса Шура, живёт и до сих пор практикует медицину в Бостоне; он поделился со мной воспоминаниями об отце, а также текстом речи «Связь Фрейда и Шура», произнесённой им в Венском психоаналитическом объединении в 1994 году.

В Вене мне щедро помогали Даниэла Финци и Наташа Хальбауэр из Музея Зигмунда Фрейда, а также Каролина Гаттрингер и Ники Шобесбергер из Венского городского и земельного архива. Хочу поблагодарить также Эдварда Серотту, Райнхарда Энгеля и Марту Хальперт - всех бывших коллег-журналистов и давних жителей Вены.

В Лондоне Брайони Дэвис из Музея Фрейда (да, Музеев Фрейда два - один в Вене, другой в Лондоне) и архив Королевского медицинского общества откликались на мои просьбы помочь разыскать различные подробности этой истории. Так же поступала и Национальная библиотека Израиля. В период, когда ковид ограничил поездки, я особенно ценил их помощь.

В Соединённых Штатах я хочу поблагодарить Маргарет Макалир из Библиотеки Конгресса, где хранится огромное собрание материалов о Фрейде, и Майкла Фроста из Мемориальной библиотеки Стерлинга Йельского университета, где хранятся бумаги Уильяма Буллита.

Свои переводы из немецких документов и книг я регулярно сверял с Маргрит Кюн, владеющей языком гораздо лучше меня. Психолог Джон Дж. Хартман поделился своими изысканиями об Анне Фрейд, а Джонатан Тобис, мой однокурсник по Амхерсту, живо вспомнил свои впечатления о ней в пору учёбы в её лондонской клинике.

Почти два десятилетия, до самой своей смерти в начале 2020 года, моим редактором в издательстве Simon & Schuster была чудесная Элис Мэйхью; я навсегда у неё в долгу. Писатели понятным образом нервничают, меняя редактора, и я не исключение. Но как только я начал работать над этой книгой с

Бобом Бендером, я понял, что тревожиться не о чем. Он редактор, что называется, старой школы - любезный и проницательный, и его советы всегда бьют точно в цель. Поскольку я люблю считать себя писателем старой школы, для редактора это высшая рекомендация. Работать с его талантливой коллегой Джоанной Ли тоже было удовольствием. Хочу поблагодарить и других членов замечательной команды Simon & Schuster: Элисон Форнер, Ребекку Розенберг, Джулию Проссер, Стивена Бедфорда, Фила Меткалфа и Карли Ломан, а также литературного редактора Кейт Лапин. В лондонском издательстве Icon Books я столь же благодарен за умелую работу над книгой моему редактору Клэр Буллок и дизайнеру Марку Суону при горячей поддержке Эндрю Фёрлоу.

Роберт Готлиб, мой давний литературный агент, как всегда, был моим собеседником, на котором я опробовал идеи, едва задумавшись о новом замысле, и его мгновенный энтузиазм по поводу этого придал мне уверенности, чтобы сразу взяться за дело. Его коллеги по Trident Media Group Эрика Сильверман, Нора Роун и Марианна Шарп поддерживали меня не меньше.

Из друзей, оказавших мне помощь, хотелось бы выделить Дэвида Саттера, который, как и прежде, был одним из первых читателей моих глав. Хочу поблагодарить также Грега Дента, Майкла Трейсона и Фрэнка Дентона за их советы. Есть и многие другие, кого я хочу отметить за их дружбу: Ардит и Стив Ходс, Ева и Барт Каминские, Франсин Шейн и Роберт Мореа, Аня Богуш и Рышард Горовиц, Александра и Энтони Джулиано, Сандра и Боб Голдман, Ежи Козминский, Гжегож Енджис, Гражина и Богдан Прокопчик, Халина и Войтек Выччалковские, Барбара и Антони Москва, Моника и Фрэнк Уорд, Майкл Кех, Сиси и Дэвид Драйсдейл, Марта Пуатеван, Питер Браун, Билл Фейнле, Майкл Салли, Сара Стерн, Арлин Гетц, Фред Гутерл, Джефф Бартолет и Карл Спадаро.

Что до моей семьи, список может получиться почти таким же длинным. В него входят моя сестра Мария и её муж Роберто, другая моя сестра Терри, мои двоюродные сёстры Барбара Вежбянская и

Кристина Нагорская, Том Нагорски и Энн Хеллер с детьми Натали и Билли, Адам Вежбянский и Гейл Маллен. Среди родственников по линии жены - Ева Ковальская, Сильвия и Марек Соха и их дочь Кинга. Как и в случае с друзьями, список далеко не полон.

У нас с женой Кристиной - или Крысей, как её все зовут, - четверо детей: Ева, Соня, Адам и Алекс, - и все они были моими читателями и критиками, неустанно меня подбадривая. Нашу жизнь обогащают и восемь внуков: Стелла, Кей, Сидни, Чарльз, Мая, Кая, Кристина и Изабель. Восьмую, Изабель, жена Адама, Агустина, родила как раз тогда, когда я заканчивал свою восьмую книгу, - чудесное совпадение. Мы бесконечно рады, что Агустина стала нашей невесткой, а Эран и Шон - нашими зятьями.

Человек в центре этой семьи - и якорь моей жизни - Крыся. Я встретил её, когда учился по обмену в Кракове, и не могу представить себе последующих десятилетий без неё. Не могу я представить себе и того, чтобы написать эту книгу или любую из прежних без неё в роли моего первого редактора. Она постоянно даёт советы, поддерживает и делится наблюдениями едва ли не обо всём. Когда я погрузился во вселенную Фрейда, она даже терпела мои попытки толковать её сны. Но не преминула напомнить мне, что учителю я ни малейшей угрозы не представляю.

Примечания

Эпиграф

1 «Это железный»: Stefan Zweig, The World of Yesterday, 383.

Глава 1. «Умереть на свободе»

1 «Древнейшая восточная» и Гитлер в Вене: Gordon Brook-Shepherd, The Austrians: A Thousand-Year Odyssey, 328.

2 Новоприбывшие: Peter Gay, Freud: A Life for Our Time, 619–22. (Далее ссылки «Gay» относятся к этой биографии, а не к составленному им сборнику The Freud Reader.)

3 «город превратился»: Eric Kandel, цит. по его нобелевской автобиографии 2000 года: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2000/kandel/biographical/.

4 «Finis Austriae»: Michael Molnar, ред., The Diary of Sigmund Freud 1929–1939, 229.

5 «Не угодно ли господам» и прочие события в квартире, включая появление Фрейда: Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, т. 3, 218–19. (Далее ссылки на эту биографию даются как «Jones» с указанием тома.)

6 «Герр профессор» и «Несмотря на это»: Martin Freud, Sigmund Freud: Man and Father, 210–11. (Далее ссылки на эту биографию даются как Martin Freud.)

7 «оборванцев» и «Почему бы не»: Там же, 207–8.

8 «Не лучше ли»: Gay, 622.

9 «жестокой агрессивности»: Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents, 40–42.

10 «А вот, ах»: John Gunther, The Lost City, 327–28.

11 Главные участники: источники о каждом из них, а также полная цитата со словами «умереть на свободе» приводятся в последующих главах.

12 «столь соблазнительный»: Gunther, The Lost City, 68.

13 Лишь когда и прочие подробности дела Вальдхайма: Andrew Nagorski, The Nazi Hunters, 266–88.

Глава 2. «Лаборатория апокалипсиса»

1 «Если человек в старой империи»: Peter Kurth, American Cassandra: The Life of Dorothy Thompson, 60.

2 «Вена -»: Arthur Schnitzler, My Youth in Vienna, ix (предисловие Фредерика Мортона).

3 «его портрет человека»: Peter Gay, ред., The Freud Reader, введение, xvii. (Далее ссылки на эту книгу даются как Freud Reader.)

4 «Психоанализ упрощает»: Molnar, xxv.

5 Вводя новые понятия: Sigmund Freud, An Outline of Psycho-Analysis, 13–16.

6 Он появился на свет и другие ранние биографические подробности, включая цитаты: Peter Gay, Freud: A Life for Our Time, 3–54; Jones, т. 1, 1–26.

7 «всё время с надеждой»: Jones, т. 1, 2.

8 «Затем последовали»: Gay, 8.

9 «В городе мне никогда», «Глубоко во мне» и отзывы в письмах к Флюсу: Там же, 9

10 При императоре Франце Иосифе: Там же, 16–17; Jerry Victor Diller, Freud’s Jewish Identity: A Case Study in the Impact of Ethnicity, 35–36.

11 Антисемитизм и доля евреев в населении Вены: https://www.bh.org.il/jewishspotlight/austria/modern-era/demography/.

12 «я семь лет», «изучать право», «ощутимые разочарования» и прочие высказывания о еврейском происхождении: Freud Reader, 3–4.

13 «каждый прилежный»: Jones, т. 1, 6.

14 «Он вырос»: David Cohen, The Escape of Sigmund Freud, 34.

15 «мыслить нравственно»: Anna Freud-Bernays, Mother's Memoirs, 3. (Неопубликованный перевод Хеллы Фрейд-Бернайс, предоставлен Рэндольфом Бернайсом Рэндольфом.)

16 Тем не менее Якоб: Diller, 65.

17 «невыносимым», остальная часть письма Фрейда к Эмилю Флюсу и «Профессиональный юдофоб»: Gay, 19.

18 «В те дни»: Schnitzler, 63.

19 Когда ему было двенадцать: Jones, т. 1, 22.

20 «Человек, который»: Там же, 5.

21 Летом 1875 года и поездка в Англию: Gay, 30–31; Jones, т. 1, 24; Diller, 80–81.

22 Год спустя и остальное о пребывании в Триесте: Gay, 31–32; https://www.historytoday.com/archive/naturalhistories/sexual-eeling.

23 Вернувшись в Вену и «исправил непредусмотрительность»: Freud Reader, 4–5.

24 Встреча Зигмунда и Марты и ухаживание: Gay, 37–54; Jones, т. 1, 98–138.

25 «глупые суеверия», «Если ты не можешь» и отношение Марты к субботе: Diller, 85–86.

26 Зигмунд написал и цитаты из писем к Марте, если не указано иное: Ernst L. Freud, ред., Letters of Sigmund Freud, 1–3, 13, 22–23, 56–57, 76, 96, 110, 184–206.

27 Более фундаментальный вопрос, ранние сведения о коке и судьба Эрнста фон Флейшль-Марксова: Howard Markel, An Anatomy of Addiction: Sigmund Freud, William Halsted, and the Miracle Drug Cocaine, 46–50, 66–84.

28 В 1891 и в 1896 году: Gay, 74; Jones, т. 1, 152–53.

29 «Мать правила»: Martin Freud, 32.

30 Один из первых докладов: Freud Reader, 8–9.

31 «Итак, я отказался»: Там же, 17.

32 Лишь в 1896 году и Эдипов комплекс: Gay, 103, 112–14.

33 Оглядываясь назад и продажи «Толкования сновидений»: Sigmund Freud, An Outline of PsychoAnalysis, xi–xii (биографическое введение Питера Гэя).

34 «почти не было рецензий» и «У меня не было»: Freud Reader, 30.

35 в 1907 году: https://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/step-aside-freud-josef-breuer-is-the-truefather-of-modern-psychotherapy/.

36 Бóльшую часть этого периода и отношения Фрейда и Флисса, включая цитаты из переписки: Gay, 55–61, 102.

37 «Невозможно было» и «известное разделение»: Schnitzler, 6–7, 63.

38 «образец бурного творчества»: Amos Elon, Herzl, 38–39.

39 «Да он грязный» и прочие подробности случая в поезде: Ernst L. Freud, 78.

40 Летом 1900 года: Martin Freud, 70–71.

41 «преходящей модой»: Elon, 71.

42 Среди евреев и биография Герцля, цитаты, опыт студенческой корпорации: Elon, 44–63.

43 «в голубой студенческой» и «Всякий сын»: Schnitzler, 128–29.

44 Они так и не встретились: Avner Falk, Freud, and Herzl, Contemporary Psychoanalysis, Vol. 14, No. 3 (1978).

45 «Психоанализ - новейшая»: Diller, 13.

46 В 1890-е годы и Карл Люгер: Zweig, 83–84; Brook-Shepherd, 101–3.

47 «Эти евреи» и «лишнюю порцию»: Elon, 163.

48 «стал самым любимым» и «не способна на»: George Clare, Last Waltz in Vienna, 26, 72.

49 «его управление городом»: Zweig, 84.

50 «Кто еврей»: Paul Hoffmann, The Viennese: Splendor, Twilight and Exile, 143.

51 «самый обыкновенный человек»: Martin Freud, 16.

52 29 сентября 1942 года: https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/50260-adolfine-freud/. (В некоторых источниках годом её смерти назван 1943-й, но в свидетельстве о смерти ясно указано 29 сентября 1942 года. По словам Мартина Фрейда, причиной смерти был голод.)

Глава 3. «Кельт из Уэльса!»

1 В 1897 году, «возводит врача» и собрания по средам: Gay, 136–37.

2 В том же году: Там же

3 «Я, видимо, снова»: Martin Freud, 73.

4 В «Майн кампф» и высказывания Гитлера о Вене: Adolf Hitler, Mein Kampf, 3, 8, 15, 20–24, 53, 38, 64, 109, 123–25.

5 «стать великим»: Ian Kershaw, Hitler: 1889–1936, Hubris, 26.

6 Ходил он и в Оперу и другие подробности пребывания Гитлера в Вене: Brigitte Hamann, Hitler’s Vienna: A Portrait of the Tyrant as a Young Man, 26–33.

7 «Вена звала» и последующие высказывания Кубицека: August Kubizek, The Young Hitler I Knew, 126, 157, 218–21.

8 Для первого этапа и вступительный экзамен: Kershaw, Hitler: 1889–1936, Hubris, 23–24; Hamann, 32–33.

9 Но, если не считать: Kershaw, Hitler: 1889–1936, Hubris, 54.

10 «чумой, выродками»: Hamann, 84.

11 Вставая в семь, распорядок Фрейда и наблюдения Мартина Фрейда о родителях и семейной жизни, включая цитату из письма отца Флиссу о Вене: Gay, 157–58, 173–75; Martin Freud, 25, 45–48, 58, 132.

12 «Наша семья» и другие цитаты из Анны Фрейд-Бернайс: Anna Freud-Bernays, 4, 6, 119.

13 «Едва мы приехали»: “Analysts Abroad: Sigmund Freud’s Travel Letters,” рецензия Ричарда Х. Армстронга на Sigmund Freud: Unser Herz zeigt nach dem Süden, Reisebriefe 1895–1923. https://www.euppublishing.com/doi/pdfplus/10.3366/pah.2005.7.1.147.

14 Не любил Фрейд: https://freudsbutcher.com/psychology/7-little-known-facts-about-sigmund-freudincluding-the-prescription-of-his-glasses/.

15 «ловцом человеков»: Gay, 179.

16 «Одни из самых передовых», ключевые фигуры (Блейлер, Юнг, Эйтингон, Абрахам, Ференци), «детской сексуальной травме» и другие цитаты: Jones, т. 2, 30–53; Gay, 178–83, 197–206; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339235/.

17 «Даже беглый взгляд» и другие письма: William McGuire, ред., The Freud/Jung Letters: The Correspondence Between Sigmund Freud and C.G. Jung, xvi–xvii, 8–9, 13, 16–18.

18 Когда в воскресенье он появился и Мартин Фрейд о Юнге: Frank McLynn, Carl Gustav Jung, 97; Martin Freud, 108–9.

19 «А теперь большой»: McGuire, 39.

20 Эрнест Джонс, родившийся в 1879 году, и ранняя биография Джонса: Ernest Jones, Free Associations: Memoirs of a Psychoanalyst; Brenda Maddox, Freud’s Wizard: Ernest Jones and the Transformation of Psychoanalysis.

21 «Не был обойдён вниманием»: Jones, Free Associations, 78.

22 «неотразим для»: Maddox, 30.

23 В первые годы врачебной карьеры: Maddox, 31–36; Jones, Free Associations, 111–25.

24 Пресса раздула и прочие подробности скандала вокруг Джонса в 1906 году: Maddox, 41–46; Jones, Free Associations, 145–47.

25 Дэвид Эдер и Луиза Доротея Канн, или Лоэ: Jones, Free Associations, 137–40; Maddox, 47.

26 Стало это возможным и потому: Maddox, 54.

27 В письме Фрейду и отзывы Фрейда о Джонсе: McGuire, 48–49, 70, 81.

28 В Вест-Эндской больнице и остальное об этом случае: Jones, Free Associations, 150–52; Maddox, 58–60.

29 Джонса позабавило, общение Джонса с Фрейдом, поездки: Jones, Free Associations, 166–75.

30 «Человек-крыса»: Gay, 263.

31 «выродившейся богемной публике» и «Они были решительно»: Jones, Free Associations, 167.

32 «Ну вот я и» и другие цитаты из переписки Джонса и Фрейда: R. Andrew Paskauskas, ред., The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Ernest Jones, 1908–1939, 4, 13–28.

33 Первоначальное восхищение и прочее о Джонсе в Канаде, включая поездку Фрейда в США, и «Да, Америка»: Jones, Free Associations, 176–200.

34 Молодой валлиец был нарасхват: Maddox, 71–73.

35 «Конференция собирает» и другие подробности поездки в США: Gay, 206–13; Maddox 76–79.

36 «казались осуществлением» и случай с Джеймсом: Freud Reader, 32–33.

37 В письме Юнгу: McGuire, 100–101.

38 «Я очень рад»: Gay, 212–13.

39 На собрании в Вашингтоне: Maddox, 83.

40 «вновь выразить»: Paskauskas, 58.

41 В начале 1911 года и прочие обвинения против Джонса: Maddox, 90–91.

42 В ранние годы: Gay, 50.

43 «Быть оклеветанным»: McGuire, 101.

44 Кларк и прежде: Maddox, 81.

45 Морфий и остальная часть письма Фрейду и его ответ: Paskauskas, 110–12.

46 Проходя лечение у Фрейда: Maddox, 105.

47 Он и сам прошёл психоанализ и «Будьте с ним строги»: Там же, 109.

Глава 4. «Долгая полярная ночь»

1 «оказался в положении» и «последние счастливые годы»: Jones, т. 2, 66.

2 На Веймарском конгрессе и Лу Андреас-Саломе: Gay, 192–93; https://www.britannica.com/biography/LouAndreas-Salome; Ernst Pfeiffer, ред., Sigmund Freud and Lou Andreas-Salomé Letters, введение, 1.

3 «Фрейд глубоко восхищался»: Jones, т. 2, 176–77.

4 «Первая мировая война»: Martin Freud, 156.

5 «Большинство из вас»: Maddox, 83.

6 «Я больше чем когда-либо»: Gay, 201.

7 «Все полны»: Paskauskas, 52.

8 «Вы знаете, как»: McGuire, 153.

9 «С Адлером» и «Наконец-то я избавился»: Gay, 221–25.

10 «Недавно он» и другие письма Юнга и Фрейда: McGuire, 173, 160, 101–2, 139.

11 Мозес Аллен Старр: Gay, 196.

12 «Я считаю себя» и «Половая мораль»: Ernst L. Freud, 308.

13 Мать его пациента и «Что будет»: Deirdre Bair, Jung: A Biography, 158, 181, 184.

14 Несмотря на растущее сотрудничество и «Мой дорогой мальчик»: Там же, 164.

15 «Тяжкая это участь»: Gay, 238.

16 «единственная подлинная радость» и «дерзкой откровенностью»: Bair, 203–4.

17 «разгадчицей загадок»: Там же, 201.

18 «пристрастие к доисторическому»: Freud Reader, 481.

19 В 1902 году: https://medium.com/mysticaltalk/carl-jung-and-mysticism-c45e01fe50ed.

20 «Оккультизм - ещё одна» и другие цитаты из переписки Юнга и Фрейда, включая «с помощью»: McGuire, 183–84, 253–54.

21 «Юнг открылся» и «путаный ум»: Jones, Free Associations, 215, 165.

22 «регрессивные» наклонности: Ernst L. Freud, 299.

23 «кажется, совсем лишился», высказывания Фрейда о Юнге в письмах к Абрахаму и «во лжи, грубости»: Gay, 235, 240–42.

24 Учёные до сих пор спорят: https://www.nytimes.com/2004/02/08/books/l-jung-s-anti-semitism-177490.html.

25 «Нет, нет!»: Bair, 119.

26 «был определённый стиль»: McLynn, 352–53.

27 «Я всей душой презираю»: Bair, 418.

28 «Они почти забывали»: Jones, Free Associations, 210.

29 «Мы, дети Фрейда» и «чувства патриотической»: Martin Freud, 29, 65.

30 «Каждый вечер»: Anna Freud-Bernays, 9.

31 23 июля: https://wwi.lib.byu.edu/index.php/The_AustroHungarian_Ultimatum_to_Serbia_(English_translation).

32 «Пожалуй, впервые» и другие высказывания Фрейда о войне с июля по сентябрь 1914 года: Gay, 346–50.

33 «Откровенно говоря» и военная служба, переписка и размышления Мартина Фрейда: Martin Freud, 180–86.

34 Выдавало её и то: Там же, 39.

35 Мечта не могла длиться вечно, семь наград и «несколько расположившим»: Helen Fry, Freud’s War, 50–57; Martin Freud, Any Survivors? A Lost Novel of World War II, предисловие Helen Fry, 7.

36 Двое других сыновей: Fry, 34–35.

37 Международная психоаналитическая ассоциация: https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/ipa_history/history_of_the_ipa.aspx; Gay, 350.

38 Хотя прямое почтовое сообщение и прочие отношения Джонса и Фрейда в этот период: Jones, т. 2, 168–206.

39 «Мы настроены» и другая переписка Джонса и Фрейда во время войны: Paskauskas, 297–326.

40 «Всё моё либидо»: Jones, т. 2, 171.

41 Абрахаму он жаловался: Gay, 353.

42 25 ноября 1914 года, «женщиной опасного ума» и «Это долгая»: Gay, 192, 353–54.

43 В очерках 1915 года: https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_War_and_Death.pdf.

44 Собрания по средам: Jones, т. 2, 151.

45 В 1915–1917 годах, «Я работаю» и Нобелевская премия: Gay, 362–71.

46 «Он пробегал» и «Мне то ли»: Jones, Free Associations, 248.

47 Когда началась война, попытки пойти добровольцем и другие события раннего военного периода, включая Д. Г. Лоуренса: Там же, 244– 52; Maddox, 117–23.

48 «Военное министерство», «Если мир» и «Могу лишь»: Paskauskas, 315, 308, 312.

49 «пора цветения»: Jones, т. 2, 179.

50 «Судьба, по-видимому»: Maddox, 119.

51 Подобно Фрейду и Малер: Jones, т. 2, 79–80.

52 Больше всего его заинтриговали и Джонс и Лоуренс: Jones, Free Associations, 251–52.

53 Он мог бы также заметить: Maddox, 122–23.

54 «Она валлийка» и прочая переписка Джонса и Фрейда об Оуэн, её дарованиях, «исправился»: Paskauskas, 322, 324; Maddox, 130–37.

55 «Необычайно зрелая»: Jones, Free Associations, 254.

56 «Видите», «Завтра» и «Признаю»: Paskauskas, 326–29.

57 Он деятельно создавал: Maddox, 150–51.

58 Для этого Джонс и Катарина Йокль: Там же, 151–55.

59 в 1920 году: https://psychoanalysis.org.uk/our-authors-and-theorists/ernest-jones; Gay, 393.

60 «И в Германии»: Freud Reader, 34.

61 «Мне ясно»: Maddox, 163.

62 Потери: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/war_losses_austria-hungary.

63 «Вена показалась» и другие наблюдения Кальтенборна: H.V. Kaltenborn, Fifty Fabulous Years, 1900–1950: A Personal Review, 95–97.

64 «штраусовскими вальсами»: Kurth, 61.

65 Мартин вспоминал и другие цитаты из Мартина Фрейда: Martin Freud, 188–89.

66 Задействовав свои связи и заграничные банковские счета: Maddox, 158.

67 «восстановление австрийского»: Martin Freud, 188.

68 «Я ни разу не»: Jones, Free Associations, 257.

Глава 5. «Весталка»

1 Летом 1914 года и поездка Анны Фрейд в Англию: Uwe Henrik Peters, Anna Freud: A Life Dedicated to Children, 21–27; Elisabeth Young-Bruehl, Anna Freud: A Biography, 64–70; Jones, т. 2, 169– 73.

2 «красоты» и «Я знаю из»: Young-Bruehl, 66–67.

3 «за вашу доброту», «У неё прекрасный» и «наверняка сможет»: Paskuaskas, 294–95, 297.

4 «Он, кажется, забыл»: Young-Bruehl, 68.

5 «Она вполне здорова» и десятидневное путешествие: Martin Freud, 180.

6 «В эти жалкие времена»: Gay, 352.

7 «Она появилась», С тех пор он называл её и Когда ученикам задали: Peters, 3, 10–11.

8 В другом письме, случаи, когда Анну оставляли дома, «Нам приятно думать», «Хочу к маме», «любовь и ненависть» и «та, кто»: Young-Bruehl, 29, 36–37, 39, 42–43, 55–58.

9 «очаровательный малыш»: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-andpress-releases/halberstadt-freud-sophie-1893-1920.

10 «Смерть, как ни мучительна»: Ernst L. Freud, 328.

11 «самым остроумным» и «Я так тяжело»: Gay, 421.

12 Эрнст стал успешным: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-picturesand-press-releases/freud-ernst-1892-1970.

13 Анна рано решила, языки и чтение, «Видишь эти дома»: Young-Bruehl, 49–54.

14 Вернувшись из Англии и «Однажды нас»: Peters, 22–23.

15 «В те дни»: Robert Coles, Anna Freud: The Dream of Psychoanalysis, 4–5.

16 «чрезвычайно поучителен» и больничные обходы: Peters, 30.

17 «Подобное» и «Нас обучали»: Coles, 6–7.

18 «Лишь когда»: Young-Bruehl, 81.

19 В 1922 году: Gay, 436–37; Young-Bruehl, 59–60.

20 «Тогда, в Вене»: Coles, 9.

21 «цветущей и» и «Если она и вправду»: Young-Bruehl, 110–11, 117.

22 «совсем пустяковая операция» и описание мытарств Фрейда в клинике: Jones, т. 3, 90–91.

23 «Вы понимаете»: Ernst L. Freud, 343.

24 «надеясь вернуться» и «Здесь я впервые»: Young-Bruehl, 120.

25 Вследствие последующих операций, В интервью и наблюдения Фихтль: Detlef Berthelsen, Alltag bei Familie Freud: Die Errinerungen der Paula Fichtl, 27–28, 34–41, 55–56.

26 «Чудовище»: Michael John Burlingham, The Last Tiffany: A Biography of Dorothy Tiffany Burlingham, 179.

27 Спустя долгое время и «мысль о романе»: McLynn, 99–100.

28 «Фрейд был ханжой»: Max Eastman, Great Companions, 188–89.

29 В декабре 1925 года и «Сначала мама»: Young-Bruehl, 124.

30 Когда в 1924 году, На конгрессе, «Известие о том» и В 1927 году: Peters, 66–71.

31 «Публика ничего»: Ernst L. Freud, 397–98.

32 «Её значение»: Paskauskas, 677.

33 Кляйн утверждала: Там же, 91–93.

34 «Мне кажется, что теперь» и Она признавалась: Young-Bruehl, 129–30, 127.

35 Ханс Лампль: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/lampl-hans-1889-1958.

36 «но для брака» и «весталка»: Young-Bruehl, 121, 137.

37 «превосходную и»: Burlingham, 210.

38 «законной кронпринцессой» и «домашним арестом»: Berthelsen, 31, 50.

39 «Нельзя просить»: Young-Bruehl, 197.

40 В 1925 году, «драгоценные отношения» и прочие сведения, включая расчёты на пребывание в Европе: Там же, 132–39; Gay, 540; Burlingham, 151–52.

41 После недолгого пребывания, «Дороти и её дети» и «непослушных американских»: Burlingham, 156–59; Peters, 119–20; Cohen, 72.

42 «истерический или»: Там же, 203.

43 В 1927 году, «самое приятное» и «очаровательный»: Gay, 540.

44 Дороти расположила к себе: Berthelsen, 39; Jones, т. 3, 141.

45 «мысли, которые» и остальная часть письма Эйтингону: Young-Bruehl, 133.

46 «Однако не нужно»: Coles, 10–11.

47 «Наш симбиоз»: Young-Bruehl, 136.

48 «американская подруга» и переезд Берлингем на Берггассе, 19: Burlingham, 177, 205–6.

49 «чёрным настроениям», мысли Дороти о возвращении к Роберту, В 1930 году, ферма, Как отмечала Анна и В 1932 году: Там же, 207–9, 216, 223; Peters, 120.

50 «воплощает идеал»: Young-Bruehl, 138–39.

51 С конца 1926 года, «повышенному интересу», история школы, приглашение Блоса и Эриксона: Burlingham, 183–88; Lawrence J. Friedman, Identity's Architect: A Biography of Erik H. Erikson, 59–

52 «Анна Фрейд сразу» и «Остаётся впечатление»: Peter Heller, A Child Analysis with Anna Freud, 288, 300.

53 «старродевичьей святостью», На одном из собраний и «Здесь сидел Фрейд»: Burlingham, 210.

54 «Они знают только», «оттенок враждебности» и Порой: Friedman, 65–67, 79.

55 «Если настанет день»: Young-Bruehl, 193.

56 «больших надежд», «она была недовольна» и «и Гитлер пройдёт»: Coles, 13–15.

57 «которые приняли меня»: Friedman, 60.

Глава 6. «Человек мира»

1 «Можешь ты себе представить»: Will Brownell and Richard N. Billings, So Close to Greatness: A Biography of William C. Bullitt, 113–14.

2 По словам Биддла: Там же, 120.

3 Буллит был одним: Jones, т. 2, 86–87.

4 «был обаятелен»: George F. Kennan, Memoirs: 1925–1950, 79.

5 «одного из той» и «носил в себе»: Orville H. Bullitt, ред., For the President Personal and Secret: Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt, введение Джорджа Ф. Кеннана, xv.

6 По отцовской линии и прочие сведения о семье: Brownell and Billings, 8–18; Alexander Etkind, Roads Not Taken: An Intellectual Biography of William C. Bullitt, 3–4.

7 «Я буду юристом», «Билл Буллит успевает» и «проклятым лжецом»: Brownell and Billings, 19–21.

8 В Йеле, кризис здоровья и Розуэлл Энджир: Там же, 29–33; Etkin, 4; "Prof. R.B. Angier at Yale for 35 Years," New York Times, June 26, 1946.

9 Буллит поступил и юридический факультет Гарварда: Brownell and Billings, 34–36.

10 Чтобы помочь матери и остальное о поездке Буллита с матерью, включая «Я был настолько наивен»: Там же, 36–41; Etkin, 4– 5.

11 По возвращении в Филадельфию, В конце 1915 года и репортажи о миротворческой миссии Форда: Brownell and Billings, 41–49.

12 В марте 1916 года, «Куда бы ни повернула» и рабочий медовый месяц в Европе: Там же, 49–61; Etkind, 6–9.

13 «переполненные млеком» и другие цитаты из дневника Эрнесты: Ernesta Drinker Bullitt, An Uncensored Diary from the Central Empires, 3, 7–8, 26, 152, 160. (О волнистых каштановых волосах Буллита упоминает Орвилл Буллит в биографическом предисловии к For the President.)

14 «самым острым» и «сломила её»: Brownell and Billings, 63, 65.

15 «У меня много сведений», «если их удастся», «Вы сделали себя», «печальные последствия» и полковник Хаус: Там же, 64–67; Etkind, 11.

16 Вильсон выступил и «Четырнадцать пунктов»: https://www.britannica.com/event/Fourteen-Points.

17 «Русский „террор“», «Хотел бы я» и Буллит предложил: Brownell and Billings, 67–9.

18 С осени 1917 года, Никогда не отличавшийся застенчивостью и остальной рассказ Буллита о Вильсоне на корабле: Patricia O'Toole, The Moralist: Woodrow Wilson and the World He Made, 305, 334–37; Brownell and Billings, 74–77.

19 18 февраля 1919 года, миссия Буллита в Россию, возвращение в Париж и отставка: Orville Bullitt, 3–14; William C. Bullitt, The Bullitt Mission to Russia, 14–15; Brownell and Billings, 82–95.

20 В письме Вильсону: William C. Bullitt, The Bullitt Mission to Moscow, 36–37.

21 «многие части договора»: Brownell and Billings, 98.

22 Вернувшись из Парижа и Брайант предложила: Там же, 105–6.

23 «В одной постели», «Терпеть не могу» и «Ты никогда не позволишь»: William C. Bullitt, It's Not Done, 201, 208–9, 98.

24 Дважды побывавшая замужем и «Единственный способ»: Mary V. Dearborn, Queen of Bohemia: The Life of Louise Bryant, 52–53, 202.

25 К тому времени, эксклюзивное интервью с Муссолини и «ходил за ней»: Там же, 208–9.

26 Когда она начала работать и «экстазом материнства»: Brownell and Billings, 110–13; Virginia Gardner, "Friend and Lover": The Life of Louise Bryant, 236–37.

27 Брайант уверяла: Dearborn, 207.

28 Буллит играл и «большого еврея»: Etkind, 71; Dearborn, 234–35.

29 Поначалу продажи Буллита: Etkind, 56.

30 «Господи, что за ночь!»: William C. Bullitt, It's Not Done, 56.

31 «Я живу»: Gardner, 246.

32 Когда в 1925 году и мысли о самоубийстве: Etkind, 78.

33 «Любой, кто читал»: Gardner, 256.

34 В письме подруге и «Не думала»: Ralph G. Martin, Cissy: The Extraordinary Life of Eleanor Medill Patterson, 217.

35 К 1928 году, В ходе бракоразводного процесса и болезнь Деркума: Dearborn, 260–70; Gardner, 267, https://rarediseases.org/rare-diseases/dercums-disease/.

36 По словам писателя и «Неловкая сцена»: Gardner, 255.

37 Было и немало других случаев и «по-настоящему болен»: Dearborn, 213.

38 4 мая 1930 года: Jones, т. 3, 150.

39 «Он мрачно сказал» и остальной рассказ Буллита: Sigmund Freud and William C. Bullitt, Thomas Woodrow Wilson: A Psychological Study, foreword by William C. Bullitt, vii–x.

40 Почти десятью годами раньше и «психоанализ никогда»: Gay, 554–55.

41 «Выражаясь языком»: John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, 25.

42 К 1932 году и Но тут Фрейд: Etkind, 81–83.

43 Вильсон предстаёт в ней и цитаты из книги: Freud and Bullitt, xi, 137, 147, 205–6, 211, 219.

44 Макс Истмен и его визит к Фрейду: Max Eastman, Heroes I Have Known, 261–73.

Глава 7. «Ни малейшего ханжества»

1 Биографические сведения о Мари Бонапарт (если не указано иное): Celia Bertin, Marie Bonaparte: A Life.

2 «Мари Бонапарт пустилась»: Rudolph Maurice Loewenstein, ред., Drives, Affects, Behavior, preface by Ernest Jones.

3 «Впечатление, которое» и «Смотрите»: Bertin, 153–54.

4 «Моя жена»: Ernst L. Freud, 368–69.

5 С 1929 года и упоминания Бонапарт в дневнике: Molnar, 48.

6 Посторонним, история семьи, детство, юность и женихи (включая цитаты): Bertin, 3–77.

7 Летом 1907 года, брак и первые романы: Там же, 82–111.

8 Мари отмечала, «великие страсти», фригидность, операция Хальбана: Там же, 111–41.

9 Задолго до того, Лафорг и Фрейд, сведения о Лафорге: Там же, 145–59; https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/laforguerene-1894-1962.

10 Как писал биограф Фрейда, повторяющийся сон Фрейда и «дьяволом энергии»: Gay, 541–43.

11 «Всю жизнь мне предстояло»: Bertin, 176.

12 «Под руководством отца»: Martin Freud, 202–3.

13 Мартин особенно привязался: Fry, 35.

14 «Мадам Фрейд»: Bertin, 174–75.

15 Консультации у Фрейда, Лёвенштейн, Линдберг, Парижское психоаналитическое общество, В 1929 году, инцест: Там же, 166–84.

16 Самый серьёзный их спор и судьба переписки с Флиссом: Там же, 196–97; Gay, 613–14.

Глава 8. «Жестокая боль»

1 Максу Шуру было и остальное о первых встречах Шура с Фрейдом: Max Schur, Freud: Living and Dying, 1–2, 305–7.

2 Три года спустя, роль Мари Бонапарт, Шур более чем жаждал, «В этой встрече», «Обещайте мне» и «В кратчайший срок»: Там же, 2, 407–8.

3 Пытаясь впоследствии оправдать: Там же, 352–53.

4 Как вспоминала жена Дойча и «смертельнейшим секретом»: https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/09/howsigmund-freud-wanted-to-die/380322/.

5 Когда Джонс позднее: Jones, т. 3, 93.

6 «Обещайте мне»: Там же, 2, 407–8.

7 «В кратчайший срок»: Там же

8 «Шур был идеальным»: Там же, 145.

9 «Мне кажется, вы отступили», спор о счёте и Первой задачей Шура: Schur, 409–10.

10 Знаменитый такой эпизод и «кусочку невроза»: Gay, 233.

11 В 1890-е годы, «сердечной бедой», письма Флиссу и вывод Шура: Schur, 40–51.

12 «Облучение»: Там же, 357.

13 Изучив записи Пихлера и визиты к Пихлеру в 1926 году: Там же, 5, 389.

14 Хотя расстройства пищеварения, «Состояние Фрейда» и «образцовым пациентом»: Там же, 410, 413.

15 «Помня о редкой доброте»: Ernst L. Freud, 396–97.

16 «Я сразу понял», «Особенно бросается в глаза», записи Пихлера и письма Фрейда Эйтингону о курении: Schur, 410–13, 424–27.

17 «Я начал курить», «Фрейд утверждал» и мастурбация: Там же, 61–62.

18 Однажды: Питер Шур, доклад “The Freud–Schur Connection,” February 1994, Vienna Psychoanalytical Association (предоставлено Питером Шуром).

19 Уильям Буллит и «добился так же мало»: Schur, 423.

20 «Я не подчиняюсь»: Jones, т. 1, 309.

21 «xx 192x года»: Box 48, Sigmund Freud Papers, Manuscript Division, Library of Congress, Washington, D.C., https://www.loc.gov/resource/mss39990.04818/?sp=4.

22 «Что ж, мне и правда» и «Ваш старый Фрейд»: Schur, 207, 301.

23 «Фрейда нельзя назвать»: Там же, 233.

24 «Несколько лет назад»: McGuire, 104–6.

25 «Суеверие»: Schur, 313.

26 «Кстати»: Там же, 105.

27 «Я не могу спокойно», Хотя операции на челюсти, И отец, и Эммануил и В письме Ференци: Там же, 259, 343, 356, 377.

28 «Вы не будете свободны» и «Почему?»: Pfeiffer, 192–93.

29 «Я всё ещё совсем»: Schur, 429.

30 Смерть «естественна»: https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_War_and_Death.pdf.

31 «От меня ожидали» и «Ты должен»: Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams, 226.

32 В книге 1927 года: Freud Reader, 693.

33 «Хочешь мира» и «Я не мог оспорить»: Schur, 299, 302–3.

34 «Вы уходите» и рассказ Питера Шура: Peter Schur, “Three Coins from Freud”, Harvard Medicine, Autumn 2013 (https://hms.harvard.edu/magazine/handed-down/three-coins-freud); Jones, т. 3, 179.

Глава 9. «Политическая слепота»

1 В Германии: https://www.historylearningsite.co.uk/modern-world-history-1918-to-1980/weimargermany/weimar-elections-1928-to-1932/.

2 Президент Германии и «Мы наняли Гитлера»: Andrew Nagorski, Hitlerland: American Eyewitnesses to the Nazi Rise to Power, 94.

3 «Мой язык»: Gay, 448.

4 «Я посоветовал бы»: Jones, т. 3, 98.

5 «Вы верите» и «Берггассе, 19»: Eastman, Heroes I Have Known, 264, 269–70.

6 «Правая была» и её сеансы: H.D., Tribute to Freud, 3–4.

7 Джозеф Уортис и его воспоминания о Берггассе, 19 и первых встречах: Joseph Wortis, Fragments of an Analysis with Freud, 15–28, 55–56, 76, 87, 104–8, 164–65.

8 По тому же адресу и мясная лавка: https://www.psychologytoday.com/us/blog/freud-s-world/201809/didfreud-eat-kosher-without-knowing-it.

9 «Неопределённость границ»: Freud Reader, 197–98.

10 «Психоанализ тогда»: William L. Shirer, Twentieth Century Journey: The Start, 1904–1930, 436.

11 Джонс обнаружил и «К величайшему несчастью»: Gay, 453.

12 В 1922 году; первая встреча Уэллса с Фрейдом в 1931 году: Jones, т. 3, 160.

13 «Если беда» и «Проанализировать»: H. G. Wells, The Secret Places of the Heart, 18–25.

14 В конце 1926 года и отзывы Фрейда о встрече с Эйнштейном: Jones, т. 3, 131.

15 На самом деле Эйнштейн и «Порой трудно»: Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe, 365–68, 417.

16 «самой настоятельной» и остальная переписка Эйнштейна и Фрейда о войне: Why War? (1932; письмо Эйнштейна Фрейду и ответ Фрейда).

17 «Как стражи здоровья», Переписка была издана и «скучной и бесплодной»: Jones, т. 3, 171, 175.

18 Шандор Ференци, письмо Фрейда к нему и Фрейд - Эйтингону: Там же, 163–65, 171.

19 Эйтингон, сын коммерсанта, и разорение отца: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionariesthesauruses-pictures-and-press-releases/eitingon-max-1881-1943.

20 Интерьер клиники: Volker M. Welter, Ernst L. Freud, Architect: The Case of the Modern Bourgeois Home, 56.

21 С 1920 по 1930 год: Gay, 462–63.

22 Поэтому он посоветовал и совет Фрейда Эйтингону: Diller, 201.

23 В апреле и «Положение спасла»: Jones, т. 3, 167–69.

24 «Нация, породившая Гёте»: Там же, 151.

25 В 1932 году: https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/freud-oliver-1891-1969.

26 «сионизм пробудил»: Gay, 598.

27 После этого Хаим Коффлер и ответ Фрейда ему: https://blog.nli.org.il/en/freud_on_zionism/. В своей биографии Фрейда Гэй цитирует это же письмо (с. 598), утверждая, что оно было адресовано Эйнштейну. Копия, хранящаяся в Национальной библиотеке Израиля, не оставляет сомнений, что адресатом был Коффлер.

28 27 января 1933 года, «Попыток посеять» и эмиграция в Палестину: Jones, т. 3, 182–83.

29 «вы, должно быть, рады»: Paskauskas, 715.

30 Неарийские врачи и отставка Эйтингона: Geoffrey Cocks, Psychotherapy in the Third Reich: The Göring Institute, 90.

31 «У нас тут лихорадочное», «Психоанализ - внушительный» и помощь вдове Абрахама: Maddox, 215–16.

32 Вечером 10 мая и «Душа немецкого народа»: William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, 241.

33 «Против разлагающего душу»: Schur, 446.

34 «Какой прогресс», «это, должно быть» и «жизнь в Германии»: Gay, 592–93.

35 «В наших кругах» и остальная переписка с Бонапарт, переписка с Ференци: Jones, т. 3, 175–78.

36 «У нас всё так»: Pfeiffer, 200.

37 «Как гуманный человек» и другие высказывания Цвейга: Zweig, 389–90, 419, 450.

38 В итоге и предсмертная записка: https://www.newyorker.com/magazine/2012/08/27/the-escape-artist-3;
https://web.nli.org.il/sites/nli/english/collections/personalsites/archive_treasures/pages/stefan-zweig.aspx.

Глава 10. «Австрийская камера»

1 «Несмотря на все» и «Будет и у нас»: Paskauskas, 716, 725.

2 «наши люди» и «Мир превращается»: Jones, т. 3, 176, 181–82.

3 Несмотря на потерю: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/map/german-territorial-losses-treaty-ofversailles-1919.

4 «положение в Германии»: Gunther, Inside Europe, 313.

5 Столицу называли и события 1927 года: Brook-Shepherd, 254–62.

6 Бóльшая часть 175 тысяч: The Vienna Jewish Sourcebook: A Centropa Reader, т. 2, 9.

7 «Австрийцы никогда»: Там же, 254.

8 Германия и Австрия: Gunther, Inside Europe, 314.

9 Австрия брела и уровень безработицы: Gay, 591.

10 В «Майн кампф»: Hitler, 16.

11 «К концу 1933 года»: Gunther, Inside Europe, 320.

12 В мае 1932 года, история Дольфуса и Шушнига, включая бои 1934 года и убийство Дольфуса: Brook-Shepherd, 263–94; Gunther, Inside Europe, 316–54.

13 «Дольфус по-настоящему»: Clare, 148.

14 Один любопытный случай: Gay, 448–49.

15 Как он позднее писал: Pfeiffer, 205.

16 «из газет, вероятно»: Ernst L. Freud, 419–20.

17 «Убийство маленького канцлера»: Clare, 157.

18 «немногие оставшиеся», «довольно любезным», встреча Бёма с Фрейдом, «Хватит!» и конфискация книг: Jones, т. 3, 186–88.

19 Но 15 сентября: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-race-laws.

20 В следующем месяце, Якобсон и «Настоятельно советую»: Maddox, 224–25.

21 «довольно любезным» и «Хватит!»: Jones, т. 3, 186–88.

22 Последние оставшиеся: Cocks, 90–91.

23 Якобсон оставалась: https://www.nytimes.com/1978/12/13/archives/dr-edith-jacobson-81-years-old-apsychoanalyst-and-professor.html.

24 «Из вашего письма» и письма Арнольду Цвейгу, Лу Андреас-Саломе и Томасу Манну: Ernst L. Freud, 423–26.

25 26 мая 1935 года: Paskauskas, 743.

26 «Фрейд, очевидно», «Нет, времена» и «Слухи о»: Jones, т. 3, 198–202.

27 Пришёл поток и адрес 197 писателей и художников: Там же, 205–6.

28 «Мой самый личный»: Ernst L. Freud, 426.

29 С тех пор как и Фрейд о «Моисее» Микеланджело: Freud Reader, 522–41.

30 В письме Арнольду Цвейгу: Ernst L. Freud, 421–23.

31 «Отнять у народа» и теории Фрейда: Sigmund Freud, Moses and Monotheism, 11, 29–35.

32 В письме Цвейгу и бойкот: Schur, 459.

33 «Он забыл» и «Похоже, Фрейд»: Там же, 444.

34 Он начал изучать и прошение о визах в США: Питер Шур, доклад “The Freud–Schur Connection”; интервью автора с Питером Шуром.

35 Летом 1937 года и Джон Уайли: https://photos.state.gov/libraries/estonia/99874/History%20stories/Bearing-Witness.pdf.

36 Много лет спустя: Schur, 496.

37 В письме (Буллит - Фрейду): William C. Bullitt Papers (MS 112), Manuscripts and Archives, Sterling Memorial Library, Yale University.

38 «Сближение Австрии»: Gay, 616–17.

39 «Германия не имеет»: Clare, 169.

40 Шушниг также и условия соглашения: Brook-Shepherd, 302; Gunther, Inside Europe, 353–54.

41 «Я её люблю»: Ernst L. Freud, 434.

42 Как объясняла Анна и история собак Фрейда: Marie Bonaparte, Topsy: The Story of a GoldenHaired Chow, введение к изданию Transaction, 1–26.

43 «сублимацией»: Jones, т. 3, 141.

44 «Собаки - это дети» и другие цитаты из «Топси»: Bonaparte, 55, 75, 124, 164.

45 В письме от 13 августа 1937 года: Ernst L. Freud, 436–37.

46 «К 1936 году»: Coles, 17.

47 В письме Джонсу: Paskauskas, 756–57.

48 «Наше храброе»: Ernst L. Freud, 441.

Глава 11. «Операция „Фрейд“»

1 10 марта 1938 года: Berthelsen, 69.

2 «Мы собрались здесь не» и остальное о встрече Гитлера с Шушнигом и последующих событиях, включая прощальную речь Шушнига: Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, 325–41; https://www.historyplace.com/worldwar2/triumph/tr-austria.htm; Brook-Shepherd, 307–10.

3 «Уайли из»: Molnar, 229.

4 После капитуляции австрийского правительства и разбор пограничных заграждений: Brook-Shepherd, 323.

5 «Случилось худшее», «подхвачен вопящей» и Уайли: William L. Shirer, Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941, 95–98.

6 «Скорее, Паула» и остальной рассказ Мартина Фрейда о 12 марта: Martin Freud, 205–6.

7 «провинцию Германского»: Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, 347.

8 Фрейд откликнулся на это, «Мы поступим так же» и «Зная, сколь сильно»: Jones, т. 3, 218–21; http://murals.wbtla.org/destruction-of-the-second-temple--the-survival-of-judaism.html.

9 Как отмечал Мартин Фрейд: Martin Freud, 48.

10 Он говорил с Дороти Берлингем, поездка Джонса в Вену, налёт на квартиру 15 марта, беседа с Фрейдом и возвращение в Лондон, включая Брэгга и Хора: Jones, т. 3, 218–23.

11 «Город вёл себя»: Clare, 230.

12 Берлингем была тогда больна и договорённости с Уайли: Burlingham, 260; Cohen, 163.

13 Мартин Фрейд и его рассказ о 15 марта: Martin Freud, 207–13.

14 «Мы вернёмся»: Berthelsen, 71.

15 «Ну и ну» и возвращение Мартина на Берггассе, 19: Martin Freud, 210–11.

16 Джонс в ответ и случай Лайтоллера: https://www.history.co.uk/article/the-second-officer-whosurvived-titanic-and-saved-130-lives-at-dunkirk.

17 «Я не покидал»: Gay, 624.

18 «Опасаюсь, Фрейд»: Sigmund Freud Papers, Manuscript Division, Library of Congress, https://www.loc.gov/resource/mss39990.04911/?sp=3.

19 Он позвонил: Etkind, 81.

20 «В соответствии с указанием»: Sigmund Freud Papers, Manuscript Division, Library of Congress, https://www.loc.gov/resource/mss39990.04911/?sp=5&r=-1.03,-0.03,3.06,1.445,0.

21 «Если Уайли»: Там же, https://www.loc.gov/resource/mss39990.04911/?sp=4&r=-0.969,0,2.939,1.387,0.00.

22 С благословения Буллита, служебный автомобиль с американским флажком и «принцесса для нас»: Cohen, 163.

23 Она остановилась, «сделал почти невозможное» и «Успех!»: Molnar, 231–32.

24 Экономка Фихтль: Berthelsen, 79.

25 «Они боялись пыток» и рассказ Шура: Schur, 498.

26 «Положение её»: Martin Freud, 212.

27 «Анна в гестапо»: Molnar, 232.

28 Со своего одра: Burlingham, 260–61.

29 Неусыпно бдительный: Gay, 625.

30 По меньшей мере по одному: Young-Bruehl, 227.

31 Эдит Лауб: https://www.wsj.com/articles/edie-locke-refugee-from-nazis-edited-mademoiselle-magazine11601647202?mod=searchresults_pos1&page=1.

32 «За считаные минуты»: Clare, 211.

33 Когда Эгон Фриделль, пятьсот самоубийств и «С 12 по 22 марта»: Gay, 621–22.

34 На одном из венских избирательных участков и Ширер о плебисците: Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, 350.

35 «Обращение с евреями»: https://www.smithsonianmag.com/history/what-drove-sigmund-freud-writescandalous-biography-woodrow-wilson-180970042/.

36 Их называли попечителями и «приобретены ненадлежащим образом»: Cohen, 13–14.

37 15 марта и «еврейскими свиньями»: Там же, 14, 164–65; Schur, 498–99.

38 Сын аптекаря и другие биографические сведения о Зауэрвальде: Mitchell G. Ash, ред., Materialen zur Geschichte der Psychoanalyze in Wien 1938–1945, глава, автор - Christiane Rothländer, “Die Liquidation der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung 1938 and der Raub des Vermögens der Familie Freud,” 49– 143; https://www.thejc.com/lifestyle/features/how-a-nazi-saved-sigmund-freud-1.13679; Schur, 498–99 (включая замечание Зауэрвальда Анне); Jones, т. 3, 222–23; Cohen, 80–82.

39 «Полагаю, в Вене»: Ash, 82.

40 Но недавнее исследование: Ash, Rothländer chapter, “Die Liquidation der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung 1938 and der Raub des Vermögens der Familie Freud.”

41 Городской и земельный архив: Wiener Stadt und Landesarchiv (Городской и земельный архив Вены); письмо автору, 29 июня 2021 г..

42 Во время первого нацистского налёта и действия и высказывания Мартина: Martin Freud, 214–17.

43 В послевоенном письме: Cohen, 181–82.

44 «Анна неутомимо»: Molnar, 235.

45 «Из-за сложной системы»: https://www.jewishvirtuallibrary.org/adolf-eichmann-report-on-activity-in-viennaaugust-1938.

46 Бонапарт также: Bertin, 200.

47 «Она прятала всё» и «За всё платила»: Berthelsen, 80–81.

48 Вместе с Бонапарт: Cohen, 183.

49 «Пишу тебе»: Ernst L. Freud, 442–43.

50 И Бонапарт, и Буллит, имущество Фрейда и сумма налога на бегство, более ранние отъезды, 2 июня: Cohen, 167; Molnar, 236–37; Gay, 625.

51 «Я, проф. Фрейд» и «Могу от всей души»: Jones, т. 3, 226.

52 «Полицейский лишь» и поездка поездом в Париж: Berthelsen, 83–86.

53 В последнюю минуту, операция Шура и отъезд: Max Schur, 502; Peter Schur, "The Freud-Schur Connection."

54 «Она хорошо за мной»: Molnar, 237.

Глава 12. «Эта Англия»

1 Как вспоминала Фихтль, подробности о Париже, переправе через Ла-Манш и первых днях в Лондоне: Berthelsen, 86– 89; Molnar, 237–39; Jones, т. 3, 227–29.

2 Как писал Фрейд Эйтингону и «К чувству торжества»: Ernst L. Freud, 444–46.

3 «Нас приняли сердечно» и остальная часть письма Александру: Там же, 447–48.

4 Джонс подтверждал: Jones, т. 3, 232–33.

5 Но 10 июня, визит к Люн, визит 23 июня и сообщение The Times: Molnar, 240–42.

6 «Хорошая компания!»: Schur, 507.

7 «Все эти годы», прочие воспоминания Цвейга и встреча с Дали: Zweig, 446–50; Molnar, 244.

8 «Я и правда обязан»: Jones, т. 3, 235.

9 Когда в октябре 1938 года и остальное о визите Исайи Берлина: Michael Ignatieff, Isaiah Berlin: A Life, 91.

10 Легендарная чета и рассказ о визите Леонарда и Вирджинии Вулф и их впечатлениях: Leonard Woolf, Downhill All the Way: An Autobiography of the Years 1919 to 1939, 168–69.

11 28 июля 1938 года, описание дома и мебели и переписка Фрейда: Molnar, 244– 48; Welter, 150–54.

12 «Всё снова здесь»: Berthelsen, 94.

13 «Всё здесь довольно странно», «теперь, когда угар» и «Последние ужасающие»: Ernst L. Freud, 452, 455.

14 «вы бы видели парки»: Burlingham, 269.

15 10 ноября: Molnar, 251

16 Летом 1942 года и судьба четырёх сестёр: https://www.holocausthistoricalsociety.org.uk/contents/jewishbiographies/sigmundfreudandhissisters.html; Freud Museum London, catalogue of exhibition “Leaving Today: The Freuds in Exile 1938,” 108–9; Martin Freud, 16. As noted previously, some sources put Adolfine’s year of death as 1943, but her death certificate is dated September 29, 1942.

17 Анна по-прежнему и пятнадцатый Международный психоаналитический конгресс: Molnar, 245.

18 Когда вскоре после: Etkind, 83.

19 Однако всего через несколько дней и «мучит меня»: Molnar, 240.

20 В письме немецко-еврейскому писателю и письмо Арнольду Цвейгу: Schur, 506.

21 В самом тексте, «Прежде я жил» и «Религиозный довод»: Sigmund Freud, Moses and Monotheism, 92–93, 203–4.

22 15 июля и «Моисей закончен»: Molnar, 242–43.

23 «Вы, несомненно, знаете» и «Мы, евреи»: Jones, т. 3, 237.

24 Стефан Цвейг навестил: Zweig, 450–51.

25 Через шесть дней, Макс Шур в Париже и Лондоне: Интервью автора с Питером Шуром; Peter Schur, “The Freud–Schur Connection”; Max Schur, 501–10.

26 «Эта операция была» и другие письма Бонапарт: Ernst L. Freud, 451, 455, 458.

27 7 декабря и «В возрасте 82 лет»: Molnar, 252.

28 И всё же он сумел: Там же, 259.

29 «отец любил»: Martin Freud, 218.

30 В письме Герберту Уэллсу и неудача хлопот Уэллса: Freud Museum London, catalogue of exhibition “Leaving Today,” 96–97.

31 Не воспользовавшись сразу, визы в США и поездка Шура в США: Peter Schur, “The Freud–Schur Connection”; Max Schur, 522–24.

32 «Я нашёл, что Фрейд» и ортоформ: Schur, 525–29; https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/127/3/407/17788/New-Orthoform-for-Old-Freud-InsolubleNumbing-for.

33 К августу, последние недели и смерть, включая надгробное слово: Schur, 526–29; Jones, т. 3, 245– 48.

34 В те первые дни войны: Berthelsen, 98.

35 «я думаю, нет ничего хуже»: Young-Bruehl, 239.

36 «Я не могу даже»: Molnar, 264.

Послесловие

1 «для нас он»: W. H. Auden, Collected Poems, 273–76.

2 Анна Фрейд и Дороти Берлингем: Burlingham, 271–91; https://psychoanalysis.org.uk/our-authorsand-theorists/anna-freud, https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Anna_Freud, https://www.verywellmind.com/anna-freud-biography-1895-1982-2795536.

3 Джонатан Тобис: письмо Тобиса автору по электронной почте, 7 августа 2020 г..

4 Эрнест Джонс и Международная психоаналитическая ассоциация: https://www.ipa.world/IPA/en/IPA1/officers_past_and_current/ipa_officers_past_and_current.aspx.

5 «Это не та книга»: Jones, т. 1, xi.

6 Джонсу удалось и работа над биографией: Maddox, 259–79.

7 «Я просто поражена»: Maddox, 265.

8 Мари Бонапарт и цитаты из выступления на Двадцатом конгрессе: Bertin, 202–65.

9 Уильям Буллит: Etkind, 180–237; Brownell and Billings, 247–332.

10 В книге 1946 года и «После следующей»: William C. Bullitt, The Great Globe Itself: A Preface to World Affairs, vii.

11 Антон Зауэрвальд: Schur, 498–99; Cohen, 11–15, 234–41; Wiener Stadt und Landesarchiv (Городской и земельный архив Вены), письмо автору, 29 июня 2021 г..

12 Макс Шур: Peter Schur, “The Freud-Schur Connection”; https://www.encyclopedia.com/psychology/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/schurmax-1897-1969; Max Schur, 1–16.

Библиография

Архивные источники

Библиотека Конгресса, Вашингтон (Library of Congress, Washington, D.C.)

Отдел рукописей и архивов, Мемориальная библиотека Стерлинга, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут (Manuscripts and Archives, Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven, CT)

Национальная библиотека Израиля, Иерусалим (The National Library of Israel, Jerusalem)

Библиотека и архив Королевского медицинского общества, Лондон (Royal Society of Medicine Library & Archives, London)

Городской и земельный архив Вены (Wiener Stadt- und Landesarchiv)

Неопубликованные источники

Anna Freud-Bernays, Mother's Memoirs [Анна Фрейд-Бернайс. Воспоминания матери], перевод Хеллы Фрейд-Бернайс (предоставлено Рэндольфом Бернайсом Рэндольфом).

Peter Schur, "The Freud–Schur Connection" [Питер Шур. Связь Фрейда и Шура], доклад, февраль 1994 г., Венское психоаналитическое объединение (предоставлено Питером Шуром).

Публикации

Ash, Mitchell G., ред. Materialen zur Geschichte der Psychoanalyse in Wien 1938–1945. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel, 2012.

Auden, W. H. Edward Mendelson, ред. Collected Poems. New York: Vintage International, 1991.

Bair, Deirdre. Jung: A Biography. Boston: Little, Brown, 2003.

Berthelsen, Detlef. Alltag bei Familie Freud: Die Erinnerungen der Paula Fichtl. Hamburg: Hoffman und Campe, 1987.

Bertin, Celia. Marie Bonaparte: A Life. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.

Bonaparte, Marie. Topsy: The Story of a Golden-Haired Chow. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994.

Brook-Shepherd, Gordon. The Austrians: A Thousand-Year Odyssey. New York: Carroll & Graf, 1998.

Brownell, Will, and Richard N. Billings. So Close to Greatness: A Biography of William C. Bullitt. New York: Macmillan, 1987.

Bullitt, Ernesta Drinker. An Uncensored Diary from the Central Empires (1917). New York: Doubleday, Page & Company, 1917 (Kessinger's Legacy Reprints).

Bullitt, Orville H., ред. For the President Personal and Secret: Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt. Boston: Houghton Mifflin, 1972.

Bullitt, William C. The Bullitt Mission to Russia. Washington, D.C.: U.S. Senate Committee on Foreign Relations transcript, September 12, 1919.

---. The Great Globe Itself: A Preface to World Affairs. New York: Charles Scribner's Sons, 1946.

---. It's Not Done. New York: Harcourt, Brace & Company, 1926.

Burlingham, Michael John. The Last Tiffany: A Biography of Dorothy Tiffany Burlingham. New York: Atheneum, 1989.

Clare, George. Last Waltz in Vienna. London: Pan Books, 2002.

Cocks, Geoffrey. Psychotherapy in the Third Reich: The Göring Institute. New York: Oxford University Press, 1985.

Cohen, David. The Escape of Sigmund Freud. New York: The Overlook Press, 2012.

Coles, Robert. Anna Freud: The Dream of Psychoanalysis. Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.

Dearborn, Mary V. Queen of Bohemia: The Life of Louise Bryant. Boston: Houghton Mifflin, 1996.

Diller, Jerry Victor. Freud's Jewish Identity: A Case Study in the Impact of Ethnicity. Rutherford, NJ: Farleigh Dickinson University Press, 1991.

Doolittle, Hilda (H.D.). Tribute to Freud. New York: New Directions, 2012.

Dunn, Dennis J. Caught Between Roosevelt and Stalin: America's Ambassadors to Moscow. Lexington: University Press of Kentucky, 1998.

Eastman, Max. Great Companions: Critical Memoirs of Some Famous Friends. New York: Farrar, Straus & Cudahy, 1959.

---. Heroes I Have Known: Twelve Who Lived Great Lives. New York: Simon & Schuster, 1942.

Edmundson, Mark. The Death of Sigmund Freud: The Legacy of His Last Days. New York: Bloomsbury USA, 2007.

Elon, Amos. Herzl. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1975.

Etkind, Alexander. Roads Not Taken: An Intellectual Biography of William C. Bullitt. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2017.

Fest, Joachim. Hitler. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1992.

Freud, Ernst L., ред. Letters of Sigmund Freud. New York: Basic Books, 1960.

Freud, Martin. Any Survivors? A Lost Novel of World War II. Stroud, Gloucestershire: The History Press, 2010.

---. Sigmund Freud: Man and Father. New York: The Vanguard Press, 1958.

Freud, Sigmund. Civilization and Its Discontents. Mineola, NY: Dover Publications, 1994.

---. The Interpretation of Dreams. New York: Basic Books, 2010.

---. Moses and Monotheism. London: The Hogarth Press, 1939.

---. An Outline of Psycho-Analysis. New York: W. W. Norton, 1989.

Freud, Sigmund, and William C. Bullitt. Thomas Woodrow Wilson: A Psychological Study. London: Weidenfeld & Nicolson, 1967.

Friedlander, Saul. The Years of Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939–1945. New York: Harper Perennial, 2008.

Friedman, Lawrence J. Identity's Architect: A Biography of Erik H. Erikson. New York: Scribner, 1999.

Friedman, Susan Stanford. Analyzing Freud: Letters of H.D., Bryher, and Their Circle. New York: New Directions, 2002.

Fry, Helen. Freuds' War. Stroud, Gloucestershire: The History Press, 2009.

Gardner, Virginia. "Friend and Lover": The Life of Louise Bryant. New York: Horizon Press, 1982.

Gay, Peter. Freud: A Life for Our Time. New York: W. W. Norton, 1988.

Gay, Peter, ред. The Freud Reader. New York: W. W. Norton, 1989.

Gunther, John. Inside Europe. New York: Harper & Brothers, 1938.

---. The Lost City. New York: Harper & Row, 1964.

Hamann, Brigitte. Hitler's Vienna: A Portrait of the Tyrant as a Young Man. New York: Tauris Park Paperbacks, 2010.

Heller, Peter. A Child Analysis with Anna Freud. Madison, WI: International Universities Press, 1990.

Hitler, Adolf. Mein Kampf. Boston: Houghton Mifflin, 1971.

Hodgson, Godfrey. Woodrow Wilson's Right Hand: The Life of Colonel Edward M. House. New Haven: Yale University Press, 2006.

Hoffman, Paul. The Viennese: Splendor, Twilight and Exile. New York: Anchor Books, 1988.

Ignatieff, Michael. Isaiah Berlin: A Life. New York: Metropolitan Books, 1998.

Isaacson, Walter. Einstein: His Life and Universe. New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2008.

Johnson, Paul. A History of the Jews. New York: Harper & Row, 1987.

Jones, Ernest. Free Associations: Memoirs of a Psychoanalyst. New York: Basic Books, 1959.

---. The Life and Work of Sigmund Freud, Volume 1, The Formative Years and the Great Discoveries, 1856–1900. New York: Basic Books, 1953.

---. The Life and Work of Sigmund Freud, Volume 2, Years of Maturity, 1901–1919. New York: Basic Books, 1955.

---. The Life and Work of Sigmund Freud, Volume 3, The Last Phase, 1919–1939. New York: Basic Books, 1957.

Kaltenborn, H. V. Fifty Fabulous Years, 1900–1950: A Personal Review. New York: G. P. Putnam's Sons, 1950.

Kandel, Eric R. The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present. New York: Random House, 2012.

Kennan, George F. Memoirs: 1925–1950. Boston: Little, Brown, 1967.

Kershaw, Ian. Hitler, the Germans, and the Final Solution. New Haven: Yale University Press, 2008.

---. Hitler: 1889–1936: Hubris. London: Penguin, 1998.

---. Hitler: 1936–45: Nemesis. New York: W. W. Norton, 2000.

Keynes, John Maynard. The Economic Consequences of the Peace. Heritage Illustrated Publishing, 2014.

Kubizek, August. The Young Hitler I Knew. London: Greenhill Books, 2006.

Kurth, Peter. American Cassandra: The Life of Dorothy Thompson. Boston: Little, Brown, 1990.

Loewenstein, Rudolph M., ред. Drives, Affects, Behavior. New York: International Universities Press, 1953.

Maddox, Brenda. Freud's Wizard: Ernest Jones and the Transformation of Psychoanalysis. Boston: Da Capo Press, 2007.

Markel, Howard. An Anatomy of Addiction: Sigmund Freud, William Halsted, and the Miracle Drug Cocaine. New York: Vintage, 2012.

Martin, Ralph G. Cissy: The Extraordinary Life of Eleanor Medill Patterson. New York: Simon & Schuster, 1979.

McGuire, William, ред. The Freud/Jung Letters: The Correspondence Between Sigmund Freud and C.G. Jung. Princeton: Princeton University Press, 1994.

McLynn, Frank. Carl Gustav Jung. New York: St. Martin's Press, 1997.

Molnar, Michael, ред., and The Freud Museum, London. The Diary of Sigmund Freud, 1929–1939: A Record of the Final Decade. New York: Charles Scribner's Sons, 1992.

Mowrer, Edgar Ansel. Triumph and Turmoil: A Personal History of Our Times. New York: Weybright & Talley, 1968.

Nagorski, Andrew. Hitlerland: American Eyewitnesses to the Nazi Rise to Power. New York: Simon & Schuster, 2012.

---. The Nazi Hunters. New York: Simon & Schuster, 2016.

O'Toole, Patricia. The Moralist: Woodrow Wilson and the World He Made. New York: Simon & Schuster, 2018.

Paskauskas, R. Andrew, ред. The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Ernest Jones: 1908–1939. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1993.

Peters, Uwe Henrik. Anna Freud: A Life Dedicated to Children. New York: Schocken Books, 1985.

Pfeiffer, Ernst, ред. Sigmund Freud and Lou Andreas-Salomé Letters. New York: W. W. Norton, 1985.

Rice, Emmanuel. Freud and Moses: The Long Journey Home. Albany: State University of New York Press, 1990.

Sanders, Marion K. Dorothy Thompson: A Legend in Her Time. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

Schnitzler, Arthur. My Youth in Vienna. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970.

Schur, Max. Freud: Living and Dying. New York: International Universities Press, 1972.

Sherborne, Michael. H.G. Wells: Another Kind of Life. London: Peter Owen, 2012.

Shirer, William L. Berlin Diary: The Journal of a Foreign Correspondent, 1934–1941. New York: Galahad Books, 1995.

---. The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. New York: Simon & Schuster, 1960.

---. Twentieth Century Journey: The Start, 1904–1930. New York: Simon & Schuster, 1976.

---. Twentieth Century Journey: The Nightmare Years, 1930–1940. Boston: Little, Brown, 1984.

Steffens, Lincoln. The Autobiography of Lincoln Steffens, Volume 2. New York: Harcourt, Brace & World, 1931.

Szasz, Thomas. Anti-Freud: Karl Kraus's Criticism of Psychoanalysis and Psychiatry. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

Toland, John. Adolf Hitler, 2 vols. New York: Doubleday, 1976.

Wells, H. G. The Secret Places of the Heart. Independently published, 2020 (originally published 1922).

Welter, Volker M. Ernst L. Freud, Architect: The Case of the Modern Bourgeois Home. New York: Berghahn Books, 2012.

Woolf, Leonard. Downhill All The Way: An Autobiography of the Years 1919 to 1939. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1967.

Wortis, Joseph. Fragments of an Analysis with Freud. New York: Simon & Schuster, 1954.

Young-Bruehl, Elisabeth. Anna Freud: A Biography. New York: Summit Books, 1988.

Zweig, Stefan. The World of Yesterday. Lincoln: University of Nebraska Press, 2013.